Одесский
альманах

№57

II / 2014

ДЕРИБАСОВСКАЯ ⅄ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ

От редакции

Казалось бы, наш альманах «Дерибасовская – Ришельевская» – раб календаря, что бы ни происходило, мы выходим зимой, весной, летом и осенью. Но, если вдуматься, все события, даты, праздничные и трагические, живут внутри календаря, они наши вечные спутники.

23 июня Одесса будет отмечать 125-летие великого поэта, родившегося в нашем городе, Анны Ахматовой. Признаемся, нелегко было найти новые материалы о поэте, который в глазах многих людей XX века олицетворял достоинство литературы Серебряного века. И все же…

Мы, как всегда, благодарны журналу «Октябрь» и его редактору Ирине Барметовой, давшей возможность нам одновременно опубликовать заметки поэта, литературного секретаря Анны Ахматовой Анатолия Генриховича Наймана, – естественно, с его согласия. А из Мюнхена откликнулся литературовед и поэт Вадим Перельмутер, познакомивший нас не только со взаимоотношениями Анны Ахматовой и Георгия Шенгели, но и разыскавшего серию картин петербургского художника Гавриила Гликмана, друга Д. Шостаковича, М. Ростроповича, А. Ахматовой. Не забыли мы и одесситов. Людмила Сауленко, сейчас директор Музея западного и восточного искусства, рассказала, как студенткой Одесского университета изучала творчество Ахматовой, но главное – они вместе с краеведом Романом Шуваловым определили место дачи на 11-й станции Большого Фонтана, где родилась Аня Горенко, а затем в книге Преображенского собора нашли запись о ее крещении.

Не могли не вернуться мы к прошедшему юбилею президента Всемирного клуба одесситов писателя Михаила Жванецкого, так как из его рук получили удивительно теплое письмо в адрес юбиляра от Михаила Сергеевича Горбачева и эксклюзивное право первыми его опубликовать.

Юбилеи, юбилеи… Но рядом с ними ходят и печальные, трагические даты. Город, страна потеряли Почетного гражданина Одессы, Героя Украины, члена Президентского совета Всемирного клуба одесситов Бориса Давидовича Литвака, человека, для многих олицетворявшего совесть города, свершившего невозможное – в девяностые годы создавшего «Дом с ангелом», Центр реабилитации детей с ДЦП. Пожалуй, после смерти академика В.П. Филатова и убийства Бориса Деревянко город не знал таких общенародных похорон.

Какие разные, полярные события.

Но приближается 220-летие Одессы. И по сложившейся традиции фирма «ПЛАСКЕ» к этому юбилею готовит календарь «Дерибасовская», а наш альманах публикует статьи, которые войдут в этот календарь.

Нет смысла перечислять статьи по краеведению, произведения прозы, поэзии, статьи об искусстве, культуре, науке, с которыми познакомит 57-я книга альманаха. Предоставим нашим читателям открывать эти страницы. Лишь просим не пропустить раздел «Публикации», где Олег Губарь предлагает действительно сенсационный материал.

Рассказываем читателю о 57-м выпуске альманаха, а у нас в портфеле уже складывается 58-й номер, и там вновь сенсационная публикация Алены Яворской – о поэте А. Соколовском, продолжение «Детства, отрочества…» Е. Голубовского, путешествия Ивана Липтуги и Феликса Кохрихта. А год ведь не пересек еще и половины своего пути.

А весной 2015 года, надеемся, познакомим читателя с юбилейным – 60-м выпуском «Дерибасовской – Ришельевской».

Михаил Жванецкий

Мужчины и женщины

Только не надо путать. Я люблю мужчин, которые хотят нравиться женщинам. Умеют нравиться. Нравятся. А еще лучше те, которые ничего не делают для этого. Ни с внешностью. Ни с поведением. Живут и ведут себя. Или не ведут себя.

От сдержанности это ощущение силы. От сдержанности ощущение надежности. У этих сдержанных мужчин всегда есть деньги. Деньги – это рейтинг в обществе. Твой рейтинг сегодня. Упадет рейтинг – будешь без денег. Это просто! Как букетик цветов. И еще нужно быть тонким!

Это, во-первых, худощавым. Во-вторых, понимающим. То есть умеющим понять и высказать недоговоренность. Умеющим создать определенность и остаться, либо создать неопределенность и исчезнуть.

Да, я тоже люблю мужчин, которые любят женщин.

Движение женщины, ее образ во время движения, ее продуманная постановка ноги, продуманная беспорядочность прически, лицо, глаза, ноги – есть творчество. Ее сон рядом с вами – тоже творчество. Все то, что вы видите, – творчество. Ее создание Всевышним достойно Нобелевской премии. Она всем этим притягивает ваш взгляд. За взглядом руки,

губы, ноги и все то, чем вы дорожите, все то, что вы готовы положить рядом с ней.

Умоляюще! Умоляюще!..

Потому что вам предстоит нечто больше и главней. Вы созданы этого добиваться. Она создана этим распоряжаться. И здесь на последнем месте телодвижения. А на первом месте – слова и текст ваших глаз. То, что можно у женщины купить, – доля того, что она может отдать бесплатно.

Много женщин не бывает. Их бывает очень мало. За короткую мужскую жизнь – одна или две, слитных с вами. Короткая мужская жизнь длиннее короткой женской. Мы не о человеческой, а о мужской и женской. За длинную мужскую жизнь можно встретить одну или двух таких, возле которых вы положите свое тело и сердце. Потом ваш мозг заменит тело, и вы будете счастливее.

А пока – эти два или, еще хуже, три несчастья в виде страстной любви выколотят из вас все ваше своеобразие. Но руководить этим процессом никому не удавалось…

Но это не главное. Мы говорим о мужчинах, которые любят, и которых любят за то, что они любят. Ваша любовь дает уверенность. И постепенно она отдаст вам всё. И вы не узнаете, любит она вас или нет. Может сбежать с джазовым саксофонистом. Не пытайтесь вернуть. Пусть пройдет по этой спирали вниз сама.

Я люблю мужчин, которые любят женщин. Я люблю тонких, сдержанных, умных людей по обе стороны мужчин и женщин. Но встречаться с ними лучше после этого. Ибо во время этого с ними говорить не о чем.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Горбачев-Фонд

Дорогой Михаил,
Дорогой друг!

Поздравляю тебя с юбилеем!

Ты – безусловный классик нашей сатиры и выдающийся артист.

Ты – человек страстный, увлекающийся, наделенный гражданским темпераментом, ты всегда чувствуешь «нерв» событий, реагируешь на них мгновенно и точно. Поэтому оставайся и дальше «дежурным по стране»!

А еще ты обладаешь мудростью философа и даром поэта. Ты умеешь высказать то, что понятно каждому и каждым пережито – ты говоришь о надежде и отчаянии, любви и одиночестве, вере и разочаровании. О том, что все это – жизнь, и несмотря ни на что она прекрасна.

У тебя всегда будут благодарные читатели, восторженные поклонники и преданные друзья. И я с большим удовольствием отношу себя к их числу.

Желаю тебе и дальше радовать нас, удивлять, восхищать своим творчеством и вдохновением. Здоровья тебе и бодрости духа, дорогой Михаил!

Передаю мои самые добрые пожелания твоей жене Наталье.

Обнимаю

Михаил Горбачев

6 марта 2014 года

125167 Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, корпус 14. Тел.: приемная 945-5999, 945-6999. Факс: 945-7899.
Пресс-служба 945-5131; 945-5127 Факс: 945-5129

Анатолий Найман

К 125-летию Анны Ахматовой

Когда объявляется, что со дня рождения кого-то, с кем был близко знаком, прошло 125 лет, а в дни знакомства сам ты был вполне взрослый, за 20, под 30, на тебя находит некоторое одурение – а не распространяется ли этот вековой-с-четвертью «возраст» и на меня? Более того: не ровесники ли мы с этим че-



Редакция альманаха благодарит И. Барметову и А. Наймана за разрешение опубликовать это эссе одновременно с журналом «Октябрь».

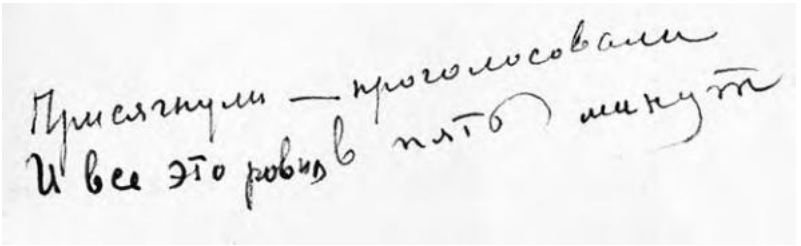
ловеком – ну, отчасти? И далее: не принадлежал ли я к тому времени и кругу, что и он, всегда? Как это определенно было позднее, когда мы познакомились. Скажем, однажды я был в гостях у Ахматовой (уже не предположительно, а реально) вместе с Самойловым и Бродским. Раздался телефонный звонок, и редактор готовящейся к печати ахматовской книги «Бег времени» сказал, что строчки «Столицей распятой / Иду я домой» в поэме «Путем вся земли» необходимо заменить. Поскольку о распятии упоминать вообще не следует и тем более непозволительно как о распятом говорить о Ленинграде (хотя речь в поэме идет о петербургских временах предысторических, 1900-х годах, 1910-х, и даже внеисторических, китежских). Ахматова обратилась к нам троим: ваши предложения – и я раньше остальных предложил «за новой утратой»: За новой утратой / Иду я домой. Двое других отозвались, разумеется, неодобрительно, но сами лучшего не придумали. Ахматова сказала: принято. Так это и напечатано в «Беге». Гордиться мне нечем, просто пришло в голову что-то продиктованное знанием ее поэтики. Но если такое могло случиться в 1964 году, то почему не в 1914-м? А если в 14-м, то почему не в 1814-м, почему не Пушкин воззвал к честной компании с просьбой исправить его сомнительную строчку «Увы! на башнях галл кремля»? И хотя ни-ни-ни, не я дерзнул на это что-либо произнести (и не выберу сейчас, кого вообразить дерзнувшим), но – где 125, там и 200, так что «в принципе» я мог бы. Только на Гомера и на царя Давида не получается эдак посягнуть, хоть на тысячу лет измысли себя распространить, хоть на три. Такие вот имеют место феномены.



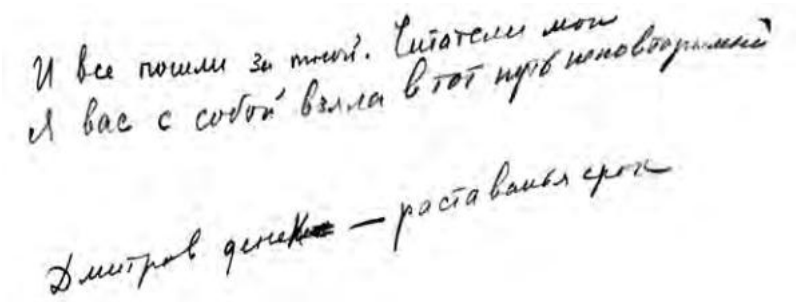
Теперь о публикации. Несколько лет назад я опубликовал в «Октябре» неизвестное стихотворение Ахматовой «Безумцы! я сама не знаю». Можно сколько угодно, с меньшим или большим

основанием, или вовсе без основания, развивать немыслимые фантазии на тему раздвигания и сжатия сроков, как я это делаю в начале моего предисловия, но у времени есть свой скучный счет и непреложные закономерности. Появление нового стихотворения поэта такой величины по прошествии нескольких десятилетий после смерти – случай очень редкий. В начале 2014 года Ирина Николаевна Барметова спросила меня, не напишу ли я чего-нибудь по случаю круглой даты и, того важнее, не найду ли у себя еще каких-то ахматовских материалов для журнала. После окончания работы над переводами лирики итальянского классика (ровесника Пушкина) Джакомо Леопарди у меня остались черновики переведенных Ахматовой стихотворений. В мои обязанности входило перепечатать на пишущей машинке ее половину переводов вместе со своей. На этих страницах между потоками строк встречаются и посторонние (если считать повседневность посторонней переводам, а не наоборот) записи вроде дневниковых. Поскольку я исполнял и более широкие обязанности ее литературного секретаря, то к «леопардиевским» листкам прибавилось еще несколько случайных текстов от руки, которые мне тогда надлежало превратить в машинопись.

Разумеется, полномерных новых стихов на них не попадается, но 5 неопубликованных строчек (2 + 2 + 1) я нашел, и с них начинаю. Затем фрагмент тех самых повседневных записей. Затем несколько телеграмм (те, что пришли напечатанными, переписаны здесь заглавными буквами; те, что написаны от руки, строчными). Затем официальное письмо, передающее стиль тогдашних общественных и гражданских отношений. И наконец английский перевод знаменитого стихотворения Ахматовой, сделанный известным американским поэтом Ричардом Уилбуром. Соединение и выбор соединяемых отрывков случайны и вынужденно, и осознанно. Среди попавших в них персонажей есть периферийные. Нет, с другой стороны, более значимых в тогдашней жизни Ахматовой, более близких. На меня самого этот подбор производит впечатление вытоптанного, выцветшего, разлезающегося коврика, однако дающего теми кусками, что сохранились, живое представление о первоначальном узоре.



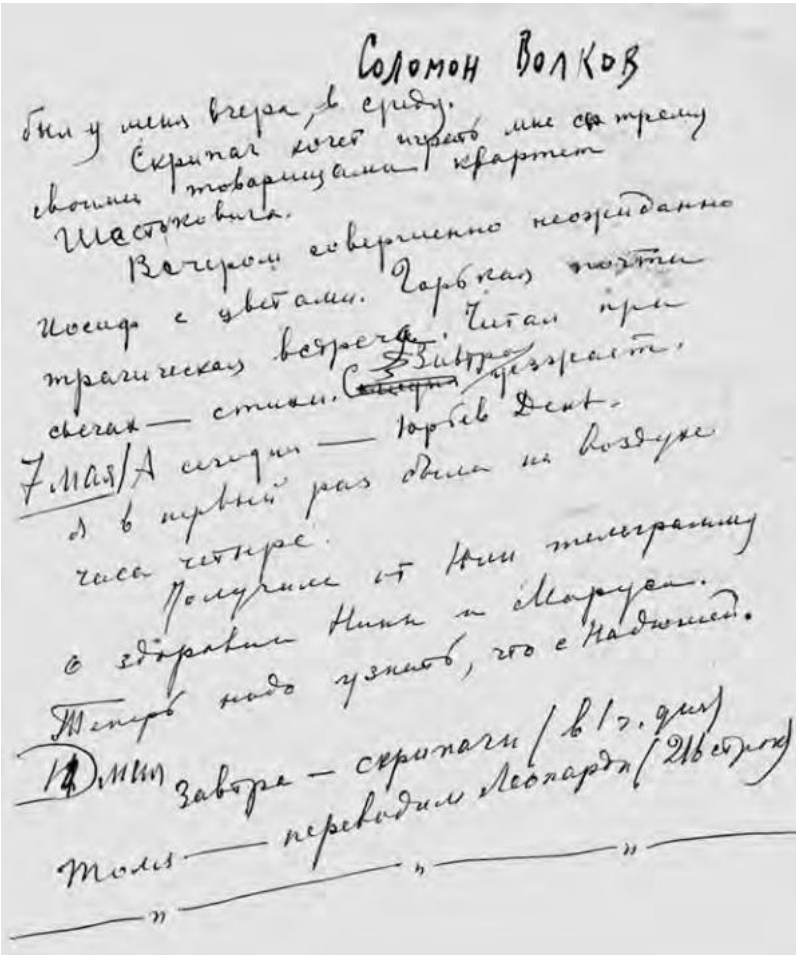
Присягнули – проголосовали
И все это ровно в пять минут*



И все пошли за мной. Читатели мои
Я вас с собой взяла в тот путь неповторимый
Дмитров денек – рас<с>таванья срок**

* Записано на обороте самодельной обложки с ахматовскими воспоминаниями о Мандельштаме 1958 года. Сами воспоминания отсутствуют, в обложку вложена страница с ее переводом «Смерть Сочивицы Станко», отрывка сербского эпоса. Первоначально вторая строка начиналась пунктиром до слов «в пять минут»; «И все это ровно» вписано поверх пунктира позднее. К 1961 году двустишие с небольшим изменением («Присягнули – проголосовали / И спокойно продолжали путь») вошло в качестве 3-й – 4-й строк в стихотворение «Так не зря мы вместе бедовали». В свою очередь, заключительные четыре строчки этого стихотворения (Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был) Ахматова взяла эпиграфом к «Реквиему». В 1965 году в Париже она, выслушав бурное восхищение собеседника «Реквиемом», заметила только: «Да, там есть два удачных слова, вводные – «к несчастью».

** Записано на обороте упомянутого выше перевода. Последняя строка, возможно, имеет в виду Дмитриевскую родительскую субботу (между 18 и 26 октября по старому стилю), когда, поминая усопших, в очередной раз с ними прощаются. Педантичности ради заметим: маловероятно, но допустимо, что строка


Соломон Волков
был у меня вчера, в среду.
Скрипач хочет играть мне с трио
своими товарищами квартет
Шостаковича.
Вечером совершенно неожиданно
Иосиф с цветами. Горбатая почти
трагическая встреча. Читал при
свечах — стихи. Завтра уезжает.
7 мая/А сегодня — Горбачев Дент.
Я в первый раз вышла на воздухе
часов четыре.
Получили от Ники телеграмму
с здравицами Ники и Мариуса.
Театр надо узнать, что с надписью.
12 мая Завтра — скрипачи (в 1 ч. дня)
Толя — переводим Леонарда (2 ч. дня)
» — »
— »

Соломон Волков* [<рукой С. В.>]
был у меня вчера, в среду.

«Дмитров денек» каким-то образом соотносится с переводом. На «денек» исправлено первоначальное «денечек».

* Музыковед, культуролог, автор «Диалогов с Иосифом Бродским» и других книг.

Скрипач<,> хочет играть мне с тремя своими товарищами квартет Ше<исправлено с «и»>стаковича**.

Вечером совершенно неожиданно Иосиф*** с цветами. Горькая почти трагическая встреча. Читал при свечах – стихи. Завтра <вместо зачеркнутого «Сегодня»> уезжает.

7 мая. А сегодня – Юрьев День.

Я в первый раз была на воздухе часа четыре.

Получила от Юли**** телеграмму о здоровии Нины***** и Маруси******. Теперь надо узнать, что с Надюшей*******.

11 <исправлено Ахматовой с «12»> мая. Завтра – скрипачи (в 1 ч. дня)

Толя******** – переводим Леопарди******** (216 строк)


Министерство Связи СССР

Бланк № 19

ТЕЛЕГРАММА

ПРИНЯТА 28 1450 ПЕРЕДАЧА: ЛЕНИНГРАД УЛ ЛЕНИНА 34

№ связи: Адрес: КВ 23 ОХМАТОВОЙ=

Принял: Передал:

ДАНИЛОВА 160 18 28 1342=

Служебные отметки:

ИОСИФ БЫЛ НЕ ЗДОРОВ НОВОСТЕЙ ЗДЕСЬ НЕТ СОБИРАЮСЬ ВЫЕХАТЬ ПОСЛЕЗАВТРА=ВАШ ТОЛЯ=

** Забавно, что Ахматова, начав с «Шистаковича» и исправив на «Шестакович», так и не решилась написать фамилию через «о».

*** Бродский.

**** Юлия Марковна Живова (1925-2010), филолог, переводчица, друг Ахматовой.

***** Нина Антоновна Ольшевская (1908-1991), театральная актриса и режиссер, близкая подруга Ахматовой.

****** Мария Сергеевна Петровых (1908-1979), поэтесса и переводчица, близкая подруга Ахматовой.

******* Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980) – жена Осипа Мандельштама, писательница.

******** Анатолий Генрихович Найман, я.

******** Джакомо Леопарди (1798-1837) – итальянский романтический лирик, последний почитаемый классиком итальянской поэзии. В издательском договоре № 3283 от 26 августа 1964 г. Ахматова и Найман были обозначены как «действующие солидарно».

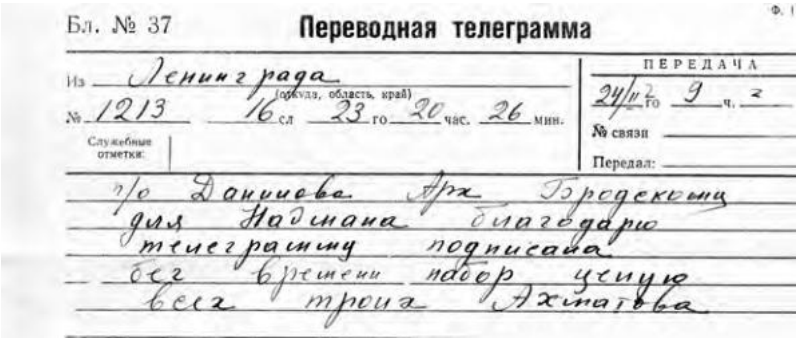
[ДАНИЛОВА 28 <октября 1964> 14 ч. 50 м = ЛЕНИНГРАД УЛ ЛЕНИНА

34 КВ 23 ОХМАТОВОЙ*]

ИОСИФ БЫЛ НЕ ЗДОРОВ НОВОСТЕЙ ЗДЕСЬ НЕТ СОБИРАЮСЬ ВЫЕХАТЬ ПОСЛЕЗАВТРА = ВАШ ТОЛЯ

[23го <февраля 1965> 08 ч. 47 м. ДАНИЛОВА = ЛЕНИНГРАД П-136 ЛЕНИНА 34 КВ 23 АХМАТОВОЙ]

= СНЕГ НЕБЫВАЛЫЙ ИОСИФ ЧУДНЫЙ МИША КЛАНЯЕТСЯ ВАЛЕНКИ ГРЕЮТ СПАСИБО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС** = ТОЛЯ



Бл. № 37 **Переводная телеграмма**

Из Ленинграда (откуда, область, край)

№ 1213 16 сл 23 го 20 час. 26 мин.

Служебные отметки:

ПЕРЕДАЧА

24/II-2 го 9 ч. 2

№ связи

Передал:

п/о Данилова Арх Бродскому
для Наймана благодарю
телеграмму подписана
бег времени набор целую
всех троих Ахматова

Из Ленинграда

№ 1213 16 сл<ов> 23го <февраля 1965> 20 час. 26 мин.

п/о Данилово Арх<ангельской> Бродскому для Наймана

благодарю телеграмму подписала бег времени*** набор целую всех троих Ахматова

---

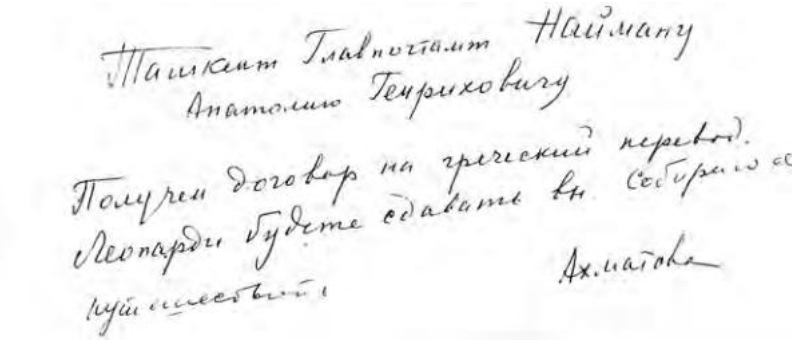
* Собственно говоря, ради этой уникальной транскрипции фамилии Ахматовой я и привожу текст телеграммы. В чем именно заключалось нездоровие Бродского, сейчас не помню. Это был мой первый приезд в деревню Норенскую, где он отбывал ссылку. Данилово – село рядом, где была почта.

** Миша – Михаил Борисович Мейлах, филолог, профессор Страсбургского университета, тогда 19-летний знакомый Бродского и мой, приехавший в этот раз вместе со мной.

*** Книга стихов Ахматовой (условно итоговая) вышла в издательстве «Советский писатель» осенью 1965 года.

[24го <мая 1965> 14.56 ИЗ ДАНИЛОВА = ЛЕНИНГРАД П-136 ЛЕНИНА 34 КВ 23 АХМАТОВОЙ]

= СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИВШИСЬ СРЕДИ АРХАНГЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ ПОДНИМАЕМ ТОСТ ЗА ВАС = БРОДСКИЙ НАЙМАН РЕЙН[****]


Ташкент Главпочтамт Найману
Анатолию Генриховичу
Получен договор на греческий перевод.
Леопарди будете сдавать вы. Собираюсь
путешествовать! Ахматова

[Ташкент Главпочтамт Найману Анатолию Генриховичу[*****]]

Получен договор на греческий перевод[******]. Леопарди будете сдавать вы. Собираюсь путешествовать[*******]. Ахматова

[11/9<1965>14-25ИзМосквы=КомаровоЛен-ой[********]Ахматовой]

Освобожден Иосиф гуляю по Замоскворечью с Ниной Антоновной[********] и Ниной Борисовной[********] = Толя

**** Мы с поэтом Евгением Борисовичем Рейном приехали на 25-летие Бродского.

***** Копия этой телеграммы, написанной Ахматовой от руки, передана мне Отделом рукописей Национальной публичной библиотеки в Ленинграде. В Ташкенте я был в октябре (-ноябре?) 1965 года.

****** Лирика Древнего Египта. Перевод с египетского Анны Ахматовой и Веры Потаповой. «Художественная литература», Москва 1965 (подписано к печати 2/XI 1965, то есть договор пришел накануне выхода книги).

******* Если не ошибаюсь, в Союз писателей на имя Ахматовой пришло приглашение из Парижа (от издательства? от писательского сообщества?).

******** Ленинградской <области>.

******** Ольшевской (см. выше).

******** Внучка Нины Антоновны, тогда 5 лет от роду.


МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

Прием 14-25 Передача:

Адрес: Комарово Ленобл Ахматовой

Из Москвы 15 ст. 11 го 12 ч 01 м. №* 17/3

Служебные отметки

Освобожден Иосиф Гуляю по замосковорячью с Ниной Антоновной и Ниной Борисовной Тюля

[КОМАРОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 11 <сентября 1965> 18.00 = МОСКВА БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА 17 КВ 13 ОЛЬШЕВСКОЙ ДЛЯ НАЙМАНА]

ЛИКУЕМ = АННА САРРА ЭММА*

[СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ПРАВЛЕНИЕ

№ 4510 4 ноября 1949 г.]

Фонтанка 34, кв. 44

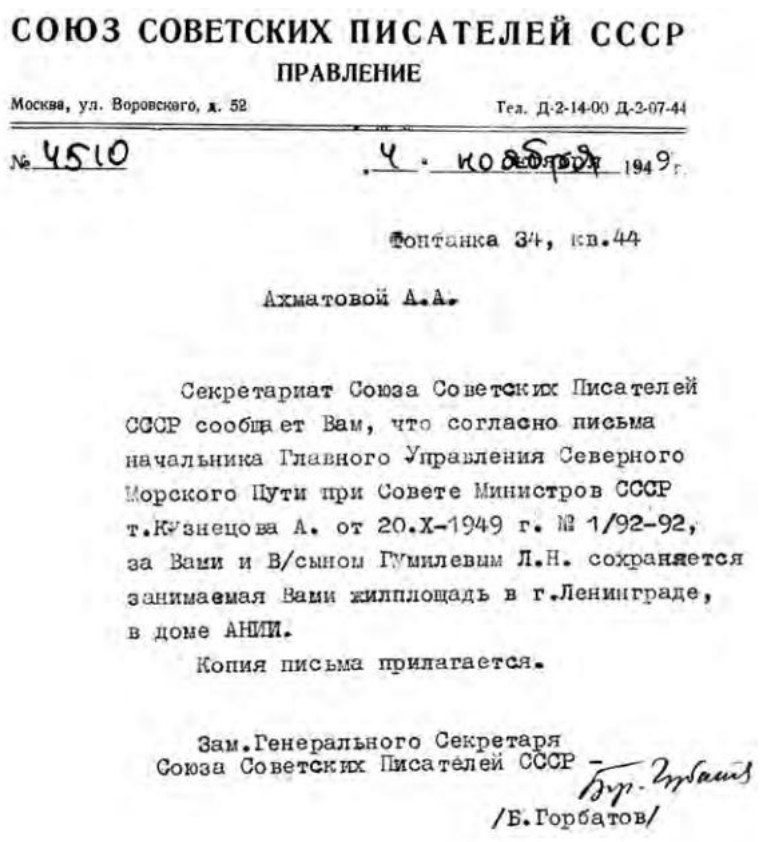
Ахматовой А.А.

Секретариат Союза Советских Писателей СССР сообщает Вам, что согласно письма начальника Главного Управления Северного Морского Пути при Совете Министров СССР т. Кузнецова А.

* Три двусложных женских имени со сдвоенными внутри согласными звучат даже торжественнее и громче собственно содержания «ликуем».

Сарра Иосифовна Аренс (1900-1982), свойственница Ахматовой, ухаживавшая за ней в Комарове.

Эмма Григорьевна Герштейн (1903-2002), литературовед, многолетняя близкая знакомая Ахматовой.



СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ПРАВЛЕНИЕ
Москва, ул. Воровского, д. 52 Тел. Д-2-14-00 Д-2-07-44

№ 4510 4 ноября 1949 г.

Фонтанка 34, кв. 44

Ахматовой А.А.

Секретариат Союза Советских Писателей СССР сообщает Вам, что согласно письма начальника Главного Управления Северного Морского Пути при Совете Министров СССР т. Кузнецова А. от 20.X-1949 г. № 1/92-92, за Вами и В/сыном Гумилевым Л.Н. сохраняется занимаемая Вами жилплощадь в г. Ленинграде, в доме АНИИ.

Копия письма прилагается.

Зам. Генерального Секретаря
Союза Советских Писателей СССР – Бур. Горбатов
/Б. Горбатов/

от 20.X-1949 г. № 1/92-92, за Вами и В/сыном Гумилевым Л.Н. сохраняется занимаемая Вами площадь в г. Ленинграде, в доме АНИИ**.

Копия письма прилагается.

Зам. Генерального Секретаря
Союза Советских Писателей СССР – <подпись>
/Б.Горбатов/

** Арктический научно-исследовательский институт Северного Морского Пути располагался в так называемом Фонтанном доме, бывшем дворце Шереметевых, который фасадом выходил на Фонтанку. В квартире 4-го двора Ахматова жила с 1924 года, выйдя замуж за Николая Николаевича Пунина и после развода с ним (до 1952 года). В 30-е квартира стала коммунальной.

Wilbur Portland Connecticut USA
Anna Akhmatova
Writer's House
18 Voinov Street
Leningrad
USSR
<карандашом, рукой почтового или надзирающего работника – «Союз Писателей Ахматовой А. А.»>

Внутри складная почтовая карточка белого цвета с едва заметными блестками, имитирующими снег, и с типографски отпечатанным на внутренней странице:

THE SEASON'S GREETINGS
From
CHARLEE AND RICHARD WILBUR
and
ELLEN, CHRISTOPHER, NATHAN AND AARON

(Поздравление с наступающими праздниками от Чарлей и Ричарда Уилбур*, а также Эллен, Кристофера, Натана и Аарона)

На первой странице перевод стихотворения Ахматовой «Лотова жена»:

LOT'S WIFE
translated from Anna Akhmatova

The just man followed then his angel guide
Where he strode on the black highway, hulking and bright;
But a wild grief in his wife's bosom cried,
Look back, it is not too late for a last sight

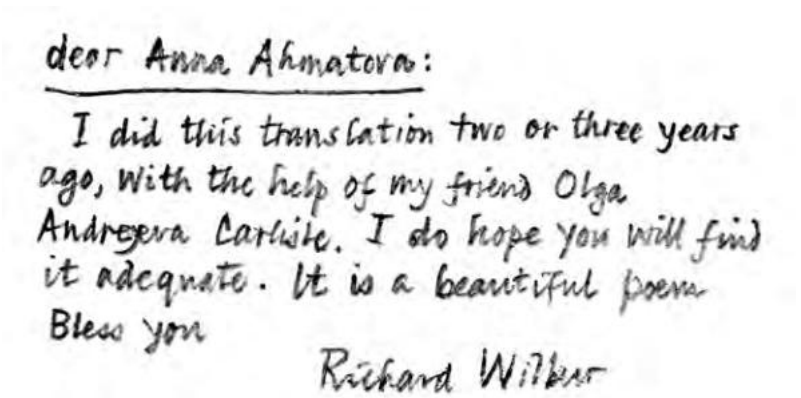
Of the red towers of your native Sodom, the square
Where once you sang, the gardens, you shall mourn,
And the tall house with empty windows where
You loved your husband and your babes were born.

* Ричард Уилбур (р. в 1921 г.), известный американский поэт.

She turned, and looking on the bitter view
Her eyes were welded shut by mortal pain;
Into transparent salt her body grew,
And her quick feet were rooted in the plain.

Who would waste years upon her? Is she not
The least of our losses, this unhappy wife?
Yet in my heart she will not be forgot
Who, for single glance, gave up her life.

На обороте Ричард Уилбур написал от руки:


dear Anna Ahmatova:

I did this translation two or three years ago, with the help of my friend Olga Andreyeva Carlisle. I do hope you will find it adequate. It is a beautiful poem.
Bless you

Richard Wilbur

I did this translations two or three years ago, with the help of my friend Olga Andreyeva Carlisle. I do hope you will find it adequate. It is a beautiful poem. Bless you.

Richard Wilbur

(Я занимался этим переводом два или три года тому назад с помощью моей доброй знакомой Ольги Андреевой Карлайль**. Надеюсь, он покажется Вам адекватным. Это великолепное стихотворение. Желаю Вам всего доброго.

Ричард Уилбур)

Москва

** Ольга Андреева Карлайль (р. в 1930 г.), внучка Леонида Андреева, писательница, художница.

Людмила Сауленко

«Около моря, где я родилась...»

Штрихи к теме «Одесская строка биографии Анны Ахматовой»

«Я – одесситка». Так с полным правом можно было бы назвать эту статью, потому что это слова, сказанные самой Ахматовой. Услышала их я в 1971 году на Приморском бульваре. Почтенный человек благородной внешности, неизменно сохранявший аристократические манеры и обворожительную светскость, уважаемый профессор, член правления Общества библиофилов при Доме ученых (оно даже на моей памяти несколько раз меняло название, но мне почему-то более всего звучит именно *общество* и именно *библиофилов*) – Борис Александрович Сосюра, сидя рядом со мной на лавочке, рассказывал вчерашней студентке о своей встрече с Анной Ахматовой в начале шестидесятых годов. Сосюра – двоюродный брат известного украинского поэта Володымыра Сосюры, стихи которого неистребимо засели в моей школьной памяти, и родной брат популярнейшей в свое время журналистки Татьяны Тэсс (кто не знает, это аббревиатура «Татьяна Сосюра»). Через сестру и состоялось их знакомство: за праздничным столом в доме сестры профессор оказался рядом с Ахматовой. Он запомнил величественный облик, длинную шею, низкий голос. Узнав, откуда приехал ее сосед по столу, Ахматова сказала: «А ведь я – одесситка».

Предыстория разговора вчерашней студентки-филолога с профессором-медиком уходила в мои тогда недавние студенческие годы. Училась я на филологическом факультете ОГУ, факультете потенциальных невест и будущих учительниц. Училась старательно и, главное, с удовольствием. Ведь еще были живы и вполне при памяти знаменитые педагоги Новороссийского университета: Назарий Иванович Букатевич (только что вышла его монография

«Сравнительная грамматика славянских языков», буквально потрясшая Международный съезд славистов). Через много лет узнала я, что Букатевич, которого боялись как огня, ибо преподавал он «филологический сопромат» – старославянский язык и историческую грамматику, говорил с отчетливым старорусским (как нам казалось) акцентом и казался таким древнерусским, что Назарий Иванович великолепно владеет украинским языком. Прошли годы, и довелось узнать, что заведующий кафедрой русского языка Одесского государственного университета профессор Букатевич – бывший сотрудник музея «Степова Україна», что именно он чуть ли не первым начал в двадцатые годы собирать у нас на Юге чумацкий фольклор (а ведь тогда еще были живы последние чумаки в украинских селах Новороссии!). Букатевич же впервые издал два сборника «Чумацькі пісні». Позже, работая в Музее западного и восточного искусства, я обнаружила в библиотеке эти чудом уцелевшие книги. Уцелевшие чудом, потому что и музей, и книги были уничтожены «за национализм» в годы, когда «каленым железом выжигалась контра» – уничтожались музеи и музейные работники. Среди них оказались и одесские: Музей еврейской культуры и музей «Степова Україна». Молодой талантливый ученый Назарий Букатевич получил тогда десять лет ссылки в Северный Казахстан. После реабилитации Букатевич вернулся к филологии, но занимался только старославянским языком и исторической грамматикой. Мне кажется, Украина осталась для него трагической темой судьбы. В Казахстане умер его единственный сын, двенадцатилетний мальчик. Мне об этом несколько лет тому назад рассказал профессор Марк Соколянский, студент Букатевича, которого тот особенно отличал.

Студенты всегда считали Назария Ивановича бездетным, окруженным громогласной заботой супруги и чуть ли не бессмертным: на девятом десятке он продолжал мучить трепетных филологинь юсами большими и малыми, а если на улице кто-то с ним здоровался, строго спрашивал: «Что у вас было по старославянскому языку?».

…Почему в статье об Анне Ахматовой я пишу о старом профессоре, насколько мне известно, прямого отношения к ней не имевшем?

У меня есть однозначный ответ: он – из того поколения, о котором написала Ахматова:

De profundis… Мое поколение
Мало меду вкусило, и вот
Только ветер гудит в отдалении,
Только память о мертвых поет…

Когда я разыскивала на Фонтане дачу Саракини, эти стихи были впервые опубликованы в альманахе «День поэзии». А в Казахстане был в ссылке и Лев Гумилев, сын Ахматовой…

Под стать Букатевичу была и доцент Зоя Антоновна Бориневич-Бабайцева. Мне довелось видеть ее дореволюционное фото: классная дама в знаменитой одесской гимназии Масловой и Градской. Зоя Антоновна и внешне, по облику и стилю, была «женщина с раньшего времени». На первом курсе на экзамене по ее предмету, введению в литературоведение, я в качестве иллюстрации удачно, как мне казалось, процитировала Ахматову: «Ты стихи мои требуешь прямо…». В школе Ахматову тогда не учили, но любимый журнал «Юность» в 1965 после вручения в Италии премии «Этна-Таормина» напечатал несколько новых стихов. Меня они пронзили навсегда. «Чьи стихи?» – строго спросила Зоя Антоновна, а я почему-то шепотом ответила: «Ахматовой». Последовал утвердительный полувопрос: «Вы пишете стихи». – «Нет». – «Вот как? Я редко ошибаюсь. Ваш матрикул». То поколение не говорило «зачетка» (это ведь созвучно «трещотка», «чесотка») – они говорили «матрикул». То была лексика поколения Ахматовой.

Зоя Антоновна не ошиблась. Все курсовые работы я потом писала только об Ахматовой, диплом выбрала тоже. Не так-то это было легко: в программе Ахматова фактически отсутствовала, тему не утверждали. Только благодаря доценту Дине Семеновне Чернявской, человеку тонкому и отзывчивому, согласившейся быть моим руководителем, тему утвердили, и я ринулась в научную библиотеку университета к Виктору Семеновичу Фельдману, главному библиографу, человеку замечательному. Виктор же Семенович состоял членом правления Общества библиофилов

при Доме ученых. Когда правление обсуждало тематику ближайших заседаний и искало тему, на которую пришла бы публика (почему-то мне запомнилось такое выражение), все сошлись на предположении, что публика придет «на Ахматову». Где взять докладчика? Обычно члены общества как владельцы серьезных библиотек делали выставки книг на тему и рассказывали о книгах. Фельдман предложил: «У нас одна девочка пишет диплом об Ахматовой. Она даже съездила в Ленинград, привезла материалы. Давайте пригласим ее с докладом». На том и порешили с условием, что предварительно проверят, умею ли я говорить и не растеряюсь ли на публике. Вечер состоялся, сохранился даже пригласительный билет.

В Обществе библиофилов был еще один человек, знавший о моих ахматовских поисках, – Евгений Михайлович Голубовский. К нему в легендарную «Комсомольську іскру» я пришла с вопросом: «Знаете ли вы, где родилась Ахматова?». Надо бы спросить: «Где крестили Ахматову?» – потому что к этому моменту уже удалось невероятное: в Одесском областном архиве я нашла в метрической книге Преображенского собора запись о крещении протоиереем Евлампием Арнольдовым дочери Андрея Антоновича Горенко и жены его Инны Эразмовны. Ребенка назвали Анной. Крестными родителями значились кандидат естественных наук Степан Григорьевич Романенко и дочь дворянина Мария Федоровна Вальцер. Это оказалась ниточка из целого клубка связей: знакомств, соседств, дружб, политических пристрастий. Ведь в неопубликованных заметках Ахматовой есть упоминание о Романенко и Вальцер. Они по сей день хранятся в Рукописном отделе ленинградской Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, сейчас опубликованы и откомментированы, тогда были практически недоступны. Но так уж сложилось, что побывать там я, еще студентка, смогла, встретила доброжелательный прием и чудом попала на доклад главного библиотекаря Л. Мандрыкиной. Она же именно в тот раз рассказывала об ахматовском рукописном фонде, только-только поступившем в отдел. Члена «Народной воли» Романенко Ахматова называла убийцей генерала Стрельникова; о своей крестной записала: «Мария Федоровна Вальцер,

ее рассказ о посещении Достоевского». Теперь я знаю, что конкретно скрывается за ахматовскими записями. Знаю не благодаря своему только труду и везению, а благодаря неустанным поискам появлявшегося и множившегося на глазах племени ахматоведов. Да и само понятие «ахматоведение» как раздел литературоведения появилось на наших глазах: когда я в 1990 году защищала диссертацию, оппоненты отзывались о моем труде как о «вкладе в формирующееся ахматоведение – новое направление гуманитарного знания». Но это будет потом. А пока в «Комсомольській искрі» – как не вспомнить добрым словом газету и Евгения Михайловича! – появилась публикация «Неповторність прекрасних слів» (газета «Комсомольська іскра», 1971, 23.09). Это, конечно, цитата из Ахматовой: «О, есть неповторимые слова, / Кто их сказал, истратил слишком много. / Неистощима только синева / небесная. И милосердье Бога».

Та скромная публикация есть в научных библиотеках, все легко проверить. Но через 7 лет в новой тогда газете «Вечерняя Одесса», 1978 г., от 8.7, появилась статья известного краеведа Григория Зленко «Где родилась Анна Ахматова?». Позже, встретив меня на улице, Григорий извинился, но опровержения не опубликовал, а в 1980 году его статья была перепечатана в республиканской газете «Друг читача» 2.10.1980, оттуда попала в Украинскую Советскую Энциклопедию, где сведения и пребывают как авторитетный источник. Мне неловко об этом писать, но, думаю, истина важнее вежливости.

…«Родилась я на даче Саракини (11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска. Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», – сказала она.

Мемориальная доска появилась в 1989 году, к 100-летию со дня рождения. По решению ЮНЕСКО он был объявлен Годом Анны Ахматовой, советское руководство не возражало, было принято решение о юбилейных торжествах по стране, готовились мероприятия. Думаю, это слово совершенно не подходит для атмосферы подготовки ахматовских торжеств в Одессе. Помню, как заместитель председателя одесского горсовета Галина Андреевна Изувита вела заседание, на котором обсуждалась организация установки на Большом Фонтане памятного знака. Уточнив, за какой структурой закрепляется какой участок работы, Галина Андреевна в завершение сказала, что так мы воздадим должное Анне Ахматовой, которую так любим. Это помню дословно: «Которую мы так любим…». Когда еще в вопросе установления памятника использовался такой неотразимо человечный аргумент?..

К тому времени вопрос, где ставить памятник Ахматовой, уже был решен. Решен усилиями одного человека, о котором нельзя не вспомнить, – Романа Алексеевича Шувалова. В моей жизни этот человек появился неожиданно и решительно. Я уже работала в Музее западного и восточного искусства, от ахматовских изысканий отошла. Правда, поиски дачи Саракини еще некоторое время продолжала. В результате на старом плане дач на Большом Фонтане в районе, называвшемся тогда Новая Швейцария, нашла среди других названий «небольших, но живописных дач» дачу Саракини. Она явно была небольшой, ибо на плане участок обозначался только цифрой, и привязать его к местности казалось невозможным, тем более что никакой почты поблизости не значилось. Очевидно, не судьба. Она, судьба, сама поставила за меня точку. Правда, иногда подбрасывала намеки. Просматривая в богатейшей музейной библиотеке дореволюционные журналы, я наткнулась на «Записки» Эразма Стогова в «Русской старине». Господи, да это же дедушка Анна Ахматовой с материнской стороны, с той самой, где была «бабушка-татарка», воспетая ею в стихах! Прочла, уже зная, что стихи – это не документальная биография поэта. Убедилась, порадовалась богатству музейной библиотеки и испытала еще нечто, о чем Тютчев сказал: «Так души смотрят с высоты / На ими брошенное тело». Но прошел

год-другой (пожалуй, даже больше), и в музее появился Роман Алексеевич Шувалов с вопросом, известны ли мне мемуары Стогова. Попутно рассказал, что смотрел те же материалы по большефонтанским дачам, что и я, но в отличие от меня, подошел к решению проблемы поисков дачи по-инженерному, то есть четко. Единица измерения участков, обозначенных на плане, – сажени, современные измерения используют, естественно, метры, на чертеже можно измерить в сантиметрах. Шувалов перевел сажени в метры, метры в сантиметры, наложил старый план на новые участки (от старых практически не осталось следов, кроме очень крупных дач). Так на нынешнем Хрустальном переулке обозначились контуры участков 1889 года. В конце концов нашлась и почта, виденная Анной Андреевной: в 1889 году, который меня так интересовал, здесь почтового отделения не было. Не было его и после 1909 года, когда почту перевели на 16 станцию. Та ахматовская подсказка не сработала, но оказалась другая: стало возможным узнать, что юная Аня Горенко с матерью приезжали на это место не позже 1909 года. Но мемориал возник действительно на месте, вблизи которого стояла дача Саракини (нынешняя Хрустальная улица, около дома 2). Об этом знали соседи; в 1971 году, когда я разыскивала дачу Саракини и встречалась со старожилами, библиотекарь ОГНБ им. Горького Вера Павловна Нагорская вспоминала, что мама показывала ей в детстве домик, где родилась Анна Ахматова (дача Нагорских обозначена на плане).

Но почему семья оказалась в Одессе, почему жила на даче и какой еще адрес или адреса связаны с Ахматовой в Одессе? Их немало. Благодаря усилиям биографов Ахматовой и одесских краеведов известно многое из того, что во времена наших поисков в 70-е казалось навеки исчезнувшим во времени. Теперь общеизвестно, отец Анны Андреевны Андрей Антонович Горенко, прапорщик корпуса инженер-механиков флота, в 1870 году был зачислен посторонним слушателем в Новороссийский (Одесский) университет. В марте 1887 года уволен со службы (поэтому Ахматова называет его в мемуарных записках «отставной инженер-механик флота»). В этом же году в семье появился сын Андрей, которого крестили в сентябре 1888 в Воскресенской церкви на Среднем

Фонтане. Если Анну 17 декабря крестили не в церкви поблизости от дачи Саракини, а в городском соборе, – значит, семья жила в городе. Итак, к одесским адресам Ахматовой прибавляется еще один. Как полагал Р.А. Шувалов, это ныне не существующий дом Немировского на углу Кузнечной и Спиридоновской. В автобиографической заметке «Даты, дачи» Ахматова пишет о приезде в Люстдорф к тете, Аспазии Антоновне Горенко. Аспазия (Евгения) Антоновна, выпускница врачебных женских курсов в Петербурге, с 1864 года практиковала в Одессе как врач по внутренним и детским болезням, жила на Новорыбной, дом 15. Неподалеку, на Пироговской, 3, жила Мария Федоровна Вальцер, крестная Анны, а почти рядом, на улице Отрадной, живал человек, оставивший след в ранних ахматовских стихах, – Алексей Митрофанович Федоров. Тяжело удержаться от искушения проследить эту романтическую линию биографии Ахматовой, тем более что она тоже может быть связана с одесскими реалиями. Впрочем, когда пишешь на особую для тебя тему, самое сложное – это отделить «было» от «могло быть». Простейший способ избежать такого искушения – вовремя поставить точку.

Вадим Перельмутер

«Медальный профиль, глуховатый голос...»

Два фрагмента к биографии Ахматовой

Библейскою бездомною беглянкой
Глядела вдаль заплаканная Муза…
Шенгели

1
Миф всегда прав

В мемуарах Евгения Рейна есть эпизод, законно претендующий на то, чтобы именоваться анекдотом. Краткий пересказ, как водится, теряет в колорите, зато обнажает механизм сюжета.

Середина пятидесятых, утро, Крым. К молодежной компании, расположившейся в открытом кафе на морском берегу, подходит бомжеватый с виду абориген, которому явственно и срочно требуется поправить пошатнувшееся с вечера здоровье. И просит... помочь ему (деньгами, понятно, кто сколько может) добраться до дому, мол, освободился недавно по амнистии, «червонец» на Севере отмотал по политическому делу, да, вот застрял, до́ дому доехать не на что. Молодые питерцы видят, разумеется, чем человек мучится, и бестактного вопроса – каким ветром беднягу в Крым-то из лагеря занесло? – не задают. Но в игру включаются мигом. За что сидел, спрашивают. Не могу разболтать, отвечает, очень дело секретное. Ну, не можешь так не можешь, на нет и суда нет, не получишь ничего. Пришелец сдается сразу. Вам, говорит, я вижу, доверять можно, только вы уж не выдавайте меня, а сидел я по делу Ахмедова и Зайченко. Следует многозначительная пауза. И добавляет, что, вообще-то, Зайченко ни в чем не виноват. Его Ахмедов втянул.

И тут Рейн с восторгом догадывается, что речь идет об Ахматовой и Зощенко…

В сентябре сорок первого по телеграмме Фадеева из блокадного Ленинграда срочно вывезли в эвакуацию двух писателей. Ахматову и Зощенко.

Когда потаенные документы публикуются с многолетним опозданием, самое в них существенное подчас ускользает от внимания: читатель, отделенный от событий двумя-тремя поколениями, следует за *текстом*, упуская детали, связующие с *контекстом*.

Ахматова считала – и говорила не раз, что кампания 1946 года, с хамством Жданова и культурофобским постановлением ЦК, была направлена прямой наводкой против нее, а Зощенко пострадал *рикошетом,* его рассказец, прежде уже четырежды (!) печатавшийся, дал только повод пристегнуть его к *процессу*, дабы *цель* не так била в глаза. Зощенко этого так и не пережил. Но к *убийствам для отвлечения* советская история приучила: вождь своих реальных или мнимых соперников засовывал в штабеля покойников, ни к чему не причастных…

Ахматовские оценки происходящего с нею принято подчас с легковатой руки поздних мемуаристов и критиков оговаривать ее мнительностью, для эпохи – естественной, и преувеличением собственной значимости. При этом почему-то забывается, что поэт *лучше слышит*. Она услышала раскат беды второго апреля, едва лишь встала при ее появлении на поэтическом вечере публика в Колонном зале.

Говорят, Сталин, узнав про то, поинтересовался: «Кто организовал вставание?».

А тут еще и *роман* Ахматовой с Исайей Берлиным. И очень похоже на то, что именно он, а не *роман* в романе «Буря», как предполагал Эренбург, стал причиной сталинского запрета на «межгосударственные» браки.

Вероятно, стоит добавить сюда и встречу – пусть случайную! – с посетившим Ленинград сыном Черчилля.

Всё – *перед августом* сорок шестого…

В девяносто шестом, к пятидесятилетию аутодафе, «Звезда» напечатала стенограмму ленинградского собрания, этого

хорового писательского пения под ждановское дирижирование. А в самом конце – кулуарная болтовня. Александр Прокофьев, главарь ленинградского Союза писателей, только что воротившийся из Москвы, где его сотоварищи распекали на главном партийном ковре, рассказывает, что после головомойки Сталин с ним заговорил, улыбаясь по-доброму, вот он и решился стукнуть на столичных собратьев. Ахматову, говорит, не только ленинградские, ее и московские журналы печатают. Ничего, утешил Сталин, доберемся и до московских…

О Зощенко – ни слова.

«В России все тайна и ничто не секрет» (Жермена де Сталь).

В первых числах сентября 1946 года Ахматова уехала из Ленинграда в Москву. На вокзале ее встретил Георгий Шенгели, усадил в такси, повез к себе – на Первую Мещанскую. На вопрос Ахматовой, стоит ли так рисковать, ведь у него семья, недоуменно пожал плечами: не понимаю, Анна Андреевна, о чем вы говорите…

В составленной дотошными исследователями *хронике* ахматовской жизни эта поездка не значится. Документальных свидетельств о ней не обнаружено.

Но она была.

Мне рассказывали вдова Шенгели Нина Леонтьевна Манухина и ее дочь – его падчерица – Ирина Сергеевна, каковы были для них те десять (то ли двенадцать, за точность не ручались, не до счета было) дней, проведенных тогда Ахматовой в их квартире. Об усилии не выказать вовне пульсировавший внутри страх. О не провозглашенном, но действовавшем табу на разговоры о происшедшем и происходящем, о неторопливых – за чаем – беседах-воспоминаниях и даже о двух-трех приемах немногих гостей, среди которых, кстати, был и Арсений Тарковский, тоже пострадавший от *августовского* партийного погрома – набор его первой книги, уже подписанной в печать, был рассыпан в типографии. Именно тогда Тарковский и познакомился с Ахматовой. Про то есть в воспоминаниях Нины Ольшевской, при сем знакомстве присутствовавшей. Чем не *свидетельство*! Однако по неведомым причинам оно к дате иной отнесено, хотя и не вполне с нею согласуется…

Думаю, что след этой поездки легко отыскался бы в… архиве КГБ (в пору, о которой речь, – МГБ). Увы, по правилам этой ор-

ганизации, материалы «оперативной разработки», то бишь деятельности «конторы», которая не завершилась арестом «объекта», хранятся не более двадцати лет.

Впрочем, упоминание о том – *не всуе*. Рискну предположить, что срочный и скрытый от питерских знакомых отъезд в Москву был продиктован вполне объяснимым страхом. Страхом перед непредсказуемой реакцией «местных органов» на явственный *знак*, озвученный в докладе Жданова. Вроде бы и нет прямого *указания* с Лубянки, но не возникнет ли в «местных» порыва превентивно выслужиться перед нею…



Анна Ахматова
Рисунок Георгия Шенгели

Жизненный опыт Ахматовой отнюдь не исключал такого виража событий. А ежели беды все равно не миновать, то в Москве это выявится отчетливей и быстрей…

Ахматова говорила, что бесстрашие – это отсутствие воображения.

У нее с воображением все было в порядке.

У Шенгели – тоже. А ему было чего страшиться и без питерской гостьи. Ибо всего за несколько месяцев до ее появления был он любезно приглашен на Лубянку. И приветливый следователь предложил ему ознакомиться с написанными поэтом Георгием Шенгели в 1921 году «Стихами о Гумилеве». Абсолютно – с точки зрения власти – *криминальными*. Далее последовало естественное предложение о дальнейшем *сотрудничестве*. Самоубийство, мотив которого неоднократно прежде возникал в стихах Шенгели, на сей раз в его планы не входило. Он в ответ лишь

предположил, что при его замкнутом, *академическом* образе жизни оное *сотрудничество* едва ли может быть плодотворным. На том и расстались.

Явление Ахматовой *после* этой беседы про «Стихи о Гумилеве», разумеется, случайность. Однако в жизни поэтов рифмуется и не такое…

Потом, приезжая в Москву, Ахматова всякий раз непременно навещала чету Шенгели.

Однажды привела с собою Марию Петровых, в двадцатых годах учившуюся у профессора Шенгели в Брюсовском литературном институте, а в начале тридцатых привлеченную им к занятиям поэтическим переводом.

Среди записей Петровых есть упоминание о том, что на обратном пути Ахматова говорила о только что услышанном стихотворении Георгия Аркадьевича:

Я начинаю забывать стихи;
Так улетают из вольеры птицы…

В набросках плана главы «Современники» из неосуществленной ахматовской книги «Пестрые заметки» перечислены десять *персонажей*, каждому из которых «будет посвящена отдельная главка». На четвертом месте – Шенгели. После Мандельштама, Гумилева, Блока. Перед Ниной Ольшевской, Надеждой Мандельштам, Модильяни, Вячеславом Ивановым.

И заглавие заметок о нем – «Неуслышанный голос».

Услышала…

После смерти Шенгели Ахматова несколько раз останавливалась у Нины Леонтьевны. Пока здоровье позволяло. В этом «Доме ТАСС», построенном в 1938 году, не было лифта. А квартира – на шестом этаже…

В октябре пятьдесят седьмого Ахматова привезла и подарила Манухиной листок со стихами. Вот они.

Царскосельская элегия
(Памяти друга)

Сады прекрасные! Под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

Пушкин

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Одичалые розы пурпурным шиповником стали,
А лицейские гимны все так же заздравно звучат.

Полстолетья прошло… Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве лет забывала теченье годов, –
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

5 октября 1957. Москва

Позже, в том же году, стихотворение вошло вторым в диптих «Городу Пушкина», которому предпослан иной – тоже *пушкинский* – эпиграф, а посвящение снято. Случай у поэтов нередкий и вовсе не свидетельствующий ни о *перемене в отношениях*, ни о *неверности в дружбе*. Просто стихотворение включено в другой *контекст* – цикла или книги. Скажем, у того же Шенгели стихотворение, посвященное Мандельштаму в книге 1918 года, в следующую, вышедшую четыре года спустя, включено без посвящения. Хотя ни малейшей размолвки в их дружбе, начавшейся в середине десятых годов, не было…

Ныне автограф – в фонде Шенгели в РГАЛИ.

2

…Они познакомились в конце девятьсот шестнадцатого. Встречались редко. До сорок шестого – трижды. В сорок третьем, после дня, проведенного Шенгели у Ахматовой в Ташкенте, и слушания «Поэмы без героя» он написал стихи об этих встречах: «Гудел

декабрь шестнадцатого года. Убит был Гришка. С хрустом надломилась Империя»…

Он не любил просиживать часами на совещаниях и конференциях. Однако noblesse oblige – не только поэт, но и профессор, филолог и стиховед, и переводчик европейской классики etc. Проходилось. На листочках, разложенных перед участниками «для заметок», он… рисовал. Чаще всего – портреты присутствующих и отсутствующих писателей, с натуры и по воспоминаниям. Легко, уверенно, иногда иронично, подчас шаржированно, рисовальщиком был отменным.

Среди этих пожелтевших осьмушек есть и портрет Ахматовой – такой, какой увидел ее в двадцать третьем. Профиль, слегка, ненарочито утрированный, вызывающий почти бессознательную ассоциацию с ее любимым поэтом – одним из двух, быть может, и промелькнула в момент рисования мысль о нем: «Тень Данта с профилем орлиным»…

Шенгели умер в 1956 году.

Девять лет спустя, в год-анаграмму – 1965, в Большом театре на вечере, посвященном семисотлетию со дня рождения великого флорентийца, Ахматова произнесла свое «Слово о Данте». Последнее в жизни выступление. Девятнадцатого октября – хоть и *новый стиль*, но от нечаянной этой переклички с *лицейской годовщиной* второго *любимого* не отстраниться.

Кроме нее, поэтов в тот вечер на сцене не было.

В конце зимы восемьдесят пятого Эмма Григорьевна Герштейн упомянула в беседе со мной, к слову пришлось, повода не помню, что заходил к ней на днях Вадим Черных, консультировался по поводу ахматовского двухтомника, который готовит к печати.

«А «Слово о Данте» там будет?» – поинтересовался я. «Нет. Этого текста не было – Анна Андреевна говорила без тетрадки». – «Был». – «Вы ошибаетесь. И не можете этого знать», – с этакой уверенной снисходительностью старшего – к изрядно младшему.



Я знал. Уже больше года мы с Сергеем Васильевичем Шервинским готовили к изданию в Армении первую – и оказавшуюся единственной прижизненной – книгу его *избранного*, «От знакомства – к родству», куда включили и его мемуарный очерк «Анна Ахматова в ракурсе быта». Не без полемики включили. Шервинский сомневался долго – стоит ли? кто это увидит-прочтет за чертой Еревана, да и там по пальцам счесть, кому это интересно. Я убеждал его, что те, кому *интересно*, не то что в Ереване, а и на дне морском отыщут написанное про Ахматову. И приводил примеры, мол, об этом и об этом, и еще об этом, узнать просто-напросто больше неоткуда. По счастью, убедил. А заодно чуть ли не наизусть выучил тот очерк.

И там, в конце, рассказано, как позвонила ему в начале октября Ахматова и попросила приехать к ней в Сокольники. Он поехал, теряясь в догадках о цели такого единственного лет за сорок знакомства приглашения, ведь прежде она всегда сама приезжала в гости.

Оказалось, что Ахматова хочет *проверить* на нем, первом слушателе, написанное «Слово о Данте». И прочитала его – по записи. Шервинский счел текст превосходным. И сделал лишь одно, но, как он выразился, «существенное» замечание – посоветовал поменять две части местами. Что и было сделано.

Выслушав меня, Эмма Григорьевна несколько минут молчала непроницаемо. А потом коротко сказала, что передаст все это «по назначению» (цитирую дословно).

Потом я узнал, что Черных заново перерыл все доступные ахматовские бумаги, но текста «Слова о Данте» так и не сыскал. И, отчаявшись, сделал то, что, по-моему, должно было прийти ему на ум много раньше – отправился в Государственный архив фонодокументов. Ведь Дантовский вечер, конечно, записывался на пленку. По ней Черных и восстановил текст (кроме одного слова, канувшего в секундный дефект записи).

Двухтомник вышел осенью восемьдесят шестого.

«Слово о Данте» занимает в нем полторы странички.

Пять минут звучащего Слова.

И кроме имени Данте – три имени «друзей и современников»: Гумилев, Мандельштам, Лозинский.

Два из них, прозвучавших со сцены Большого, в шестьдесят пятом были под полным, незыблемым цензурным запретом.

И потому последнее Слово Ахматовой, вызвавшее овацию зала, было опубликовано двадцать один год спустя.

Мюнхен

Вадим Перельмутер

Мифология портрета

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты…
Ахматова

Пушкин был недоволен издателем, предварившим «Кавказского пленника» гравированным портретом Георга Гейтмана, оригиналом которому послужил портрет Пушкина-лицеиста, выполненный году в 1815-м его учителем Сергеем Чириковым.

И дело не только в том, что автор поэмы был старше на целых семь лет, но более в том, что Пушкин был светлоглаз и светло-рус, что «честно» зафиксировал его первый портретист, а гравер – неизбежно – *зачернил* кудри, брови и глаза, *затемнил* акварельную алость губ и румянец, словом, усилил, подчеркнул далеко не очевидные для современников поэта «арапские» черты его прадеда.

Раздражался – как в воду глядел: этот образ повлиял на пушкинских портретистов, на кого больше, на кого меньше, но – на всех без изъятия. Вплоть до Василия Матэ, родившегося спустя два десятка лет после смерти поэта и знаменитый портрет свой отгравировавший в юбилейном 1899 году, так сказать, «по сумме» всех прижизненных портретов Пушкина.

И этот *визуальный миф* из поколения в поколение все вернее утверждался в читательском мнении о несомненном «арапстве» пушкинском…

Ну, а поскольку Пушкин, как известно, «наше все», то и мифология писательского портрета, с него в русской художественной



Анна Ахматова. Памяти Модильяни
Рисунок Гавриила Гликмана

иконографии начавшаяся, органически вписалась в то, что именуется ныне классической литературой. И читатель, как правило, даже и не отвлекается на мысль о том, что густобородый Тургенев никак не мог быть автором «Записок охотника», равно как соперничающий с ним бородою Лев Толстой на авантитуле «Севастопольских рассказов» не очень *соответствует* ни темпераменту, ни интонации автора этой прозы. Что страдающий (то ли неизлечимой болезнью, то ли «за народ») Некрасов (см. собрание сочинений) едва ли представим в театре, на сцене которого разыгрываются его водевили, а почти сорокалетний Чехов на *хрестоматийном* портрете Осипа Браза нимало не ассоциируется с образом юмориста, в молодости ерничавшего на страницах «Осколков» и «Стрекозы»…

Разумеется, были попытки, правда лишь, если не изменяет мне память, в некоторых собраниях сочинений, помещать в томах портреты автора в последовательности хронологической, то бишь более или менее соответствующие времени, когда создавались вошедшие в том сочинения, например в «синем» шеститомнике Гоголя. Однако общей картины сии *частности* не переменили. Мифология с логикой не спорит, она ее просто игнорирует.

В Европе и Америке было иначе. Там скорее можно говорить о портрете-символе, нежели о *мифе*. Тамошним школьникам давным-давно надоели многотиражные изображения Гете с распахнутой книгой, Байрона в романтически развевающемся плаще или трагически-загадочного По.









Работы Г. Гликмана
На обороте:
«Тридцатые годы»
«Пушкин и Ахматова»
«Свет рампы»



«В мастерской художника»
«Ахматова и Шостакович»

На обложке:
«Сероглазый король»

И даже когда галерея портретов писателя пространна, впечатление она оставляет не такое, какое нам привычно в российской традиции.

Двадцать лет назад, готовя к изданию книгу «Избранное» Поля Верлена (в переводах Георгия Шенгели), я включил в нее восемнадцать (!) его портретов, сделанных в разное время и разными художниками. Получилось, если угодно, *визуальное повествование* о жизни поэта, *образе* этой жизни, повествование ироничное и драматичное, подчас шаржированное, перебиваемое фрагментами, можно сказать, документально-биографическими, этакий *рассказ-пунктир*, но никак не *миф*. Разнообразие сих изображений дает читателю возможность выбрать среди них именно *своего Верлена*. Наиболее соответствующего его – читателя – представлению о поэте. Однако сомневаюсь, что, скажем, у пяти читателей – или даже у двух-трех – это будет один и тот же портрет. Или хотя бы явно созвучные друг другу, *общные*. И дело тут не в разноте вкусов, но в отношении к литературе, которой издавна в читательском сознании отведено было более или менее определенное и *не сакрализованное* пространство.

О роли, сыгранной литературой на протяжении почти двух столетий российской духовной жизни, написано и сказано столько, что повторять-пересказывать нет нужды. Разве что стоит отметить, что в этом *сакральном* пространстве мифология портрета возникла совершенно естественно и… бессознательно. Выращенный, воспитанный этой литературой художник, создавая портрет, сообщал публике не столько о том, как *выглядел* писатель (хотя, понятно, было и это – портрет все-таки!), сколько о том, что писатель сказал, *выразил*. И эта *двойственность* передавалась публике: она не только *вычитывала* впечатление художника, но и *вчитывала* в портрет свое мнение о писателе…

Гавриил Гликман (1913-2003) пытался создать не галерею, но *мифологию* ахматовских портретов осознанно. Едва ли, по-моему, отдавая себе отчет в том, что как бы обозначает таким образом завершение прежней двухсотлетней – *бессознательной* – истории этого специфически российского жанра.

И мне слышится *рифма* с пушкинским его началом…

Семен Липкин говорил о живописи своего друга Аркадия Штейнберга: «Он никогда не писал с натуры, но всегда помнил о ней».

Гликман был знаком с Ахматовой, но никогда не писал ее *с натуры*.

Он писал портреты Ахматовой много раз – и много лет. И в Ленинграде, и в эмиграции, в Мюнхене, куда перебрался в 1980 году.

Он воссоздавал – для себя, прежде всего – для себя, и только потом – для зрителя-читателя, *ближний круг* (реальный и воображаемый, но кто решится провести у поэта границу между ними?) ее жизни и стихов, облики, не названными присутствующие в ее «Поэме без героя», где имена и не надобны, и *героя* – одного – нет и быть не может.

Это – память эха. Слышная поэту. Видная художнику.

У него Ахматова – десятых, двадцатых, тридцатых годов, нигде – позже.

У него Ахматова – с Пушкиным. В диалоге.

У него Ахматова – с Моцартом. С музыкой, какой много в ее стихах.

…И с Шостаковичем – где перекликаются, разделенные десятилетием, его январь тридцать шестого («Правда», статья «Сумбур вместо музыки») с ее августом сорок шестого (Ленинград, доклад Жданова).

У него Ахматова – с Модильяни…

Его Ахматова начала десятых годов – словно бы в свете рампы, и вот-вот начнется спектакль с нею в главной роли…

…И она же, чуть позже, – на распутье – или в предчувствии – трех жизней – *после* «сероглазого короля».

Его Ахматова тридцатых – та, у которой «муж в могиле, сын в тюрьме»…

А начиналась эта живопись, это *погружение в мифологию,* с графического листа, явно, подчеркнуто напоминающего те самые первые ахматовские портреты, что во множестве возникали в девятьсот десятом в Париже из-под руки влюбленного в нее гениального итальянца…

Мюнхен

Олег Губарь

Функции Одесского строительного комитета
в контексте истории градостроительства Одессы*

Пушкинские места Одессы: еще раз о доме Бларамберга

Адрес дома и участка, принадлежавших семейству Бларамберг по улице Канатной, № 2, настолько утвердился в многочисленных научных, научно-популярных, справочных изданиях, что как будто не подает повода к пересмотру. Вместе с тем некоторые сомнения, связанные с атрибуцией, в единичных публикациях все же проскальзывают, и это дает мне повод вернуться к означенной теме.

Еще в издании 1869 года «Одесская старина» читаем: «Канатная улица – так прозвана по находящемуся там канатному заводу; начинается домом (первый с правой руки), в котором жил и умер (в 1830 г.) Ив. Павл. Бларамберг, один из первых новороссийских археологов; здесь, при жизни собирателя, помещался заводимый им музей древностей»[1]. Литература о Бларамберге, его семействе, домовладениях, общении с Пушкиным, устройстве музея довольно обширна[2], без ложной скромности назову небезынтересными и собственные публикации на этот счет[3].

Наиболее весомыми и подробными в данном контексте представляются исследования авторитетного историка градостроительства Одессы В.А. Чарнецкого. Анализируя архивные материалы наряду с другими, Владимир Адамович подтверждает обоснованность упомянутого мемориального адреса. Разно-

* Продолжение. Начало в кн. 35-41, 43, 45-47, 49, 50, 54-56.

чтения же, о которых говорено выше, обусловлены неверной интерпретацией некоторых первоисточников: в частности, недостаточно компетентные исследователи грешат анахронизмами, не вполне разбираются в ретроспективной топографии и т. п. Так, в одной из недавних публикаций атрибуция местоположения дома (участка) Бларамбергов оспаривается, и, на первый взгляд, довольно убедительно. Остановимся на этом сюжете более детально.

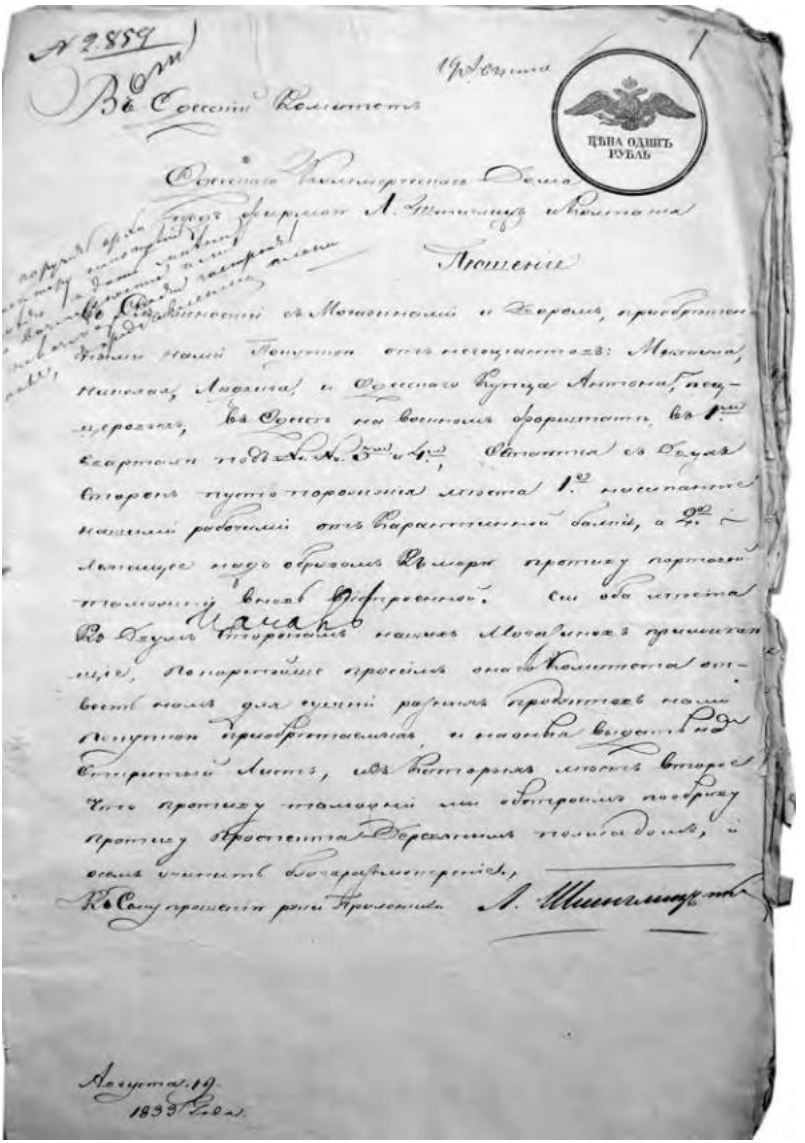
В качестве одного из главных аргументов автор сказанной публикации без каких-либо ссылок цитирует архивное дело, в котором говорится о покупке в 1833 году Л. Штиглицем и Компанией дома у неких негоциантов (фамилия пропущена: судя по всему, ее просто-напросто не сумели прочесть), и к которому приложена схема расположения смежных домов – приобретенного Штиглицем и самого Бларамберга. При сем место первого из этих строений показано в пятне застройки нынешнего дома по Канатной, 2, а дом Бларамберга обозначен примерно как угловой, ныне № 6, у Карантинного спуска[4]. То есть местоположение дома Бларамберга как будто отлично от общепринятого. Автор подкрепляет свои соображения информацией, почерпнутой из синхронной графики Тетбу де Мариньи: здесь та же ситуация, дома Штиглица и Бларамберга подписаны и показаны в тех же пределах как смежные[5]. При таком сценарии получается, что мемориальный дом, точнее его первооснова, на самом деле принадлежали неким негоциантам, затем достались Штиглицу, а недвижимость семейства Бларамберг находилась по соседству.

Подобная интерпретация исторических документов в который раз иллюстрирует образчик того, как случайно и произвольно выдернутая из хронологического контекста информация приводит к столь же произвольным выводам. Так, в той же публикации автор-дилетант пишет о том, что «купальный берег» находился возле Таможенной площади, и что будто бы именно туда Пушкин совершал утренние прогулки, «с крутого берега сбегая»[6]. Это курьезное заявление, поскольку Купальный берег располагался несколькими километрами левее, за Военной балкой, что запечатлено как во множестве архивных документов, ретроспективных СМИ, так и в переписке М.С. Воронцова[7],

не говоря уже о популярном полотне академика живописи М.Н. Воробьева и др. Таковые обстоятельства подрывают доверие к нашему оппоненту. А потому давайте вместе внимательно проштудируем имеющиеся материалы, в том числе и те, о которых только что шла речь.

Начнем как раз с архивного дела вокруг покупки дома по Канатной улице бароном Штиглицем и отвода покупателю примыкающего места. Оно хранится в фонде Одесского строительного комитета (ОСК) Государственного архива Одесской области под следующим заголовком: «Об отводе мест Штиглиц и Компании, лежащих над обрывом к морю противу Портовой Таможни»[8]. О чем это дело? 19 августа 1833 года барон Людвиг фон Штиглиц с компаньонами обращается в ОСК со следующим прошением: «В смежности с магазинами и двором, приобретенными нами покупкою от негоциантов Михаила, Николая, Людвига и одесского купца Антона Пеццеровых, в Одессе, на военном форштате, в 1-м квартале, под № 3-м и 4-м, остается с двух сторон пустопорожние места: 1-е, насыпанное нашими рабочими от Карантинной балки, а 2-е – лежащее над обрывом к морю противу портовой таможни вновь выстроенной. Сии оба места, по двум сторонам наших магазинов примыкающие, покорнейше просим оного Комитета отвесть нам для сушки разных продуктов, нами покупкою приобретаемых, и на оные выдать нам открытый лист, из которых мест второе, что противу таможни, мы обстроим по обрыву противу проспекта деревянным палисадом, и о сем рассмотреть благорассмотрение». На прошении имеется резолюция: поручение архитектору осмотреть местность и дать заключение с приложением плана[9]. Два следующих листа дела – соответствующие директивы архитектору Боффо от 28 августа 1833-го и 22 января 1834 года.[10] Строптивый Боффо эти поручения, мягко говоря, проигнорировал; аналогичные выходки он, пользуясь расположением генерал-губернатора, позволял себе неоднократно.[11]

Наш оппонент уверяет, будто к прошению Штиглица и К° прилагается схема местности, составленная архитектором Торичелли[12]. Это совершенно не соответствует действительности: зодчий получил задание ОСК лишь 23 мая 1834 года[13], после проволочек

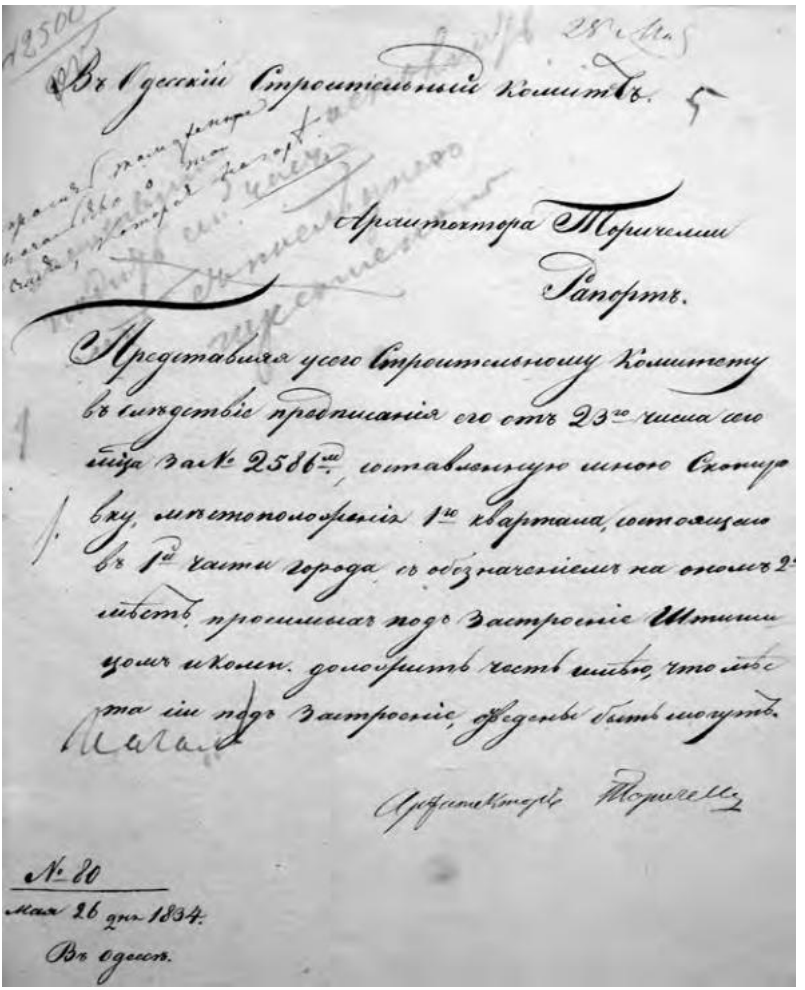


Прошение Людвига Штиглица и К° от 19 августа 1833 г.



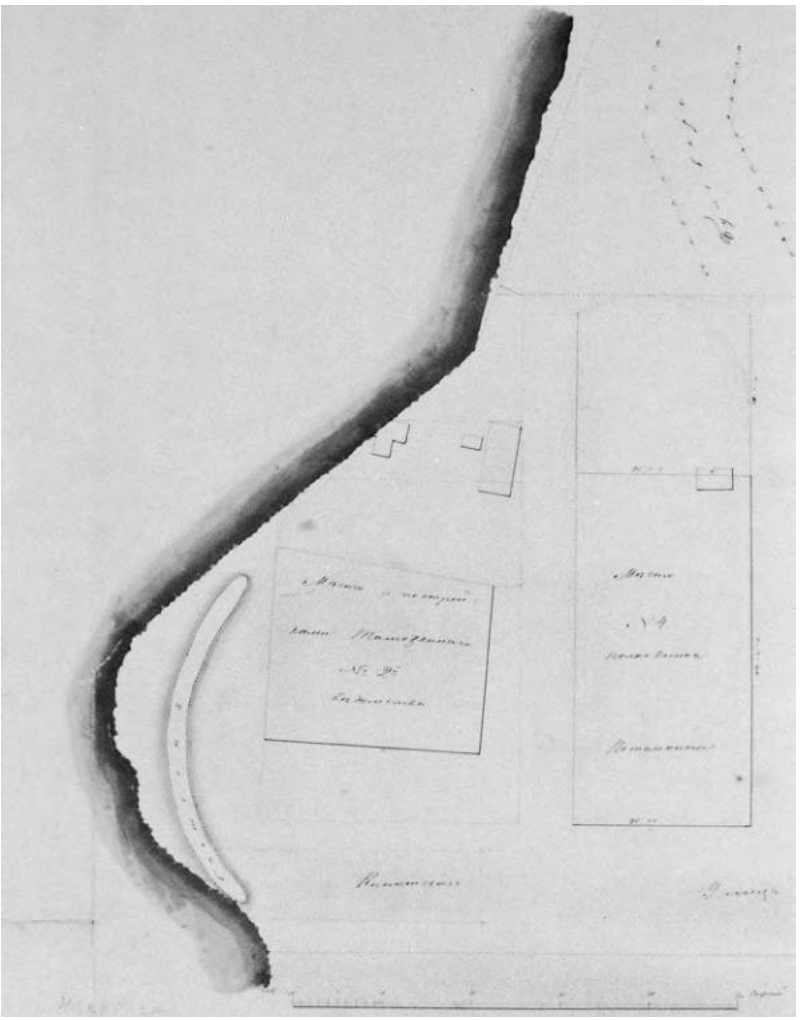
Титульный лист архивного дела об отводе мест Штиглицу и Компании

Боффо, а о выполнении доложил 26-го[14]. Вот к этому-то рапорту и прилагалась схема местности[15]. Но это расценивалось бы как мелкая придирка с моей стороны, если бы не то элементарное обстоятельство, что оная схема отражает статус-кво на без двух месяцев десятилетие после отъезда Пушкина из Одессы, и само по себе никак не может интерпретироваться как синхронное 1823-1824 годам. Да, на этом плане, как мы можем убедиться воочию, место нынешнего дома по улице Канатной, № 2, действительно принадлежало Штиглицу и Компании. Но в таком случае здравомыслящий исследователь просто обязан задаться целой серией вопросов. Какова история застройки этого участка? Кто был первым застройщиком? Владели ли изначально местами представители семейства Пеццер, от которых земля и строения перешли к Штиглицу и К°? Наконец, не были ли прежними владельцами этих смежных с собственными местами Бларамберги? Ведь все так просто. Гораздо проще, нежели жонглировать документами из хронологически иного среза, вольно или невольно утопая в анахронизмах.



Рапорт архитектора Торичелли от 26 мая 1834 г.

Если же не впадать в крайности топографических разоблачений, то все станет предельно ясно. При первичном межевании городской земли под застройку в августе-сентябре 1794 года весь первый квартал Военного форштата, состоящий из четырех



План начала нечетной стороны Канатной улицы, 1830-е гг.

равновеликих мест, был назначен для Иосифа де Рибаса[16]. Однако вскоре планы де Рибаса переменились, и он построился по Польской улице[17]. Дальнейшая судьба застройки первого квартала

Военного форштата весьма отчетливо прослеживается по архивным документам.

16 марта 1813 года в Одесский строительный комитет было подано прошение коллежской советницы Каролины Бларамберг, в котором она просила об отводе мест № 3-4 в первом квартале Военного форштата. 18 марта ОСК констатировал, что сказанные места отведены 4 марта 1811 года комиссионеру восьмого класса Бенкину[18]. 24 марта Комитет поручил обследовать просимые места архитектору Франческо Фраполли[19]. 30 марта поступил его рапорт: строения на просимых местах нет, но есть «довольное количество старого материала – 6-вершкового и 8-вершкового камня»[20]. Поскольку предыдущий застройщик в срок не исполнил взятых на себя обязательств, согласно существовавшему порядку, 31 марта 1813 года места передали на год Каролине Бларамберг[21]. При этом 7 апреля из Городской полиции поступило сообщение: упомянутые строительные материалы оценены в 458 рублей 38 копеек, деньги с Каролины взысканы в пользу предыдущего неисправного застройщика, смета оценки 8-ми, 6-ти, 5-ти, 4-вершкового и бутового камня прилагается[22]. О личности упомянутого комиссионера 8-го класса, смотрителя Одесского военного госпиталя, мне известно довольно много, однако здесь эта информация не к месту.

Важно то, что 23 июня 1813 года Каролина Бларамберг доложила в ОСК о завершении постройки по утвержденному Комитетом плану на отведенных ей местах № 3-4 в первом квартале Военного форштата. Городской архитектор Фраполли освидетельствовал новостройку и удостоверил соответствие комитетскому плану[23]. Это означает, что речь идет о доме вполне солидном. 26 июня Каролина получила владельческие документы («открытый лист») и вернула временный квиток на право застройки, выданный 31 марта[24]. Подробные обстоятельства отвода ей мест № 3-4 и их застройки дублируются синхронными журналами заседаний ОСК: прошение Каролины, освидетельствование Фраполли[25], взыскание денег за стройматериалы, принадлежащие прежнему застройщику[26], фиксация завершения строительства и выдачи владельческих документов[27]. Таким образом, мы видим, что первой владелицей строений на интересующих нас местах,

впоследствии принадлежавших Пеццерам, а далее Штиглицу, была Каролина Бларамберг, что и требовалось доказать.

Но тогда правомерно возникает следующий вопрос: когда Бларамберги застроили или приобрели смежные участки, которыми владели в первой половине 1830-х годов, и которые отмечены за ними на плане Торичелли и графике Тетбу де Мариньи? Разумеется, голландский консул и знаток причерноморских древностей Эдуард Тетбу де Мариньи был в курсе дел, ибо сам квартировал у Бларамбергов как раз в 1833 году[28]! Исчерпывающий ответ находим в архивных документах. Годом позднее своей супруги, 23 марта 1814 года, коллежский советник И. Бларамберг обращается в ОСК с прошением об отводе интересующего нас смежного участка[29]. В этом случае сюжет повторяется практически под копирку, с тою лишь разницей, что наряженный для осмотра места Фраполли обнаружил несколько сотен штук камня-известняка и известь, заготовленные предыдущим владельцем (с 26 мая 1804 года) участка подполковником Розиниусом[30]. Петр Петрович Розиниус служил командиром Одесского артиллерийского батальона, затем командовал осадной артиллерией Молдавской армии, был кавалером высоких орденов, но его дальнейшая биография с нашим городом не связана. Так или иначе, по независящим от него обстоятельствам он, как и позднее Бенкин (Бенкен), в срок не застроился, и места достались Бларамбергу.

В журналах Одесского строительного комитета зафиксирован еще один прелюбопытный эпизод, относящийся к истории одновременно всех четырех интересующих нас мест. 9 августа 1815 года Комитет обсуждал прошение доверенного лица тайного советника графа Ворцеля, дворянина Ивана Знамировского: «С числа купленных вверителем его за 1.000 червонных мест, состоящих на Военном форштате в 1-м квартале под № 1, 2, 3 и 4, отобраны Комитетом два, под № 1 и 2-м, по незастроению, и отданы коллежскому советнику Бларамбергу, а под № 3 и 4-м остаются, на которых имеется значительная постройка магазинов и прочего, так что более производить постройки негде». Но так как проситель предполагает вскоре строить дом по плану, то просит за убытки другое место, «состоящее повыше балки против старого карантина». В ответ на это Комитет сообщает,

что все четыре места отведены 31 марта 1813 года жене коллежского советника Бларамберга Каролине. Если же просителю угодно получить деньги за приготовленный материал, то следуемые ему 458 рублей 35 копеек имеются в наличии. Что касается другого просимого места, то архитектор освидетельствует возможность отвода[31].

Речь здесь идет о графе Станиславе-Григории Ворцеле, предводителе волынского губернского дворянства, а не о его брате, сенаторе Леонарде, умершем в феврале 1815 года. Не вполне ясно, у кого Ворцель купил сказанные места, да еще за столь солидную сумму – у Бенкена и Розиниуса, а может, у первого владельца? Сам факт продажи – афера, ибо места продаже не подлежали до застройки по плану и получения открытого листа. Все верно, но если речь идет о самом первом этапе градостроительства и первом владельце места, то все возможно. Как бы то ни было, мы снова отчетливо видим: все четыре места в августе 1815-го принадлежат Бларамбергам, причем здесь уже «имеется значительная постройка магазинов и прочего».

Единственное, чего мы не знаем, так это точного срока покупки Пеццерами дома со службами и мест № 3-4, принадлежавших Каролине Бларамберг. Могу определенно сказать, что это произошло после 1824 года, к каковому обстоятельству вернусь немного ниже. Пеццеры (Pezzer Natale, Luigi) – «левантийцы»: негоцианты, биржевики, банкиры из Дубровника, Рагузы[32], осуществляли коммерческие операции через одесский порт, по крайней мере в 1812 году[33]. Натали Пеццер был настолько авторитетен и состоятелен, что в числе наиболее крупных и сознательных негоциантов ссужал Одесский строительный комитет значительными суммами, получил российский орден[34].

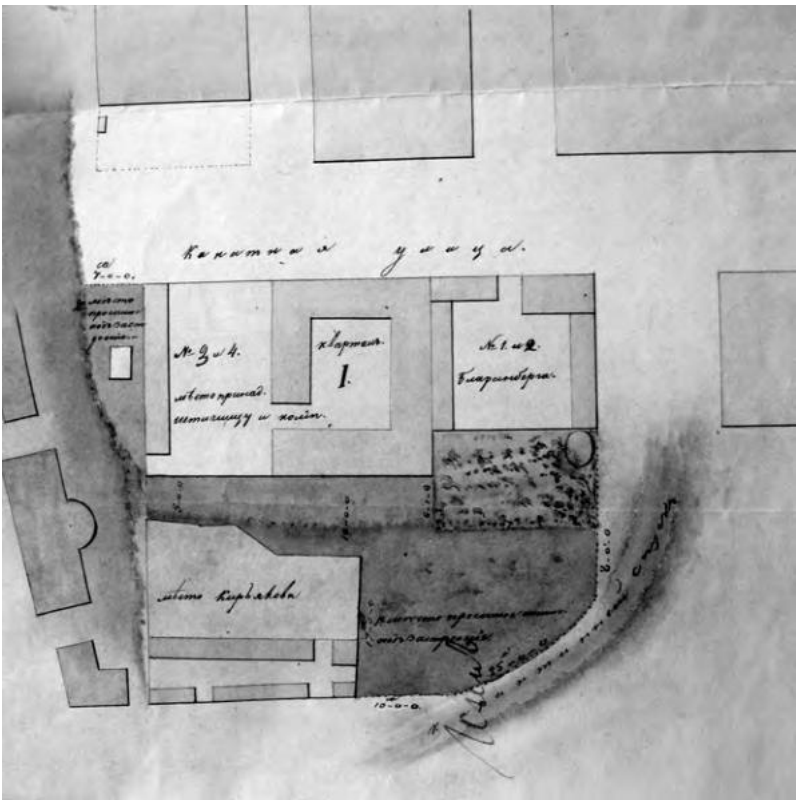
История принадлежавшей этому семейству недвижимости в Одессе начинается 27 апреля 1816 года, когда негоциант Людовик (Луиджи) Пеццер по доверенности отца Натали Пеццера просит ОСК об отводе места № 93 в XII квартале Военного форштата, которое и получил под застройку 30 декабря[35]. Это участок смежный с местом его делового партнера Шарля Сикара, свою часть которого наследники Пеццера продали греческому купцу Матвею (Матео) Маврокордато[36]. То есть дом Сикара по Пушкинской,

№ 13, – это место № 94, а место № 93 симметрично выходило на Польскую улицу. Но это тоже отдельный сюжет: место № 93 частично принадлежало Сикару, а частично Пеццеру.[37]

Далее тот же Пеццер по аналогичной доверенности отца купил у купца Георгия Лурия готовые домостроения на престижном месте по нечетной стороне Итальянской улицы, в квартале меж Дерибасовской и Греческой (ныне это место дома № 7) – середину, а всего тут было три места. 15 июля 1818 года брат покойного Франческо Фраполли, Иван (Джованни), доложил в ОСК, что это место Пеццера укорочено самовольными захватами соседей: полковник Понятовский отхватил 1 аршин стеною магазина, с другой стороны купец Янопуло «съел» 1,5 аршина, оградив их стеною.[38] Как Пеццеры договорились с соседями о компенсации, я, правда, не знаю.

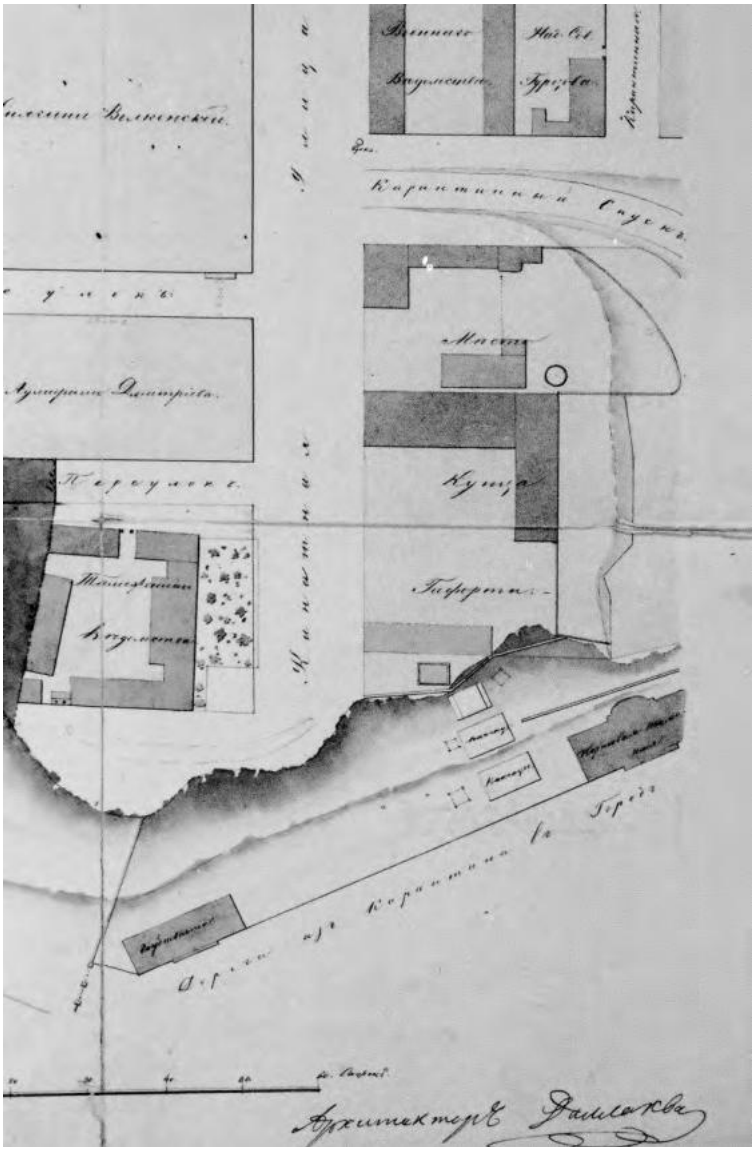
В мае 1822 года Пеццеры купили у вдовы архитектора Ф. Фраполли Марии-Аделаиды хутор на Молдаванской слободке.[39] В 1824 году Натали Пеццер приобрел дом на углу Базарной улицы и одноименного переулка, на который выписал доверенность другому сыну, Антону[40], которому позднее принадлежала и недвижимость по Итальянской улице. О Пеццерах дошла и другая любопытная информация[41], однако нигде (в том числе в оценочных ведомостях, составленных в 1821-1824 годах для налогообложения недвижимости) нет и намека на покупку ими дома Бларамбергов в 1810-х – первой половине 1820-х. Таким образом, вся сторона 1-го квартала в пушкинское время принадлежала семейству Бларамберг.

Для того чтобы по возможности полностью закрыть все вопросы, обратимся к довольно значительному корпусу сохранившихся картографических и прочих источников. Прежде всего, поясню, почему В.А. Чарнецкий пишет о документальной несуразице в нумерации мест 1-го квартала, вызывающей непонимание и путаницу[42]. Дело в том, что этот квартал, в отличие от большинства других, нетипичен – относительно мал, а кроме того, частично занимает неудобья, то есть склоны к Карантинной балке. По этой причине изначально планировалось нарезать места вдоль будущей Канатной улицы. Высочайше утвержденный план 1803 года фиксирует, что 1-й квартал Военного форштата



План начала четной стороны Канатной улицы с указанием мест Бларамберга и Штиглица, 1834 г.

еще не застроен, абсолютно пуст.[43] На городском плане 1814 года отлично видно: вся красная линия занята двумя почти симметричными постройками Г-образной формы Бларамберга и его супруги. Кроме того, примерно посередине есть значительный дворовой флигель[44]. Четыре места – № 3-4 и № 1-2 – Бларамбергам отводились «трамвайчиком», что и зафиксировано рассмотренной выше схемой Торичелли 1834 года. Однако формально на генеральном плане Одессы, составленном тем же Торичелли в конце 1820-х, 1-й квартал поделен на четыре части «крестом», и таким образом места № 1-2 обозначены общим № 1, места

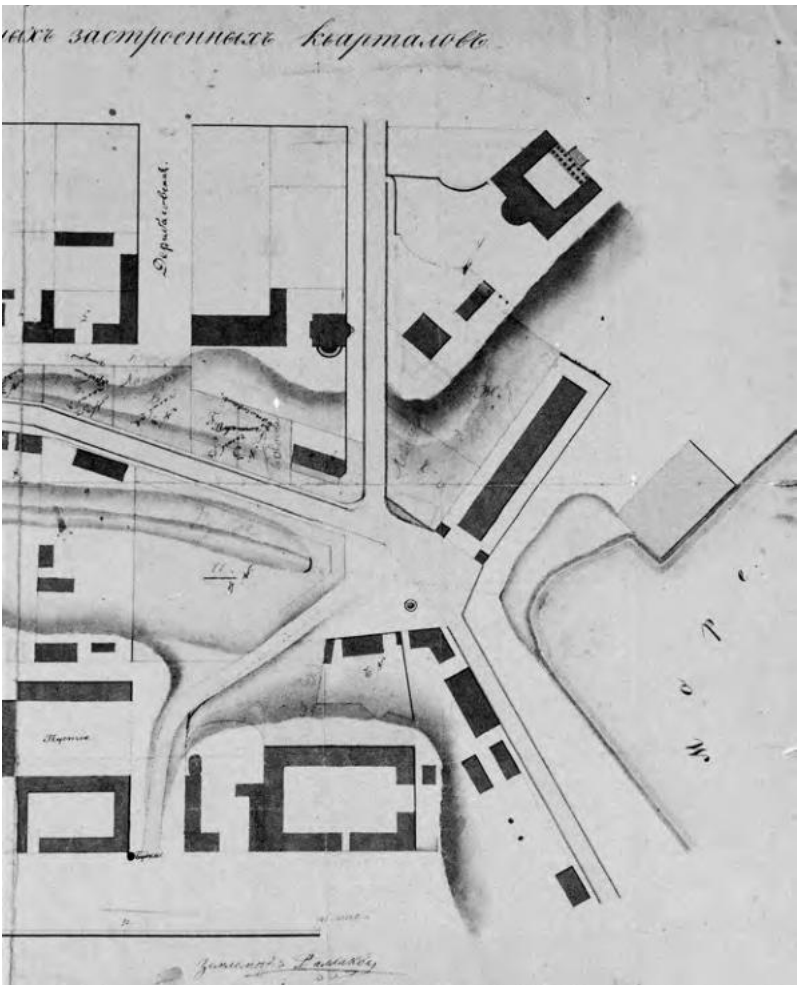


План начала Канатной улицы с указанием мест мест купца Гифорда, 1851 г.

№ 3-4 – общим № 2, а № 3 и 4 присвоены неудобьям на склоне балки.[45] Разумеется, это вносит сумятицу. Впрочем, на сказанном плане Торичелли, как и в составленном на его основе и опубликованном в 1830 году плане города[46], застройка обоих мест, изначально принадлежавших Бларамбергам, по фасаду повторяется, с дополнением пристроек со стороны двора.

На этом плане снова видим, что оба участка Бларамбергов застроены, в том числе по фасаду. На плане окрестностей всей Карантинной балки, составленной соотечественником Торичелли, Гаэтано Даллаква, в 1834 году, похожая ситуация.[47] В 1839-м Даллаква подтверждает эту схему.[48] Иное положение вещей наблюдается на плане того же зодчего 1851 года: значительная часть фасадного строения по Канатной вдоль мест № 3-4 снесена, на месте остается лишь левая часть дома в форме клюшки, выходящей на улицу торцом. Строения на местах № 1-2 изменились незначительно.[49]

В это время все четыре места вдоль Канатной улицы принадлежали уже купцу Иосифу Гифорду (Гифорту), осуществившему их перепланировку. Когда именно он их приобрел? Во-первых, надо бы уточнить, что Штиглиц и Компания владели местами № 3-4 не с 1833 года, как это могло показаться из упомянутого выше архивного дела, а с 1832-го. Так, в газетном объявлении от 17 декабря 1832 года сообщается о реализации кое-каких вещей «в магазине купца Штиглица, бывшем Пеццера, за балкою, над Портовою таможнею».[50] Что до Гифорда, в одной из описей ГАОО упоминается название несохранившегося дела на 29 листах «О причислении в одесское 3-й гильдии купечество Осипа Гифорда», датированное 29 июля 1820 – 27 сентября 1827 года[51]. Летом 1832-го он упоминается как совладелец торгового судна[52], в январе 1841-го уже владеет местами на Карантинной балке, к которым даже получает прибавку из неудобий[53]. И, наконец, в 1845 году Гифорд осуществляет перестройку прежних сооружений, в частности магазина (амбара)[54], что и отражено на плане 1851 года. То есть Штиглиц и К° уступили ему свои места ранее января 1841-го. В оценочной ведомости недвижимости на 1848 год значатся два магазина Гифорда, оцененные в 13.000 рублей (места № 3-4), и дом, оцененный в 4.500 рублей (места № 1-2).[55]



План Карантинной балки, на котором видна застройка начала четной стороны Канатной улицы, 1839 г.

То есть на этой стадии № 3-4 уже подверглись перестройке, а № 1-2 еще нет. Один из магазинов Гифорда, двухэтажный, вынесен на план, составленный архитектором Ф.К. Боффо 16 января 1845 года, здесь же и эскиз фасада.[56] Судя по всему, это перестроен-

ный «большой магазин Штиглица» (см. ниже), находившийся в пятне плановой застройки первичных строений Бларамбергов.

Позднее первый квартал четной стороны Канатной улицы по-прежнему включал два участка (домостроения), № 2 (бывшие места № 1-2) и 4 (бывшие места № 3-4): сперва оба принадлежали Русскому обществу пароходства и торговли (РОПИТ) и Одесской железной дороге и были довольно высоко оценены для соответствующего налогообложения, соответственно 28.000 и 10.000 рублей[57]. При этом мы знаем, что 18 февраля 1863 года небезызвестный директор РОПИТ капитан первого ранга Николай Матвеевич Чихачев подал прошение об утверждении чертежей на постройку этим обществом лавок в 1-й части города, в 1-м квартале, на месте № 4[58], то есть в правой части домостроения № 2. Что касается домостроения № 4, то в 1875-м оно значится как частный дом Языкова; в нем помещалась механическая прачечная[59]. А далее здесь уже три дома, в том числе один РОПИТ[60], то есть, надо полагать, два бывших магазина получают отдельные номера, а старый дом на углу Карантинного спуска серьезно преобразуется.

В издании Одесской краевой комиссии охраны памятников материальной культуры упоминается дом по улице Свердлова, № 4, построенный по проекту Торичелли, составленному в 1834 году, однако никаких ссылок на какие-либо исторические источники не приводится.[61]

Резюмируем изложенное. Совершенно очевидно, что интересующее нас место по Канатной улице, № 2, как и смежные (ныне – № 4 и 6), в пушкинское время принадлежали семейству Бларамберг. Другое дело, в какой мере сохранилась какая-либо из синхронных построек: как мы убедились, достроек, перестроек, перепланировок в разные годы было немало. Во всяком случае, с большой долей уверенности можно говорить о том, что какие-то архаические фрагменты застройки, пусть и незначительные, до нас дошли. Впрочем, при любом сценарии мемориальный знак Бларамбергам и Пушкину здесь не только уместен, но, по моему глубокому убеждению, необходим.

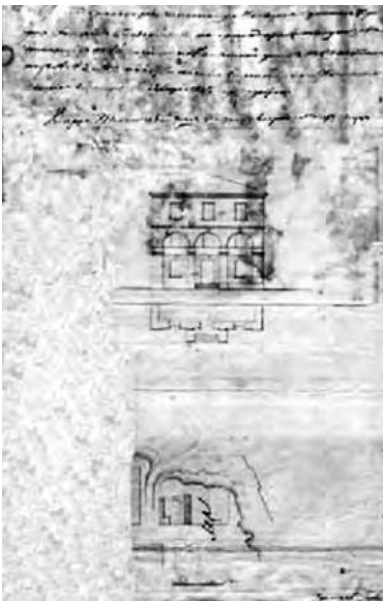
В финале для развлечения читателя подверстываю фрагмент из переписки градоначальника А.И. Лёвшина с генерал-губернатором М.С. Воронцовым, в котором описывается любопытный



Нынешний дом № 2 по ул. Канатной

эпизод из истории домов И.П. Бларамберга и смежных: «9 ноября 1834 года, Одесса. Большая часть писем к вам из Одессы будет упоминать о вчерашнем пожаре. Не могу не донести вам о сем с моей стороны. Пожар начался в доме или флигеле при доме Бларамберга, от которого загорелся и совсем сгорел большой магазин Штиглица с некоторыми товарами, в нем бывшими. Сало все спасено, кож спасли часть; пшеница обгорела, но не совсем пропала. Страшнее всего был жестокий ветер, разносивший искры на далекое пространство и грозивший всей Забалканской части (то есть домам за Карантинной балкой. – **О. Г.**), особенно деревянным полуистлевшим крышам домов Чарторийского и Ферстера (располагались на той же четной стороне улицы, сразу за Карантинным спуском. – **О. Г.**); но, слава Богу, пожар не захватил их. Полиция действовала весьма усердно; арестантская рота Драгутина покрыла себя лаврами неувядаемыми. Пламя прекращено около полудня; но балки и перекладины или мурлаты в сте-

нах тлелись до вечера, и я, проведя на пожаре половину дня, должен был возвратиться туда вечером для окончательного утушения искр, разгоравшихся из обгоревших балок. Полиция провела там всю ночь, сопровождавшуюся ужасною бурею (…). Сегодня с утра более 150 человек занимаются разрытием кож, кои тлеют под толстыми слоями пшеницы».[62]



Фасад магазина одесского купца Иосифа Гифорта по ул. Канатной с ситуационным планом 16 января 1845 г. Архитектор Фр. Боффо

Из этого текста, между прочим, следует, что от «большого магазина Штиглица» остались только стены. Через десятилетие Гифорд устроил тут двухэтажный магазин (см. выше), то есть на первых порах прежнее здание как-то отремонтировали, не перестраивая капитально. Как бы то ни было, а первые этажи нынешнего строения наверняка репрезентуют прежний магазин. И, следовательно, есть реальная вероятность того, что мы имеем на сегодня фрагмент первичного строения на участке Каролины Бларамберг. Что касается «Драгутинской команды», если вам интересно, перейдите к ссылке[63].

Примечания

[1] Одесская старина. – Одесса, 1869, с. 27.

[2] См., например: Пушкин. Статьи и материалы под редакцией М.П. Алексеева. Вып. III. – Одесса, 1926, с. 25-27; Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. – Ленинград: «Наука», 1989, с. 40; Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: 1799-1826. – Ленинград: «Наука», 1991, с. 353, 359; Ростислав Александров. Прогулки по литературной Одессе. – Одесса: «Весть», 1993, с. 77-83; В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье… – Одесса: «Друк», 2001, с. 65-68.

[3] Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 42-49; Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 315, 316, 462.

[4] Валентин Константинов. Загадка старинного особняка. – Одесса: «Офсетик», 2012, с. 32-33.

[5] Там же, с. 35-36.

[6] Там же, с. 36-37.

[7] Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 59, оп. 1, д. 279. – 21 л.; Там же, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 129-130; Одесский вестник, 1829, 23 марта, № 24; Там же, 1831, 23 мая, № 41; Архив князя Воронцова. Кн. XXXIX. – М., 1893, с. 21, 27, 51, 56.

[8] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1752. – 12 л.

[9] Там же, л. 1.

[10] Там же, л. 2-3.

[11] Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 390-391; Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 50-55.

[12] Валентин Константинов. Загадка старинного особняка. – Одесса: «Офсетик», 2012, с. 33.

[13] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1752, л. 4.

[14] Там же, л. 5.

[15] Там же, л. 6.

[16] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III – Одесса, 1853, с. 590.

[17] Одесская старина. – Одесса, 1869, с. 30.

[18] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 75, л. 21.

[19] Там же, л. 22.

[20] Там же, л. 23.

[21] Там же, л. 24.

[22] Там же, л. 26-27.

[23] Там же, л. 381.

[24] Там же, л. 382-384.

[25] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 265, л. 112.

[26] Там же, л. 145.

[27] Там же, л. 387. Бларамберг владел еще и другим, одноэтажным домом (1821 г.), по Херсонской улице, против Городского госпиталя, на углу Рождественской, построенным по проекту Александра Дигби, однако это совершенно посторонний сюжет.

[28] Одесский вестник, 1833, 21 июня, № 48 (в объявлении просьба доставить утерянное по месту жительства).

[29] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 50.

[30] Там же, л. 88.

[31] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 269, л. 145-146.

[32] Oliver Jens Schmitt. Levantiner. – München, 2005, SS. 142, 228, 241, 249, 361. Alfred Shapus. Pendules neuchateloises. Documents nouveaux. – Genève, 1987, p. 54.

[33] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 269, л. 467.

[34] Там же, д. 278, л. 296; Там же, д. 283, л. 113-115.

[35] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 114, л. 4, 7, 9, 13, 254; Там же, д. 145, ч. 1, л. 341-346.

[36] Там же, оп. 2, д. 595, л. 33.

[37] Там же, оп. 1, д. 114, л. 253-254.

[38] Там же, д. 127, л. 222.

[39] Там же, ф. 18, оп. 3, д. 7, л. 64 об.

[40] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 153 об. – 154.

[41] Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 156.

[42] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье… – Одесса: «Друк», 2001, с. 67.

[43] Одесский государственный историко-краеведческий музей (ОГИКМ), инв. № К-600.

[44] Plan de la ville d'Odessa. – 1814.

[45] ОГИКМ, инв. № К-605.

[46] Plan de la ville d'Odessa. – 1830. – Lith. A. Braun à Odessa.

[47] ОГИКМ, инв. № К-464.

[48] Там же, К-466.

[49] Там же, К-473.

[50] Одесский вестник, 1832, 17 декабря, № 101.

[51] ГАОО, ф. 17, оп. 3, д. 708. – 29 л. (утрачено).

[52] Одесский вестник, 1832, 16 июля, № 57.

[53] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 2543. – 63 л.

[54] Там же, оп. 2, д. 749. – 4 л.

[55] Список домам и прочим строениям, состоящим в 1-й части Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м. – б. г, с. 3.

[56] ГАОО, ф. 895, оп. 1, д. 268; Там же, ф. 59, оп. 2, д. 749. – 4 л.

[57] Там же, ф. 274, оп. 1, д. 2, л. 64.

[58] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 1863, л. 48.

[59] К. Висковский. Путеводитель по городу Одессе. – Одесса, 1875, с. 29.

[60] Вся Одесса на 1911 год. Ч. 4. Ст. 186; Вся Одесса на 1914 год. Ч. 4. Ст. 209.

[61] В.І. Селінов. Архітектурні пам'ятники старої Одеси. – Одеса, 1930, с. 23.

[62] Архив князя Воронцова. Кн. XXXIX. – М., 1893, с. 100-101.

[63] Олег Губарь. Энциклопедия забытых одесситов. – Одесса: Optimum, 2011, с. 267-279.

Александра Илларионовна Шувалова

То, что я помню

Одесские фрагменты

Публикуемый ниже текст я обнаружил в конце прошлого века в Риме в архиве ордена барнабитов – один из них, о. Агустин-Мария, в миру был графом Григорием Шуваловым (1804-1859), видным литератором и общественным деятелем, и его монахи-собратья устроили после его смерти целый шуваловский архивный фонд*. В нем наряду с собственными сочинениями бывшего графа нашлось много иной документации, в том числе и эти воспоминания графини Шуваловой, которые, судя по всему, передала барнабитам в Рим другая русская аристократка и жительница Италии, графиня Мария Васильевна Олсуфьева (1907-1988).

В процессе подготовки найденной рукописи к печати выяснилось, что у мемуаристки есть потомки, в первую очередь – ее внучка Александра Шувалова (названная в честь бабушки), современная жительница Парижа, которая, естественно, обладала мемуарами. Ее супруг, известный французский филолог-славист Антуан Нивьер, также подключился к работе над рукописью (пользуясь случаем, приношу этой чете живейшую благодарность), но, как бывает, дело затянулось, и мне показалось интересным в ожидании полной публикации предложить одесским читателям касающиеся их тексты – благо мемуаристка была супругой известного одесского губернатора.

Несколько слов об авторе публикуемого текста.

Графиня Александра (Сандра) Илларионовна Шувалова (Гомель Могилевской губернии, 25.8/7.9.1869 – Issy-les-Moulineaux, Seine 11.7.1959) –

* См. о нем мои публикации: Иеромонах Ордена барнабитов Августин-Мария, в миру граф Григорий Петрович Шувалов // Страницы, № 6, 2001, с. 625-630; Итальянская поэзия графа Г.П. Шувалова // Русско-итальянский архив, под ред. Д. Рицци и А. Шишкина. № 4. Салерно, 2005, с. 294-316.

старшая дочь министра императорского двора графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, семья которого была особо приближенной к царской – в детстве Сандра, ее братья и сестры часто играли с детьми Александра III, о чем мемуаристка подробно пишет в своих записках. В 1890 г. она вышла замуж за гр. П.П. Шувалова, и у супругов родилось 8 детей (4 сына и 4 дочери). После революции графиня эмигрировала из России и обосновалась во Франции, став председательницей Русского общества Красного Креста и деятельно помогая неимущим беженцам из России. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Граф Павел Павлович Шувалов (1859-1905), ее супруг – именно ему преимущественно посвящены отобранные нами фрагменты, – отпрыск одной из блистательных аристократических семей, второй сын графа Павла Андреевича Шувалова и княжны Ольги Эсперовны Белосельской-Белозерской. В 1891 г. он стал адъютантом великого князя Сергея Александровича, а в 1894 году заступил в должность управляющего императорским двором. В 1898-1903 гг. занимал пост одесского градоначальника, в 1903 г. был назначен генералом для особых поручений при МВД. В апреле 1905 года Павел Шувалов был поставлен московским градоначальником вместо убитого 4 февраля великого князя Сергея. 28 июня 1905 г. он был застрелен эсером Петром Куликовским в собственной приемной градоначальника.

Михаил Талалай,
Милан

Мне давно говорят и мои дети, и друзья, чтобы я записала все, что я видела и слышала за свою полную интересных, скажу исторических, впечатлений жизнь. Я долго колебалась, да и сейчас колеблюсь, так как боюсь, что не осилю и впаду в общую ошибку авторов мемуаров – в отсутствие беспристрастности. <…>

Я родилась в 1869 г. в г. Гомеле (имении дяди Паскевича**). Постоянно мои братья и сестры дразнили меня словами: «знаем, кто родился в Гомеле». Должна я была родиться в конце июня,

** Имение Паскевичей располагалось во дворце, построенном Б. Растрелли; см. Морозов В.Ф. Гомельская усадьба Румянцевых-Паскевичей в конце XVIII – первой половине XIX века // Русская усадьба, № 2, с. 101-111. – Здесь и далее прим. Антуана Нивьера.

когда роды и начались, но вдруг оборвались, и лишь искусственно вызванные, вновь начались и благополучно окончились через два месяца. Таким образом, я – одиннадцатимесячный ребенок, и история моего рождения, не называя мою мать, была описана в медицинском журнале, так же, как и мой тиф, когда моя температура дошла до такой высоты, какую обыкновенно человеческий организм не выдерживает. <…>

В 1890 году зимою был поставлен в Эрмитажном театре «Царь Борис» гр. Алексея Толстого. Мои сестры Демидова и Пушкина и я, а также троюродная сестра Долгорукая (Ферзен), М.П. Альбединская (Чихачева)* и С.И. Всеволожская (гр. Граббе)** играли бессловесных боярынь, которые попарно шли впереди Царицы (М.А. Васильчиковой). <…> Докладчиком послов, приносивших поздравления Царю Борису в день его коронации, был Дм. Бор. Нейгардт***. Последним из послов был папский нунций (кн. С.М. Волконский****), затем шли мы (боярыни), и потом Царица. И вот, вместо того чтобы доложить папского нунция, Нейгардт сказал: «Пупций нанский», – и поправившись, – «Нанций пупский». Начался такой гомерический хохот на сцене, за кулисами и в зале, что пришлось приостановить представление и спустить занавес.

* Мария Петровна Альбединская (1863-1928), бывш. фрейлина, дочь Петра Павловича Альбединского (1826-1883), генерал-адъютанта, генерала от кавалерии лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора, и княжн. Александры Сергеевны Долгоруковой, вышла замуж за геолога Федора Платоновича Чихачева (1859 – 6.9.1919, Нижний Новгород).

** София Ивановна Всеволожская (17.9.1869 – 21.4.1952, Аньер, Франция), бывш. фрейлина, дочь Ивана Александровича Всеволожского (1835 – 28.10.1909), обер-гофмейстера двора е. и. в. и директора Эрмитажа, и светл. княжн. Екатерины Дмитриевны Волконской (1846 – 20.12.1898), вышла замуж за гр. Михаила Николаевича Граббе.

*** Дмитрий Борисович Нейгардт (17.6.1861 – 17.5.1942, Париж), тайный советник, сенатор, член Государственного совета, гофмейстер двора е. и. в.

**** Князь Сергей Михайлович Волконский (4.5.1860, Шлосс-Фалл, Эстляндская губ. – 25.10.1937, Сот-Спрингс, США), внук декабриста, театральный деятель и режиссер. С раннего возраста увлекался театром, вместе с братьями и сестрой устраивал домашние представленияв доме Волконских на Гагаринской набережной. В 1890 г. исполнял роль папского нунция Миранды в спектакле «Царь Борис» на сцене придворного театра Эрмитаж, также первая постановка на русской сцене. С 1899 г. директор Императорских театров, эмигрировал в 1921 г. Автор книги воспоминаний (Волконский С.М. Мои воспоминания. – М.: «Искусство», 1992).

В 1904 г. весною я ездила с моим старшим сыном в Одессу, где он сдал переходной экзамен в той гимназии, где он учился, когда мы были в Одессе. Меня там чествовали, так как летом 1903 года мой муж покинул пост одесского градоначальника. Градоначальником тогда был Д.Б. Нейгардт, и вот на парадном обеде, данном им в мою честь, я ему, сидя рядом с ним, сказала после его тоста, когда он сказал, что мы с ним давно знакомы и вместе выступали на сцене Эрмитажного театра, – «я сейчас расскажу про пупция нанского». Он стал меня убеждать этого не делать и не портить его репутации.

Устраивали этот спектакль в[еликий] к[нязь] С[ергей] Алекс[андрович] и в[еликая] кн[ягин]я Елисавета Федоровна: он был великолепен. <…> Последние акты мы не фигурировали и, переодевшись, сидели в зале, и после последнего спектакля я сидела рядом с моим будущим мужем. На следующий день, когда я брала урок музыки, вошла его сестра гр[афиня] Фекла Павл[овна] Стакельберг***** и спросила меня: разрешаю ли я ей просить официально моей руки у моих родителей. И я стала невестою 6 февраля 1890 г.

Свадьба наша была 8-го апреля того же года в нашей домовой церкви, в доме моих родителей на Английской набережной, № 10. Церковь эта была одной из походных церквей императора Александра I, во имя Св. Власия, и была подарена им моей прабабушке кн[ягин]е Бутера. Образа на иконостасе были работы Неффа, того самого, по рисункам которого были сделаны мозаичные образа Исаакиевского собора в Петербурге. На нашей свадьбе был весь Петербург. Церковь наша невелика, и в ней было место лишь для их величеств, нас, венчающихся, моих родителей, отца и мачехи моего мужа, ближайшего родства и шаферов; все остальные приглашенные стояли в так наз. Церковной зале (копии одной из зал дворца в Версале), так что государь, меня ведший в церковь, и я шли по образовавшемуся как бы коридору в толпе

***** Графиня Фекла Павловна Штакельберг, рожденная Шувалова «Теси» (6.4.1861 – 20.2.1939, Лозанна, Швейцария). Дочь графа Павла Андреевича Шувалова (см. сн.) и граф. Ольги Эсперовны, рожденной княжн. Белосельской-Белозерской (29.2.1833 – 21.12.1869). В 1891 г. вышла замуж за графа Густава Эрнестовича Штакельберга (26.8.1853, Вена – 2.3.1917), ген.-лейтенанта, шталмейстера двора е. и. в., убитого во дни февральской революции.

приглашенных. Я, увидев это издали, смутилась и сказала государю: «Собрались поглазеть». Он улыбнулся и сказал: «Они не виноваты – их пригласили». <…>

В мае поехали в рязанские имения моего мужа Меньшие Можары Сапожковского уезда и Нагорное Ряжского уезда. Осенью вернулись опять в Вартемяги С[анкт]-П[етер]бургской губ[ернии] и уезда, и потекла наша мирная семейная жизнь, длившаяся всего 15 лет с небольшим. <…>

Мой муж на 10 лет старше меня и по уму был выдающимся человеком. В 1877 г., будучи пажом, он прошел курс и выдержал экзамены в Артиллерийском училище, и в чине прапорщика попал в августе месяце на фронт в 22 Артиллерийскую арм[ейскую] бригаду. Он был единственный сын моего свекра от первого брака с кн[яжн]ою Ольгой Эсперовной Белосельской-Белозерской*. Два его брата, Андрей и Петр, скончались в раннем детстве и похоронены под церковью в Вартемягах. Родных сестер у него было три: баронесса Елена П[авловна] Мейендорф, у которой было 13 человек детей, гр[афиня] Фекла П[авловна] Стакельберг, бездетная, и баронесса Мария П[авловна] Кнорринг, у которой было 4 детей. В январе 1877 г. мой свекр женился вторично (его первая жена скончалась в декабре 1869 г.), на Марии Александровне Комаровой, от которой у него было трое детей: светлейшая кн[ягин]я София П[авловна] Волконская (8 человек детей); гр[аф] Александр Павлович, женатый сперва на Елене Павл[овне] Демидовой (сын и дочь), с которой он развелся, и женился на графине Софье Павловне Ферзен; граф[иня] Ольга П[авловна] Олсуфьева (5 детей). Трое последних – две полусестры и один полубрат моего мужа, были, когда я вошла в шуваловскую семью, совсем еще детьми, а мои золовки, родные сестры мужа, были все много старше меня, старшая из них на 12 лет. По окончании турецкой войны муж мой перевелся в 5-ю Гвард[ейскую] конн[ую] батарею, где и прослужил

* Граф. Ольга Эсперовна Шувалова, рожденная княжна Белосельская-Белозерская (29.2.1833 – 21.12.1869). Дочь кн. Эспера Александровича Белосельского-Белозерского (8.1.1802 – 27.6.1846), ген.-лейтенанта, ген.-адъютанта е. и. в., и княг. Елены Павловны, рожденной Бибиковой (9.12.1812 – 27.2.1888), гофмейстерины двора императрицы Марии Феодоровны. В 1859 г. вышла замуж за граф. Павла Андреевича Шувалова.

до 1891 г., когда назначен был адъютантом в[еликого] кн[язя] Сергея Александровича, когда он получил назначение московского генерал-губернатора. Мой муж был очень любим всеми солдатами того взвода, которым он командовал: знал их семейные положения и помогал им. В 1889 году цесаревич Николай Александрович провел лагерное время в 1-й Гв[ардейской] конной батарее, которая стояла рядом с 5-й батареей, и как-то в разговоре сказал зятю моему гр[афу] Дм[итрию] Серг[еевичу] Шереметеву, что хотелось бы, чтобы все офицеры так знали своих солдат, как мой муж, и так были любимы ими.

В Москве, куда мы переселились летом 1891 г., мы прожили до весны 1896 г. <…>

Мой муж с 1896 года до начала 1898 года был причислен к м[инистерству] в[нутренних] д[ел], а в самом начале 1898 года был назначен и[сполняющим] д[олжность] одесского градоначальника. И в марте месяце мы поехали туда, сперва без детей, и жили в гостинице. В Одессе был Воронцовский дворец, построенный моим прадедом (со стороны матери), св[етлейшим] кн[язем] Мих[аилом] Сем[еновичем] Воронцовым, который принадлежал тоже брату моей матери, принявшему при наследии майората титул светлейшего князя Воронцова и назывался св[етлейшим] кн[язем] Воронцовым – гр[афом] Шуваловым. По совету моей матери я просила его сдать нам дворец; он не соглашался сдавать, но дал мне пользование им на условиях, что он сделает капитальный ремонт, а я все остальное. Дворец давно был необитаем, рамы сгнили, водопровод попорчен и т. д. Занявшись всем этим, выписавши всю мою обстановку, когда ремонт был окончен и мебель расставлена, я поехала за детьми в Вартемяги и перевезла их в Одессу. Дворец стоит на скале над самым портом с чудным видом на море и набольшим садом, который раньше спускался до самого моря, но часть его была отчуждена для порта. В нашем саду постоянно ночевали босяки, и полиция по нашем переезде разгоняла их, и был установлен постоянный пост. Я просила полицмейстера с согласия моего мужа снять пост, так как верю босякам, и через несколько дней получила по почте благодарственное письмо от босяков, в котором они меня благодарили, и давали мне честное босяцкое слово, что ничего у меня

не пропадет, что я могу оставлять в саду и на террасах все, что я хочу, и не затворять на ночь дверей в дом, так как ничего у меня не будет пропадать. И за все 5 лет, что мы жили в Одессе, ничего никогда у нас не пропало, никаких попыток войти в дом не было, хотя не было никакой охраны, а когда мы покидали Одессу, то получили в простой папке благодарственный адрес от босяков за доброе к ним отношение и выражение грусти о нашем отъезде. К адресу были приложены листы, покрытые многочисленными подписями.

Одесса за время градоначальства моего мужа, по мнению ее знавших, стала «столичным» городом. Муж не брал свое жалование, а организовал страхование полиции: уговорил всех владельцев заводов и фабрик построить больницу, где рабочие лечились даром. Вклады были рассчитаны по количеству рабочих, работающих на заводе. Не помню точно, но, кажется, что на каждых 50 рабочих хозяева должны были уплатить сооружение одной кровати и оплачивание ее содержания; дала сумму денег казна, были частные пожертвования (в том числе и мы), и была выстроена чудная больница, где кроме именных кроватей было целое отделение для общественного пользования; улицы были чистые, дома с №№. Был один еврейский погром: муж ездил сам по городу, усмиряя толпу. Не было дано ни одного выстрела, никто не был ранен, окончился погром быстро и обошелся лишь вспарыванием еврейских пуховиков. Две весны подряд была в Одессе чума, занесенная крысами с пароходов. И дальше Одессы она не пошла благодаря вовремя принятым разумным мерам. Муж за это был произведен в генерал-майоры и утвержден в должности. Помню докторов Бурда и Гамалея, помогавших моему мужу.

В 1901 году была очень суровая зима со снегом. Появились допотопные сани, что как-то не вязалось с одесскою флорою. Под самое Рождество пришли, утром 24 декабря, два молодых человека к моему мужу сказать, что 5 поездов стоят на путях, занесенных снегом, не имея возможности двинуться. Пассажиры сидели без еды, без огня (электричество в вагонах потухло), и большинство без теплой одежды, ведь ехали на юг. В складах Кр[асного] Креста были тюки с теплою одеждою (полушубками, шапками, валенка-

ми, башлыками и рукавицами), которые ждали погрузки на пароход, идущий на Дальний Восток. Тогда была китайская война*, и ее величество государыня императрица Мария Федоровна посылала эти вещи в подарок, не помню какой части, коей она была шефом. Муж был по должности председателем местного отд[ела] Кр[асного] Креста, а я товарищем председателя. Муж пришел ко мне посоветоваться, и я ему сказала, что он прав, что надо вскрыть эти тюки. Это было сделано, и пять, так сказать, обозов, в каждом по врачу и по несколько человек волонтеров, нагруженные теплыми вещами, были снаряжены спасать пассажиров. Каждый, получавший экипировку, подписывал обязательство вернуть вещи через 48 часов его приезда в Одессу. (Кроме 2-х, все вернули.) Все были благополучно доставлены по своим домам. Муж написал и послал рапорт в Главное управление Кр[асного] Кр[еста] в Петербург, сказав, между прочим, что недостающие вещи он возместит, и получил ответ, что он превысил свои полномочия, но что окончательный ответ будет ему дан после доклада его величеству в такой-то день. Мы с нетерпением ждали этого дня. Помню, как открылась дверь кабинета моего мужа и как он с телеграммою в руке шел по зале ко мне с радостным лицом. Телеграмма была личная ея величества, благодарящая его и всех его сотрудников. Через несколько дней, как только железнодорожные пути были очищены, я поехала в Петербург, так как получила телеграмму от отца, что моя мать больна. Приехавши в С[анкт]-П[етер]б[ург], я позвонила великой княгине Ксении Александровне о своем приезде, и она меня позвала завтракать на следующий день. Я зашла к матери перед отходом, и она сказала: «On vient de me téléphoner d'Anichkoff – Sa Majesté viendra me voir aujourd'hui à 3 heures et Elle veut te voir aussi, ainsi ne tarde pas» [«Мне только что звонили из Аничкова дворца – ее высочество приедет ко мне в 3 часа и хочет тоже повидаться с тобой, поэтому не опаздывай»]. Без четверти три я была дома и к ужасу увидела внизу в передней казака императрицы. Так как шел мокрый снег, а я ехала в санях, то я хотела пробраться к себе и привести себя в порядок. Но мне это не удалось. Мать

* Китайская война – агрессивная война Японии против Китая с целью установления контроля над Кореей в 1894-1895 гг.

меня окликнула, узнав мои шаги, и я ответила: «Я сейчас приду, я совсем мокрая». Но это я услышала голос ее величества: «Мне все равно, что ты мокрая, – иди сюда». Я вошла в гостиную моей матери. Императрица шла мне навстречу со словами: «Je veux encore une fois en ta personne remercier ton mari pour ce qu'il a fait! C'est admirable et je te prie de ne pas oublier de lui écrire que je lui suis infiniment reconnaissante» [«Я хочу снова поблагодарить в твоем лице твоего мужа за то, что он сделал. Это поразительно, и я тебя прошу не забыть ему писать о том, что я ему очень признательна»].

Я начала говорить, что мы благодарны ее величеству за ее отношение, но императрица меня перервала и сказала: «Non, c'est moi qui vous remercie tous les deux; et si tout le monde agissait comme ton mari et toi, la Croix Rouge aurait été populaire. Et maintenant, raconte-moi tout en detail» [«Нет, наоборот, я же вас обоих благодарю, да если бы все люди поступали, как ты и твой муж, Красный Крест стал бы очень популярным. А теперь расскажи мне все в подробностях»]. Ее величество села, посадила меня рядом с собою, ставила вопросы и сказала, между прочим, что она приказала дополнить то, что не было возвращено пассажирами. Я в тот же день написала мужу.

Перед отъездом в Одессу я, как полагалось, была принята ее величеством государыней императрицей Марией Федоровной, и она мне сказала, что ежели я наткнусь на случаи, заслуживающие внимания: острой нужды и пр., чтоб я прямо ей об этом написала. Я получила из Москвы письмо Вл. Ф. Джунковского, написавшего мне по приказанию великой кн[ягини] Елизаветы Федоровны о кадете Жоржике Муравьеве, нуждающемся полечиться на одесских лиманах. Я ответила, что займусь им, и Жоржик приехал. Сперва мы его взяли к себе, собрана была консультация. Случай был запущенный: Жоржик ушиб ногу в колене, у него было воспаление и высокая температура. Врачи решили попробовать лечение грязевыми ваннами на Хаджибейском лимане, но лечение не помогло. Опять консультация, которая вынесла решение, что необходимо ампутировать ногу. Родители Жоржика жили в Туркестане; отец его был полковником в одном из тамошних полков. Я написала им; мать приехала и дала согла-

сие на ампутацию. Московский Кадетский корпус принял его обратно, но через год я получила письмо от его отца, что у Жоржика сверх туберкулеза колена обнаружился туберкулез легкого, что врачи настаивают на помещении его в санаторию. Я написала ее величеству. В учреждениях Ведомства императрицы Марии была санатория в Финляндии в Халала; ее величество приказала принять Жоржика на одну из стипендий ее имени. Вскоре я получила опять письмо от отца Жоржика, что врачи в Халиле, куда он ездил навестить сына, дают ему 3 года жизни. Письмо было полно отчаяния, ни о чем он не просил, а лишь болел душою, что сына он больше не увидит и что он никоим образом не может перевестись поближе к сыну. Я была тогда за границей, просить ее величество о переводе полковника Муравьева я не решилась, но оставить без ответа такое письмо я не могла, и я написала моей матери, приложив письмо Муравьева и рассказав в общих чертах всю историю Жоржика. Очень скоро я получила от матери ответ, что императрица велела мне передать, что она займется этим вопросом. Муравьеву я написала лишь сочувственное письмо. Прошло некоторое время, и я получила от него письмо из С[анкт]-П[етер]б[урга], в котором он рассказывает, что вдруг по высочайшему повелению он был прикомандирован к Главному штабу. Когда он являлся военному министру Куропаткину*, тот ему сказал, что его перевод состоялся по личному желанию государыни императрицы Марии Федоровны, и спросил его: откуда ее величество его знает, и сказал, что он должен просить представления ее величеству и благодарить. Он просил, был принят, благодарил, а императрица ему сказала: «Благодарите не меня, а такую-то (назвав меня), я от нее узнала». Жоржик скончался ровно через два года. Началась японская война. С какой-то маленькой станции Сибирской железной дороги я получила письмо от Муравьева, в котором он говорил, что всегда молится за ее величество и за меня, и что если он будет убит, то его последняя молитва будет за нас. Я просила представления у ее

* Алексей Николаевич Куропаткин (17.3.1848, Псковская губерния – 16.1.1925, с. Шешурино, Тверская обл.), генерал от инфантерии, генерал-адъютант е. и. в., военный министр (1898-1904), главнокомандующий всеми русскими войсками на Дальневосточном фронте (1904-1905), с 1906 г. член Государственного совета, туркестанский генерал-губернатор (1916-1917).

величества, она выслушала мои слова и сказала: «Grâce à toi, il y a quelqu'un qui prie pour moi» [«Благодаря тебе хоть кто-то молится за меня»].

В 1903 году весною мы Одессу покинули. Причиною отъезда было следующее. В то время Департамент полиции и вел[икий] кн[язь] Сергей Александрович были за введение на фабриках агентов, которые устраивали бы лекции, спектакли, библиотеки и одновременно следили бы за левыми элементами, которые по их указанию арестовывались. Инициатором был некий Зубатов, служивший в Департаменте полиции, так что это носило название «зубатовщины». Муж получил от министра внутренних дел Плеве сообщение, что очередь за Одессою, и что ему надо ввести это на тамошних заводах и фабриках. Муж, который считал, что эта мера недостойна правительства, был возмущен и поехал в С[анкт]-П[етер]б[ург] и письменно докладывал свое мнение, но министр настаивал, и муж отказался это вводить, и подал в отставку. Ко всему прочему, во главе этой организации была назначена некая Вильбушевич*, которая, по сведениям мужа, была двойною агентшей. Уходя, муж подал докладную записку, в которой подробно высказался и предсказал не позже 6 месяцев бунт рабочих, которые за все 5 лет градоначальства мужа ни разу не бунтовали, так как видели заботу об их благосостоянии и очень уважали мужа. Мы поехали из Одессы к себе в Вартемяги; муж был прикомандирован к министерству внутренних дел. Градоначальником в Одессу был назначен почтенный генерал Арсеньев**.

В конце лета в Одессе произошел бунт рабочих, и я получила телеграмму от министра внутренних дел Плеве, спрашивающего, может ли он приехать завтракать в такой-то день; я, конечно,

* Мария Вульфовна (Владимировна) Вильбушевич, в замужестве Шохат (1879-1961), дочь купца; за принадлежность к бундовским кружкам была арестована; беседы с *Зубатовым* во время допросов произвели на нее огромное впечатление. Находясь под их влиянием, Вильбушевич делается руководительницей образованной в 1901 г. «Еврейской независимой рабочей партии», которая, по мысли Зубатова, должна была служить противовесом «*Бунду*». После распада партии в 1903 г., вместе с падением Зубатова, уехала из России. Поселившись в Палестине, стала одной из видных деятельниц сионизма.

** Д.Г. Арсеньев, генерал-лейтенант, одесский градоначальник с мая по август 1903 г.

ответила утвердительно. Когда я вышла его встречать, он мне сказал, что приехал исключительно для того, чтобы заявить мне, что я должна гордиться своим мужем, что он был прав, и что теперь ему, Плеве, предстоит бороться с теми, кто проводит эту систему.

Провожали нас из Одессы очень сердечно, и жаль было уезжать. Муж любил свою работу, и у меня было много дела по благотворительности. <…>



Евгений Голубовский

Детство

Каким было мое первое воспоминание? Мне это интересно и самому. Ведь что-то я, безусловно, представляю по рассказам близких. Лев Толстой утверждал, что помнит, как сосал материнскую грудь. Поверить трудно. Но как не поверить Льву Толстому?

Мне кажется, мое первое зримое воспоминание связано со стрессом – война, конец июля или начало августа 1941 года. Мне 4 года и 7-8 месяцев. Мы сидим на склоне у железнодорожной насыпи и ждем поезд. Мы – это я с мамой и еще несколько десятков незнакомых людей. Подходит поезд, мы садимся в теплушку и куда-то едем…

Это уже сегодня я знаю, что за день до этой эвакуации в Одессу прибыл офицер из артиллерийского дивизиона, где служил отец, а в нем было более десяти офицеров-одесситов, он объехал все семьи и сообщил, что на следующий день к двум часам нужно быть на станции Одесса-Малая, в поезде освобожден вагон для семей офицеров. На каждого пассажира по одному чемодану.

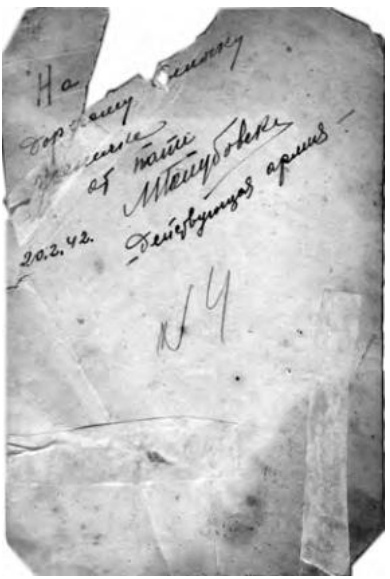
Я сказал – зримый образ. Есть ведь еще и слуховые. Нет, я не помню, какое слово произнес первым. Ни голос мамы, ни голос папы. Но я убежден, что до войны я ежедневно слышал надоедливые звонки. Уже потом, спросив у матери, узнал, что в нашем доме на Тираспольской угол Новосельского помещалась школа. И действительно, каждые 45 минут школьные звонки не давали в детстве ни заснуть днем, ни слушать сказки… До сих пор ночью я иногда просыпаюсь от звона этого колокольчика…

Любопытно, что я не помню ни отца, ни мать молодыми, довоенными. Единственное, что перед глазами – белая борода дедушки

Натана. Я не видел ни одной его фотографии. Если бы мне предложили нарисовать сейчас его лицо, я изобразил бы эллипс вместо головы и бороду – прямую густую белую бороду.

Кстати о фотографиях. Нет у нас в семье ни одной фотографии отца и мамы до войны. Не то что фотографии, даже зимние вещи с собой не взяли. Мама, видно, была уверена, как и многие, что война вот-вот окончится. Первую фотографию отца мы получили уже в начале 1942 года – где-то под Миллерово встретились мой дядя военврач, начальник госпиталя Макс Натанович Шапочников, двоюродный брат, офицер-пехотинец Мося Гольденталь и отец, артиллерист. Трудно представить, но такие чудеса, такие встречи случались на фронте. Иногда в книгах, в «Войне и мире», в «Докторе Живаго» такие эпизоды на фронте кажутся натяжкой. Но случайные пересечения бывали.





Это фото на память было послано всем родным. Именно таким – подтянутым, стройным – я и представлял отца в молодости.

А о маме знаю из разговоров – красивая, со склонностью

к полноте, шатенка с отливом в золото… Но это по рассказам, а белую бороду деда Натана помню.

Вот как немного сохранила память из довоенного детства.

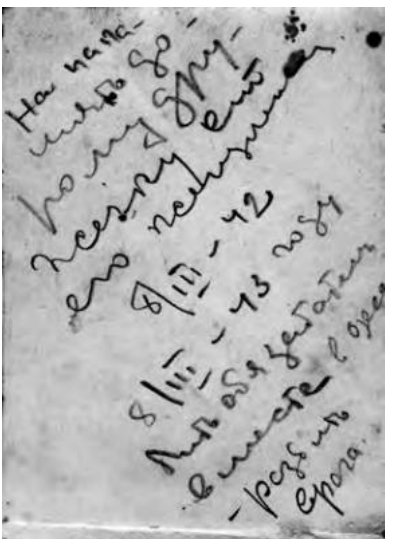
Более того, сейчас я не понимаю, почему с нами в вагон сели близкие приятели семьи – Франя и Мура Новаки, а не мамина сестра, не жена ее брата с дедушкой Натаном. Все эвакуировались самостоятельно. Минна Борисовна Шапочникова, ее родители, сын Юра – мой двоюродный брат, оказались в Астрахани. Там дед и умер. Марию Натановну, а она взяла с собой моего двоюродного брата Сергея, свою сестру Цилю Натановну с мужем эвакуировала еще до нас чаеразвесочная фабрика, где она работала начальником цеха. Они подлежали эвакуации первыми, так как тетя еще в начале войны получила похоронку, вернее, даже справку, что ее муж комиссар Шенделис пропал без вести. Уже после войны от однополчан она узнала, что часть, где служил муж, так стремительно отступала, что оставила в штабе знамя. Это означало неминуемый суд и расстрел для комиссара. И он понял, что единственный выход – вернуться и попытаться знамя вывезти. Сел в машину и поехал назад в деревню, которую они оставили, на берег Днестра. Больше Эммануила Шенделиса никто не видел. Еврей-комиссар в руках у фашистов – его судьба была предрешена.

А вот с нашей поездки в военном поезде начинаются мои реальные воспоминания о войне. Несколько раз на поезд нападали фашистские самолеты. Но на поездных платформах стояла артиллерия, и завязывался бой. И в эти минуты мы должны были выскакивать из вагона и бежать в степь, ждать гудка паровоза. Очень боялся отстать. Но меня подхватывала сильная рука Маргариты Новак, ей было лет 16-18, и вот я вновь в теплушке. Меня смешило название «теплушка», так как было очень жарко. А тут еще и теплушка. Но все это, как оказалось, «комфортное» путешествие закончилось в Днепропетровске.

Военным приказали окопаться и готовиться к обороне города. День или два мы еще были при части, помню авианалет, когда мы с мамой лежали под перевернутой лодкой у Днепра, а на бреющем полете стреляли из пулеметов фашистские летчики. Как видно, военным стало ясно, что долго они не продержатся, и семьи офицеров отправили на поездах в тыл.

Дорогу не помню. По рассказам взрослых знаю, что капризничал, не хотел есть ту скудную пищу, что удавалось купить. Запомнил название городка, куда мы добрались, – Бузулук. Мог бы сейчас в Интернете найти его, что-то про него написать. Но не вижу смысла. Запомнился Бузулук лепешками. Не знаю, из чего их пекли местные жители. Мне они казались очень невкусными. Понимал бы я тогда, что на наш прокорм мама продала на толкучке почти все вещи. Мама не могла найти там работу врачом. А уже была холодная осень, непролазная грязь (это реально помню), и вдруг письмо – наш сосед по даче в Одессе доктор Жолковский возглавил в Ташкенте детскую больницу, и официально пришла бумага с печатями, приглашавшая маму на работу.





И вот то ли в конце 1941, то ли в начале 1942 года мы в Ташкенте.

Запомнил улицу, дом, где мы сняли комнату, – Коммунистическая, 11. Вдоль улицы протекал большой арык. И хоть в Ташкенте мы жили год, в ощущении – сплошное лето. Впервые увидел восточный базар, впервые держал в руках пиалу…

Мама работала с утра и до вечера, и моим воспитанием занималась Маргарита Новак. От нее я услышал первые стихи – и это был не Маршак и Барто, а Симонов и Уткин. Она столько раз мне их читала, что я знал их наизусть, но выступать было не перед кем. Местные ребята понимали по-русски, но говорили с трудом, взрослые все были заняты.

Не проходящее ощущение благодарности, в какой двор ни заходил – тебя угощали: плов, лепешки, чай. И с уважением – «наши эвакуированные».

В восьмидесятых годах, работая в «Вечерке», я побывал в командировке в Ташкенте, Бухаре, Хиве. В Ташкенте нашел «наш» дом. Все изменилось, а может, изменился я. Арык был размером в один шаг, деревья были чахлые. А жители дома были новые, молодые, не помнящие войны. Перед моими глазами была моя подружка, дочь хозяина дома 10-летняя Наргиз, но найти ее я не смог.

Летом 1942 года, когда я играл на улице, увидел незнакомого человека в военном обмундировании, в черных очках, с палочкой медленно шедшего по улице и вглядывавшегося в номера домов. Кстати, они были написаны мелом на длинной глинобитной стене, дома были внутри, и в каждый вел проем-туннель даже без калитки.

И лишь когда он подошел к нашему дому, я бросился к нему. Еще не узнавая, понял, что это мой папа.

Самое время рассказать хоть вкратце о родителях. Конечно, всего этого я тогда не знал и не понимал. Узнавал по крупицам много позже. Писал десятки очерков о самых разных одесситах, работая в газете. А расспросить отца, мать, увы, не удосужился. Об этом горько думать, когда становишься старше своих родителей.

Папа приехал в Одессу в 20-х годах из Брянщины. Его отец Евсей Голубовский был арендатором леса в каком-то большом барском хозяйстве. Уже моя дочь Аня, взяв в руки его автобиографию, не поленилась и нашла городок Новый Ропск, где он родился. Оказывается, там была улица Голубовская, где жили евреи, русские, белорусы, носившие эту фамилию. В 1941 году фашисты уничтожили и местечко, и улицу, и жителей.

Почему отец приехал в Одессу? Здесь уже жил его брат Исаак, окончивший мединститут. Брат решил его воспитывать. «Я все-

го добился сам, теперь твой черед». Знаю, что папа не ожидал такого приема, обиделся, ушел от брата. Помирились они уже после войны.

Отец хотел поступить в политехнический. Пришлось идти чернорабочим. Но мечтал учиться… Поступил на заочный. Стал инженером-гидротехником, уехал работать на Урал, потом принимал участие в проектировании Днепрогэса.

Гораздо позже, после войны, я купил на Староконном 2-3 книги с его печаткой, и в одной из них были расчеты по Днепрогэсу, сделанные инженером М. Голубовским. Значит, при бомбежке погибла не вся отцовская библиотека. После проектирования Днепрогэса папу вызвали в Одессу, и до войны он работал в проектном институте.

Но для меня главное – в Одессе он познакомился с Кларой Шапочниковой. Она стала его женой и моей мамой.

Несколько слов о ее семье Шапочниковых. В многих поколениях они жили в Балте. «Мы балтийцы», – шутил мой дядя Давид, тяжело раненный в ногу при обороне Москвы.

У моего деда Натана была своя современная на тот час, мощная мельница. Бабушка Злата воспитывала пятерых детей – Давида, Макса, Цилю, Марусю и мою маму – Клару. Революция, гражданская война разрушила и эту семью. К счастью, никто не погиб, но мельницу и дом реквизировали. Буквально бегством почти все перебрались в Одессу, где постепенно наладилась их жизнь. Давид уехал в Москву, где женился. В его дом ездили мы все, чтобы знакомиться со столицей.

Макс Натанович Шапочников стал акушером-гинекологом. Шутили, что до войны он «принял» половину Одессы. Хотела и моя мама поступить в мединститут, но дочь кулака не приняли. Проявив упорство, она окончила медучилище с красным дипломом, а затем и мединститут. Ей предлагали остаться в аспирантуре, но она вышла замуж, отец хотел детей… К маме очень хорошо относились ее педагоги-доценты И. Энгельштейн, А. Турнер, Я. Коган… С ними она дружила и после войны. Более того, устраивала консилиумы. Мне кажется, понятие, уже забытое в наши дни.

Очень разными людьми были отец и мать. Папа любил книги, оперу, тишину, мама – дружеские застолья, вечеринки Отец был

замкнутым человеком, мама распахнута для всех. Папа понимал, что происходит в стране, наладил приемник и на коротких волнах слушал зарубежные голоса, больше всего доверяя Би-Би-Си и комментариям Гольдберга. Для мамы весь мир составляли пациенты, друзья, семья. Как анекдот запомнилось, что на политзанятиях мама не смогла ответить на какой-то вопрос и в сердцах сказала: «Да столько работы, что «Голос Америки» не успеваешь послушать». Доктор Диамант начала истерически хохотать. И все это превратили в шутку, в анекдот, родившийся на ходу.

Но при всей разнице характеров, взглядов, интересов они прожили в браке почти полвека и, как мне казалось, не жалели об этом.

Но мысленно вернусь в Ташкент, в 1942 год…

Месяца на два в наш дом вернулась светомаскировка. Взрывной волной отцу обожгло глаза, он не мог находиться при дневном свете. Не мог читать, а для него это было катастрофой. Уже позднее я узнал, что в боях в районе города Миллерово авиабомба упала в двух метрах от «виллиса», где ехали офицеры. Машину зарыло в воронку. Когда солдаты откопали «виллис», оказалось, что водитель от удара погиб, а три офицера были без сознания от тяжелейшей контузии. Госпитали. Инвалидность. Для моего отца, призванного в начале 1941 года на переподготовку на шесть месяцев, война продолжалась два года. Но сумасшедшие головные боли преследовали его до конца сороковых.

Работа педиатром маму не удовлетворяла. Она не знала детские болезни Средней Азии и искала место терапевта. И тут несказанно повезло. Формировался эвакогоспиталь, возглавил его военврач-одессит и команду он набирал «одесскую». И вот еще одно реальное воспоминание: помню, как был поражен, когда однажды вечером мама пришла в костюме военврача, погоны еще не носили, но по нашивкам мы уже разбирались – старший лейтенант. Когда госпиталь был сформирован, его отправили ближе к фронту – в Сочи. Весь 1943 и половину 1944 года мы провели в этом городе. Мне кажется, я и сейчас ощущаю пряный запах белой магнолии, росшей под нашим окном.

А война действительно была близко, немцы дошли чуть ли не до Гагр. Ежедневно в бывший санаторий «Кавказская Ривьера»

привозили машины раненых. Мы, дети врачей, жили тут же, медикам выделили один из корпусов. Отец, несмотря на инвалидность, устроился на работу, возглавлял группу ремонтных рабочих в госпитале, так как все время нужно было подавать электроэнергию, воду, тепло.

Вот этот период – мне семь лет – реально перед глазами. Я уже умею читать и даже писать. Меня попросили писать письма раненых домой, но тут выяснилось, что у меня такой отвратительный неразборчивый почерк, что письма выглядели бы издевательством. Помню, я очень переживал, что не могу помочь, но, увы, почерк остался «самодеятельным» на всю жизнь.

Конечно же, поразили деревья, цветы, я не знал слово «субтропики», но после знойного сухого Ташкента природа в Сочи, особенно в санатории, казалась чудом. В санатории была еще довоенная библиотека. И новые книги, которые я читал, – «Хижина дяди Тома», «Робинзон Крузо», чеховская «Каштанка», заставляли



Выпускной четвертый класс. Я правее учительницы, имя, отчество и фамилию которой никак не могу вспомнить. Может, читатели помогут?

плакать, смеяться, может быть, даже сыграли дурную шутку. Мне кажется, что в детстве и юности мне читать было интереснее, чем жить. Лишь сейчас я понял, что это перегиб, перекос, что это неправильно. Но у меня это было так, лет до 18-20-ти.

И еще не запомнил я в Одессе моря, хоть жили мы до войны на 10-й станции Большого Фонтана. Знаю по рассказам мамы, что однажды, увидев паяльщика и услышав его «Паяю, починяю», я удивленно спросил взрослых: «Что, паяльщик может море запаять?».

А вот в Сочи я насладился морем. Правда, привыкнув к воде 24°, я потом обычную для Одессы 18-19° воспринимал как ужасно холодную.

В детстве у меня не было игрушек. Но были удивительные плоские сочинские камни. Мы собирали их, хвастались ими друг перед другом. А иногда находили осколки снарядов – это уже было «высшим пилотажем» в наших коллекциях.

Запомнился день 10 апреля 1944 года. Мне кажется, Сочи не видел такого самодеятельного салюта за все предыдущие годы войны. Военврачи-одесситы, раненые танцевали, пили грузинские вина (Грузия под боком). Мне кажется, именно тогда я попробовал первый бокал шампанского.

Отец, который до войны вообще не пил, оскоромился в июне 1941 года, а меня, потом мою сестру приучал понемногу пить дома. «Не нужно, чтобы эта учеба пришла с улицы».

В конце апреля – начале мая 1944 года отец получил командировку в Одессу. Он должен был подобрать санаторий, где осядет госпиталь, и выяснить, остались ли целы квартиры врачей-офицеров. Насколько я понимаю, с задачей он справился хорошо – госпиталь в августе занял Лермонтовский санаторий, все врачи были обеспечены квартирами. Наш дом на углу Тираспольской и Новосельского был разрушен. Отец взял в горисполкоме ордер в доме на расстоянии двух кварталов – на Кузнечной, 29. Это была «отдельная», как говорили тогда, квартира, одна большая комната в 46 м^2 и кухня. Когда мама потом пытала отца, почему не две-три маленькие комнаты, отец убежденно отвечал: чтоб не «уплотнили». Навсегда вошло в него это советское – уплотнить. И он был убежден, что сделал правильный выбор. Высота

комнаты более 4,5 метров! Что ж, пришлось жить всем в одной большой комнате, но у каждого был свой угол.

Не понимаю почему, но первое морское путешествие не запомнилось. Сели на какой-то транспорт в Сочи, лучшие каюты – раненым, мы где-то внизу. А через три дня – в Одессе. Встречал нас отец, встречали офицеры из округа. Развезли на бричках – вот это запомнилось – по домам.

Мне было 8 лет. Идти в первый класс переростком стыдно. И отец принимает волевое решение. Этот учебный год я буду заниматься с ним, а в сентябре 1945 года пойду сразу в третий класс. Трудно мне сейчас сказать, насколько это было верным. Почерк мне никто не исправил. Но книг я прочел много. Тем более что буквально с конца 1944 года, устроившись на работу главным инженером толевого завода, отец стал комплектовать библиотеку. Познакомился с каким-то «холодным букинистом», и тот нам приносил собрания сочинений классиков в дореволюционных изданиях, и отец сам еженедельно покупал новинки, особенно приключенческого жанра – от Джека Лондона до Дюма… Так что первый год в Одессе мне было не скучно.

Подумал, что очень скороговоркой написал я о книгах, которые собирал отец. А ведь это были сытинские тома Льва Толстого – три тома «Войны и мира», «Анна Каренина», «Детство. Отрочество. Юность», это был 9-томный Н.В. Гоголь, изданный В. Каллашем перед революцией, это был 6-томный академический А. Пушкин, изданный в 1936-37 годах к столетию гибели поэта. А рядом 6 томов «Великой реформы», изданной в 1911 году, к 50-летию отмены рабства в России, «Детская энциклопедия»… А Джек Лондон был полный в издании «ЗиФ», отец сам переплетал тоненькие книги в отдельные романы, Вальтер Скотт был в издании Сойкина… Даже забытый нынче Писемский написал 24 тома…

Разлетелись, разбежались эти книги. Сейчас из них лишь дореволюционная «Детская энциклопедия» у моих дочки и внучки. Я собирал затем уже свою, совсем иначе построенную библиотеку. Но воспитала меня библиотека отца…

Май 1945 года – это Победа. И вновь всю ночь грохотала наша тихая Кузнечная улица. Дворник на всякий случай запер ворота. Жильцы дома вышли во двор, вынесли какую-то снедь. Кстати,

эта традиция жила в доме до середины 50-х годов, и фрукты с деревьев разносили по квартирам – всем по чуть-чуть…

Это был мой последний безмятежный год. Нет, конечно, и весна, и лето 1946 года были моими. И лишь 1 сентября 1946 года я переступил порог 107 школы, поступив в третий класс. С ужасом посмотрела моя первая учительница на мои каракули. Но поговорила со мной, как видно, осталась довольна общими познаниями и с улыбкой сказала: «Вот мой адрес на Дегтярной, будешь заходить, я буду давать тебе дополнительные задания на неделю». Признаюсь, я испугался. Но все окончилось превосходно. Когда я зашел к ней, она подвела меня к книжному шкафу и достала томик Александра Грина «Бегущая по волнам» и «Алые паруса» (тогда эти книги не выдавались в библиотеках): «Прочти и перескажешь соученикам на уроке на следующей неделе». Мне до сих пор стыдно, что я не могу вспомнить имя, отчество и фамилию этой преподавательницы, учившей когда-то гимназистов, а затем отдававшей нам вое время и свое сердце. У нее я прозанимался третий и четвертый класс, так называемую начальную школу.

Впрочем, с приходом в школу детство кончилось. Если следовать дроблению возраста за Львом Толстым, начиналось отрочество со своими радостями, горестями, влюбленностями, с противопоставлением себя родителям, с поиском друзей, с пониманием, что мир огромен, с желанием узнать свой город, посетить Москву, Ленинград – тогда не приходило в голову, что нужно Париж или Лондон, Рим или Вену, не говорю уже о Нью-Йорке. Но весь мир тогда открывался в коллекциях марок (Тува, Испания, Принцевы острова), а город звал обойти его ногами, от Молдаванки до Дачи Ковалевского…

Но это уже было в отрочестве, когда я попрощался с детством.

Лилия Ишуткина

Сокровенные заметки об Одессе и обо мне

Светлане Барде – с нежностью!

Часть I

1.
О родной земле под ногами и о небесах над нею

…Один из парадоксов моего существования состоит в том, что, неся в собственной голове четкую систему профессиональных знаний со множеством дат, имен и фактов, я никогда (никогда!) не умела ориентироваться в окружающем меня реальном пространстве. Прямо беда какая-то!

Я не могла (и не могу!) без записей и помощи посторонних найти нужную улицу и нужный дом. Но и обнаружив, так сказать, топографическое и топонимическое искомое, я уже в утробе найденного дома тупо вторгаюсь в не предназначенные для чужого взора помещения, пока, отловленная смущенными хозяевами, не усядусь наконец в каком-нибудь углу.

Тем не менее, что тоже парадоксально, мне удавалось – без заметных потерь в здоровье и в имуществе! – возвращаться домой из чужих стран, городов и жилищ.

Более того! Лично осмотрев предварительно до семисот (!) квартир, я шесть раз в течение пятнадцати лет меняла адреса в Одессе, переезжая то туда, то сюда с грудой книг, баулов, «мёблей», с нетрудоспособными по малолетству или по старости членами семейства: ничего и никого не потеряла! Загадка для настоящих краеведов, не правда ли?!

С небом над головой у меня, наоборот, сложились прекрасные отношения. Разумеется, мысленные! Хотя мне и приходилось, конечно, многократно летать на самом деле. В мыслях же я абсолютно свободно перемещаюсь среди светил, облаков, птиц и самолетов, не замечая присутствия НЛО и отсутствия людей. Думается, эта странность явилась, прежде всего, некоей медитативной репетицией моего туда с земли естественного ухода.

Правда, был в этом моем активном небосозерцании и эстетический момент: игра писательского воображения из-за красоты мироздания.

Имелась и религиозная составляющая, сокровенная для меня, а потому не обсуждаемая.

Но я твердо знаю, что впервые осознанно я засмотрелась на небо еще до своего писательства: от отчаяния, вызванного тяготами моей тогдашней преподавательской деятельности.

Дело в том, что к весне я смертельно уставала от многомесячного, многодневного, многочасового говорения на лекциях, своих и чужих. Тогда во избежание нервного срыва я бросалась бродить куда глаза глядели…

И вот однажды ранней весной я добралась таким пешим манером до самых Дальних Мельниц. Будучи обитательницей старого центра города, я запуталась в нескольких местных Степных улицах и остановилась, дабы оглядеться: невероятная воздушная свежесть, тишина и безлюдье! А вверху, в очень холодной небесной синеве, таял, на глазах исчезая, прелестно-хрупкий след мелькнувшего самолета. И наступивший тогда миг душевного отдохновения запомнился мне на всю жизнь…

Много лет спустя само небо чуть не стало объектом моего филологического исследования. Влюбившись в греческую античность и обнаружив ее в истории родного города, я задумала сделать книгу о греческих созвездиях в одесском небе и их мифологических наименованиях. Испросив согласия соответствующих лиц и получив его, я отправилась вечером в Одесскую обсерваторию, где один из ее научных сотрудников дал мне прослушать «голос космоса» – запись космических шумов, и показал в телескопах россыпи бесчисленных звезд в черном небе… Я ушла потрясенная.

Тогда же, переделав свои вечерние земные дела, я попросила домашних оставить меня в спокойном ночном одиночестве: мне хотелось образно представить себе бесконечность-вечность пространства-времени. И – я начала сходить с ума! Я услышала, как в непосильности скрипнул мой бедный филологический мозг, устроенный, очевидно, совсем иначе, нежели мозг астронома-ученого…

Книгу о звездах я писать не осмелилась. Но смотреться в небо не перестала. Я люблю небеса над Одессой: ночные, дневные, в грозу и в тихой их бездонности. А еще я люблю лицезреть (иначе не скажешь!) пути облаков в небе – из качалки на своем балконе! Об этом я написала так:

Плывут облака куда-то,
Плывут они низко-низко!
Без всяких на то мандатов
И без особого риска.
А я, как поэты земные,
Гляжу на них в духе ретро
И им говорю: «Родные!
Плывите по воле ветра!»
Сама остаюсь в качалке –
Без облачной легкой силы.
И думаю: «Ах, как жалко!
Зачем родилась бескрылой?!»

2.
О море у родных берегов и о спусках к нему

Самый знаменитый из спусков к Черному морю – это, конечно, Потемкинская лестница в Одессе.

В первый год после Войны, когда старый лестничный фуникулер еще не починили, а до нового нужно было прожить чуть ли не с полсотни лет, мы с отцом ежемесячно пешком поднимались и спускались по гигантской лестнице из чисто пищеварительных причин: мы шли получать отцовский паек на подлодку, где он,

военный моряк, продолжал служить и в мирное время. Вскоре отец возглавил судоремонтные военные мастерские в порту, где такие подлодки чинились. Но прежней кормилице не изменил, и в положенные дни, прихватив меня, он шел за причитавшимися ему крупой, горохом и консервами, что помогло нам с матерью выжить в голодные послевоенные годы.

Обычно я с радостью увязывалась за отцом, надеясь, что, как всегда, подлодочный кок угостит меня флотским борщом, о котором я и теперь думаю, что это самая вкусная еда на свете.

То, о чем мне давно и мучительно хотелось рассказать, чтобы наконец успокоиться, случилось как раз у Потемкинской лестницы теплым осенним днем 1945-го года.

Одесса тогда еще не обустроилась после Войны; на Приморском бульваре, называемом по-старому бульваром Фельдмана, лежали не убранными мешки с песком, защищавшие памятник Пушкину; машины по городу разъезжали только военные и для военных; одесситы же пользовались в исключительных случаях пролетками с грустными тощими лошадками в них и не унывающими вопреки всему извозчиками на козлах.

Обычно днем бульвар пустовал. Лишь к вечеру его главную, над обрывом, аллею заполняли матросы и их знакомые девушки.

И вот однажды в предзакатную пору солнечного дня мы шли по безлюдному бульвару к лестничному спуску – мимо Дюка и мимо площадки слева от него, где, как увиделось нам, у самого ее края, облокотившись на ветхие перила, стоял в одиночестве пожилой грузный человек в штатском. Он вглядывался в морскую даль, очевидно, прислушиваясь к рабочему гулу порта и дивясь неухоженному парку, затаившемуся глубоко внизу.

Не в таких словах, разумеется, но верно по сути думалось и чувствовалось мне тогда, ибо с малолетства я была сверх меры любопытной к миру и к его людям.

В итоге я хорошо разглядела этого человека и, повернувшись на ходу к нему, продолжала смотреть, когда он вдруг, резко наклонившись, проломил собой ненадежные перила ограды и рухнул вниз, оборотив к нам большое белое лицо с безумными глазами. Я доселе слышу чудовищный шмяк его тела о землю…

Потом, помню, отец нес меня, десятилетнюю, на руках по лестнице и до самого судна. Я не могла идти, говорить и есть.

Обратно, к дому Вагнера на Екатерининской, где мы тогда жили, отец снова нес меня, обезноженную, по Потемкинской лестнице, до самого ее верха. Тяжело поднявшись, мы сели передохнуть на ступени Дюкова постамента. И надо же было такому случиться, чтобы прямо к нам подлетела и рядом остановилась пролетка с растрепанной женщиной. Та, спрыгнув, бросилась стрелой к проему в покореженной ограде проклятой площадки, а добежав и глянув вниз на неподвижное тело родного человека, рванулась к нему, тут же подхваченная ожидавшими этого людьми…

Во всю потом длящуюся жизнь я так и не научилась без судороги смотреть, стоять и идти на и по Потемкинской лестнице, ни в чем, кстати сказать, не повинной. Возможно, теперь, обо всем рассказав, я приму, наконец, ее снова в сердце свое.

А в те далекие дни отец лечил меня по-своему: морем! Я приходила к нему в порт на Австрийский пляж, и летним днем, после работы, он уплывал со мной на шлюпке далеко от берегов. Там, в спокойном море и с ощущением покоя от близости отца, я плавала, сколько хотела, – в прозрачной толще воды, над стайками рыб и над нарядными морскими звездами, так украшавшими собой чистое песчаное дно…

А теперь совсем о другом!

Когда я только-только должна была родиться, но еще не родилась, моя будущая бабушка пошла гадать обо мне по фотографии дочери, моей будущей матушки.

Предсказание по фото должна была сделать самая знаменитая гадалка Чубаевки (так много лет назад называлось городское предместье в районе 1-й станции тогдашней Люстдорфской дороги в Одессе).

Глянув на фотографию, ворожея изрекла, что родится девочка (подтвердилось), что она будет хорошо говорить (под вопросом) и что она умрет от воды (поживем – увидим).

Фоторезюме пророчицы мне постоянно цитировали в воспитательных целях:

– Как ты ведешь себя? Ты же девочка!

– Больше рассказывай о прочитанном! Ты идешь на филфак!

– Не плавай до безумия – утонешь!

Я все приняла к сведению и вырастила из себя какую-никакую женщину; стала каким-никаким преподавателем-лектором; правда, два раза тонула, но все же упрямо выбиралась на берег.

Относительно последней части предсказания интересно высказалась моя приятельница-врагиня, всю жизнь прожившая невдалеке от меня и всегда меня с собою сопоставлявшая в свою пользу. Однажды, как бы примеряя, какой вид смерти мне был бы более к лицу, она задумчиво сказала: «От воды умереть – это не всегда утонуть. Можно и отравиться!».

После этого я освободилась от власти любых гаданий и на все махнула рукой: чему быть, того не миновать! Нельзя сказать, чтобы я очень уж гусарила в жизни. Но волею судьбы попав в сложную, а иногда и опасную ситуацию, я не трусила, а пыталась найти достойный из нее выход.

К моменту моего супружества и рождения дочери мы жили уже не в историческом доме Вагнера, а в другом, не менее историческом, но иначе. В него, в первый в Одессе, в Войну попала бомба, и отец, получая ордер, решил, исходя из теории вероятности, что в случае рецидива войны мы в таком доме и теоретически, и практически обязаны были выжить: бомбы дважды в одно и то же место не падают!

Этот высокий для старой Одессы дом позволял нам видеть с крыши праздничное возвращение китобоев в одесскую гавань. И в этот дом почти упирался Военный спуск, носивший тогда имя Жанны Лябурб. Это было удобно, так как позволяло мужу, торговому моряку, быстро добираться до своего судна, которое, как и другие суда, часто швартовалось вблизи скромного старенького морвокзала. Но случалось, что капитаны бросали якоря в море у берегов, на рейде. Тогда жен и детишек к их мужьям и отцам доставляли юркие катера… Мне долго нравились эти встречи и расставания; горечь и усталость от них пришли много позже.

У каждого из нас свое ощущение моря. Одни умеют рассказать об этом ощущении, и рождаются прекрасные произведения маринистов: поэтов, прозаиков, художников, музыкантов, мастеров

кино и фотографии, артистов разных театральных жанров. Другие же несут чувство-мысль о море в себе, молчат, не умеют или не желают душевно самообнажаться. Ну, а я четко запоминаю самые первые, новые для себя миги общения с чем-то или с кем-то вообще. Я всегда их помню. Я их коплю. Я подспудно по нарастающей всегда хочу рассказать о них другим – в частной беседе, в лекции, в книге.

Например, я твердо помню, что ночное небо над Одессой и ее берег в ночи живут во мне с момента, когда я загляделась на них с верхней палубы стоявшего на рейде судна мужа. Было это много-много лет назад. Тогда у команды случилась серьезная авария в машине, и все механики трудились там в поте лица. А не-механики и гражданские лица спали по своим каютам.

Я вся иззудилась от бессонницы и, спасаясь от нее, вскарабкалась на самый возможный на судне верх, чтобы оттуда смотреть на ночной мир вокруг. И я его увидела, насколько позволили это сделать луна, звезды и береговые огни…

А потом по лунной дорожке прямо ко мне заскользил по морю огромный парусник – знаменитый бриг «Товарищ». Никаких ассоциаций с солнечными «Алыми парусами» Грина! Это был реальный, в молчании и в парусах плывущий к берегу, мимо меня, корабль. А на верхушке самой высокой из его мачт прилепилось крохотное настоящее облачко.

Мне безумно захотелось тут же кому-то рассказать обо всем этом. Однако, на беду мою, близкие на судне люди трудились или спали! Но был еще отец, который все и всегда понимал во мне! Оставив записку мужу о своем возвращении на берег и прихватив привезенный им в подарок отцу французский коньяк, я бросилась к вахтенному у полуспущенного судового трапа, услышав шум подошедшего катера. Мне удалось удачно спрыгнуть с траповой последней ступеньки прямо в руки матросу дежурного суденышка, и уже глубокой ночью я вышла из пустого здания морского вокзала к Военному спуску, тоже безлюдному. Я шла к своему дому по средней части пустынной улицы, зная, что за аркой Сабанеева моста мне останется пройти более короткую и безопасную часть пути. Но пугал проход под самой аркой моста, так как по обеим

ее внутренним сторонам тулились к стенам какие-то мрачные даже днем ветхие строения то ли городских сортиров, то ли убежищ для бродяг.

И вот когда я, тот еще храбрец, приблизилась к опасному переходу, от противоположных его стен отделились и застыли в молчании человечьи фигуры. Не сбавляя шага, не останавливаясь, я, поравнявшись с ними, выставила прямо за собой, на мостовую, бутылку знаменитого коньяка и, любезно обронив «Это вам!», прошла под аркой Сабанеева моста к хорошо освещенной дороге домой…

– Где ты был, когда тебя там не было? – нефилологично обрушилась я на открывшего мне и сонно-потрясенного моим бешеным звонком в дверь отца.

– Я, кажется, спал, дорогая! Все на даче. А что, нужно кого-нибудь стукнуть?

О, мой друг-отец, мой верный страж!

3.
О триединой Одессе и об отце, который вдруг стал мне сыном

Всего несколько слов в заключение. Одесса для меня существует, и это понятно теперь, в триединстве ее земли, ее моря и ее неба. Потом возникает конкретика: ее улицы и ее дома. А затем приходит психология: появляются люди, обаятельные или мерзкие, но всегда по-одесски родные.

Мой отец был земным человеком, связанным профессией с морем и рано умершим, уйдя на небеса. Наверное, поэтому я упорно думала о нем во все время работы над этим рассказом. Он очень любил Одессу и меня в ней.

Уже долгие годы я живу без него, но с памятью о нем. И вот, закончив вспоминать, я сравнила возраст сегодняшней себя с его возрастом в момент его смерти и вдруг поняла: я стала настолько старше его, что уже могу быть ему матерью! Я несказанно удивилась этому. И заплакала…

Часть II

1.
О бирже на Александровском проспекте

Возможно, правы те, кто находит сравнение мысленных ассоциаций с зарницами памяти слащавым и витиеватым. Пусть! Зато оно верно по сути. Бывает, что слово, произнесенное или записанное, вдруг, подобно огниву, высекавшему пламя, рождает мгновенную вспышку сознания, эту зарницу памяти, этот отблеск воспоминания, казалось, угаснувшего навсегда, – и былое возвращается к нам!

Так случилось со словом «обмен» из абзаца первого листка этих заметок. Оно прямо-таки взбудоражило мою ассоциативную память, и та без всяких усилий с моей стороны вернула меня в мир моих давних обменных мытарств.

Некогда обмен жилья в Одессе считался очень не простой операцией. Для любого горожанина обмен начинался с прихода в единственное тогда на весь город Бюро по обмену жилплощади, которое располагалось в нижнем этаже жилого хрущевского пятиэтажного дома, что стоял и поныне стоит на одном из углов плохо цивилизованной в ту пору улицы Фрунзе (Балковской).

Инспекторы бюро, одуревшие от наплыва одесситов, желавших мигрировать по Одессе, за грошовую плату выдавали клиентам несколько грязных пухлых замызганных тетрадок, куда вписывались (не всегда точно!) быстро терявшие свою актуальность адреса обменщиков. Любопытно отметить, что никто из них не хотел первых и последних этажей, коммуналок, квартир без телефона и поселков (Черемушки, Таировский массив, Котовские выселки). Проживая подчас именно в таких печальных исходных обстоятельствах, народ потому и стремился к их радостной, через обмен, перемене. Обмен порою оказывался многоступенчатым, с большим числом участников и порядком запутанным. Тогда в нем явно чуялся запах чьей-то кому-то доплаты, официально именуемой спекуляцией и законом караемой, но все равно победно утвердившейся в обменном подтексте и в его реалиях…

Разочаровавшись в бюро и презрев его, народ валом валил на проспект Мира, ныне Александровский, где ежедневно и до ночи шумела, толклась и процветала нелегальная стихийная квартирная биржа. О ней, конечно, знали в городском управлении милиции, расположенном в двух кварталах от биржи, но относились к ней терпимо, будучи хорошо осведомленными о ее людях, их делах и их замыслах. Такова «се ля ви» в Одессе!

На биржу сходились и приезжали из разных мест: за адресами обменщиков, одесскими и иногородними; за партнерством, личным и заочным; за осмотром жилого фонда; за советами и посредничеством подпольных одесских маклеров и маклерш, среди которых имелись свои некоронованные короли и королевы.

По большому блату меня познакомили с некоторыми из них, и после короткой, но вполне профессионально проведенной проверки «на вшивость» я была принята в этот абсолютно чуждый мне мир ловких и часто опасных людей…

Все это, тем не менее, было нужно, так как к тому времени мое семейство разрослось, и ему требовалось уже более просторное, чем имелось, обиталище. Семейный совет определил меня в ходоки по обменной части, интересно пояснив свое решение. Оказывается, мне были присущи главные для грядущего общесемейного дела качества: быстроногость, авантюризм, неуемный интерес к новым людям, дар общения с ними и оптимизм.

Памятуя о моей дурацкой склонности блуждать в трех соснах, матушка купила карту Одессы, где я ежедневно отчеркивала район предполагаемого после лекций осмотра квартир, чтобы, если я, не дай Бог, не вернусь, знать, где меня искать…

Скажу сразу! Я оправдала надежды близких. Осмотрев за полгода свыше двухсот квартир, я умудрялась каждый раз живой (иногда, правда, полуживой!) возвращаться в родные пенаты, обменяв их, в конце концов, на огромную старую квартиру в старом же доме и в привилегированном старом районе города. Брависсимо мне! Однако для описания реставрации этого разрушенного жилища, то бишь его многолетнего ремонта, требуются, конечно, не прозаические строки нынешних заметок, а эпос и гекзаметры.

Я до сих пор веселюсь, вспоминая финал своих обменных деяний, в которых приняло участие девять семейств. Без меня

с торбой их документов никто не ведал, куда и к кому идет. Для наглядности и успокоения нервных коллег по обмену мой муж, еще до переселения народов успевший получить два высших технических образования, начертил, нет, начертал на листе ватмана «Древо обмена» с цветными стрелками-указателями. Они впечатлили не только всех меняльщиков, но и зампреда райисполкома, утверждавшего нашу многолюдную сделку. Он тут же предложил мне возглавить квартирную группу в его ведомстве, но я, застеснявшись, отказалась…

Мне думается, я выдержала это хождение по городским зябям и хлябям не только потому, что это действительно нужно было мне и близким людям, но и потому, что все это оказалось невероятно интересным. Ведь я не только осматривала комнаты и удобства! В силу обстоятельств я встретилась с огромным количеством разных и по-разному мне любопытных людей. При этом я выслушала такое же число их жизненных историй, которые, разумеется, и провоцировали эти обмены. В течение долгих лет, читая лекции об искусстве или готовясь к ним, я невольно, ассоциативно, вспоминала, дабы воссоздать тот или иной художественный образ, лица, манеру речи, пластику реальных людей, встреченных мною когда-то в обменном городском пространстве. Признаюсь, еще многое хранится в закромах моей памяти. Об одном из самых странных тогдашних «обменных» впечатлений мне хотелось бы рассказать…

2.
О даме в старинном кресле

Всего за десятку я купила у маклера адрес дома на Греческой улице с нужной, на мой взгляд, квартирой. Спрятав купюру, мэтр биржи изрек, как припечатал: «Нехорошая квартира!». Он сказал это совсем по-булгаковски, хоть и не ведая того.

Оказалось, каждый жилец упомянутой квартиры, громадной и запущенной коммуналки, мечтал обменять свою плохую комнату на чужую хорошую, при этом отдельную и без доплаты. Естественно, при таком раскладе расселить всех так, чтобы каждого

утешить, а квартиру целиком передать в одни хозяйские руки, было практически невозможно. Потому любые старания маклера и клиента неизбежно оканчивались полным провалом. И так – все последние годы!

«Нехорошая квартира!» – повторил, качая головой, мой старший коллега по обмену. На том и расстались…

И все же я решилась на квартирные смотрины потому, что «провальный» дом гнездился на Греческой улице, а она занимала особое место в моей биографии. Шли годы, а я все никак не могла выкроить время, чтобы добраться до нее, неторопливо по ней пройтись, вглядеться в дома по обеим ее сторонам, обрадоваться знакомцам среди них и вспомнить тех, кто жил здесь когда-то.

Это было моим давним желанием, потаенным и страстным. Обменный адрес стал поводом для того, чтобы оно, наконец, осуществилось. И я отправилась смотреть «нехорошую квартиру».

Ностальгически-деловой променад я начала, двигаясь вниз по заветной улице от легендарного Круглого дома Маюрова, что на Греческой площади. Тогда этот дом еще не был, как теперь, прихлопнут к земле гигантским надстроенным над ним архитектурным стаканом с торговым центром посередке.

Мой же дом оказался всего в двух шагах ходьбы от Греческой площади, и смотрелся он типично одесским старым двухэтажным особняком.

Через открытые настежь невысокие ворота я вошла в подъезд, который замыкался деревянными столбами-подпорами. Пройдя между ними, я очутилась в мощеном, без травинки, дворике и разглядела у себя над головой балкон на этих самых столбах. Квадратным козырьком он нависал над дворовым пространством и очень мне понравился: чугунное кружево решеток редкой красоты, витые изящные колонны по углам, цветущие деревца у двери. «Каков же должен быть зал при таком балконе?» – подумала я.

Но совсем не в тон балкону оказалась шаткая деревянная лестница, по которой я поднялась на второй этаж. Входная дверь квартиры тоже не стоила доброго слова. Я надеялась, что меня ждали за нею, ибо я заранее, через маклера, договорилась с хозяевами о встрече. Действительно! После стука взамен оборванного

звонка дверь распахнулась, и моим глазам предстало фантастическое зрелище: мгновенно и синхронно, будто по команде, распахнулось не менее десятка других дверей – в длинный темный коридор, который сразу стал светлым. А в дверных проемах воздвиглись в молчании фигуры жильцов обоего пола. Только жестами, без слов, они направляли меня в разные углы своего жилья во все время моего пребывания в доме. Вначале – на кухню, где на дощатом, в щелях, полу выстроились в ряд штук пять ржавых газовых плит. Потом – в два туалета, один грязнее другого. Затем я обозрела две убогие ванные, одна из которых, очевидно, продолжала служить жильцам кладовой. Так и не пригласив меня в свои личные комнаты, молчуны указующими перстами отправили меня еще к одной двери в конце коридора. Я подошла к ней и чуть постучала. «Entrez!» – услышала я французское разрешение войти. Я вошла и – замерла! Из старинного большого кресла, будто с родового портрета, мне любезно улыбалась и смотрела прямо в лицо старая дама-аристократка. Завернутая в кремовые кружева платья с высоким воротом, она одной рукой поправила седые букольки на висках, а другой поднесла к глазам золоченый лорнет, сквозь который внимательно меня оглядела.

Насладившись произведенным эффектом, дама спросила на французском же языке, говорю ли я по-французски. «Нет!» – почему-то неправдой ответила я. И тогда маленькая рука в кружевной манжетке круговым движением как бы пригласила меня взглянуть на остальное пространство зала, где не пребывали ни она сама, ни ее кресло.

Я увидела прелестно отделанный просторный зал редкой овальной формы. Многофигурные фрески над стенными деревянными панелями золотистого цвета, огромная хрустальная люстра, звенящая подвесками, великолепный паркетный пол – и абсолютная дворцовая пустота!

Указав лорнетом на зал, на балкон, на видневшуюся за ним часть дома, эта странная дама, волшебно пришедшая сюда из какого-то классического романа, знакомо сказала: «Когда-то это все было нашим. Потом власть рухнула, и все забрали другие. Отняли дом, убили отца, обездолили меня. Долгие годы я сплю в чулане при этом прежнем нашем танцевальном зале. Его тоже, наверное, скоро

отнимут. Я отдала знакомому инженеру последние безделушки, которые смогла сохранить, чтобы отделать этот зал, сделать таким, каким он был прежде. Я, знаете ли, скоро умру – здесь, в этом кресле, перед этим балконом. Да, уже скоро, я это чувствую!».

«Ваш зал прекрасен, сударыня! – ответила я.– Живите в нем так долго, как только сможете!» Тихо поклонившись удивительному существу из ушедшего времени, я вернулась в обшарпанный коридор коммуналки, прошла сквозь строй ее безгласных жильцов, спустилась по ветхой лестнице во двор и, прощально махнув рукой красавцу-балкону, вышла на Греческую улицу…

«Нехорошая квартира!» – мысленно согласилась я со старым маклером и остановилась в раздумье…

3.
О моих раздумьях на скамеечке

После беседы с дамой, сидящей в старинном кресле, мне и самой захотелось где-нибудь присесть, чтобы перевести дух и собраться с мыслями.

Нужная лавочка обнаружилась тут же, у входа в соседний милицейский участок, под доской с часами приема для желавших того граждан. Дежурный милиционер, спасибо ему, ни слова не проронил за все долгое мое сидение рядом с его служебным стоянием, и я, успокоившись, наконец невольно загляделась на плавно уходящую вниз Греческую улицу.

Мне, тогда уже взрослой женщине с определившимся настоящим, и представиться не могло, что через много лет, откровенно постарев, я – вдруг! – уйду в писательство и краеведчески точно опишу эту самую Греческую улицу в «Твоем греческом имени» (2001) и повторно в «Исповедальной книге» (2011): с нумерацией домов, с именами их архитекторов и владельцев, со сведениями о тех знаменитых людях, кто когда-либо в этих домах проживал.

Но в обменном своем прошлом я, далеко не провидица, лишь поднялась, поразмыслив, с гостеприимной милицейской скамеечки и, как мечталось, побрела «вниз да по Греческой», поглядывая по сторонам и вспоминая то, что не забылось…

Часть III

1.
О Греческой улице

Я шла мимо домов, где, казалось бы, совсем недавно жили близкие мне по духу или по родству люди. С пушкинской грустью я признала очевидное: «Иных уж нет, а те далече!».

Первыми мне вспомнились дома трех моих одноклассниц: самой доброй из них, самой в женском быту искусной и самой в классе умной.

Позже, в студенческое время, я приходила в гости на Греческую улицу еще в два ее дома, расположившихся рядом: к сокурснице, ставшей позднее известной журналисткой, и к однокурснику, впоследствии успешно преподававшему русский язык и литературу в техникуме, где работал директором мой отец.

Остался позади и дом, в котором до Войны жила моя тетушка, одна из самых женственных женщин, когда-либо встреченных мною. Отправляясь в эвакуацию, она взяла с собою лишь связку любовных писем и модные тогда фильдекосовые (!) чулки. Больше ничего!

А вот и монументальное здание медицинского училища № 1, где училась родившаяся уже после Войны моя любимая двоюродная сестра. Наконец я остановилась там, где хотела и куда изначально стремилась: перед домом, в дворовом флигеле которого мои родители снимали комнату в далеком 1940-м году. Теперь там с улицы высится новый дом, но наш старый флигель во дворе сохранился и ныне.

Перед уходом на войну с белофиннами мой отец доверил свою жену и двух маленьких дочерей попечению славных людей, живших здесь в двухкомнатной небольшой квартирке.

Я запомнила почтенного седовласого Самуила Яковлевича, который даже днем передвигался по дому в белых полотняных портках с развязанными штрипками.

И жену его помню, молодую красавицу Ребекку, всегда в модельных туфельках на каблучках «полукантес» (понятия не имею, что означает в переводе это слово из лексикона модниц

того времени!). Ребекка часто смеялась, будто у вас над ухом звенел не переставая серебряный колокольчик…

2.
О двух уличных историях

Перед Войной Одессу сотрясло большое землетрясение. Когда наш дом закачался, матушка схватила на руки меня, Ребекка – сестренку, и обе, не дождавшись Самуила Яковлевича, вприпрыжку сбежали с лестницы во двор к остальным перепуганным жильцам.

Когда земля успокоилась, мы вернулись к Самуилу Яковлевичу. Он как раз заканчивал вязать тесемки на кальсонах, сидя на табурете посреди кухни, и, наконец, был почти готов к спасительному бегу. Я до сих пор слышу взрыв хохота двух очаровательных женщин, темноволосой и с русыми косами. Молодость беспощадна к старости, а той за все нужно платить!

Но по-настоящему страшным для Греческой улицы оказалось другое событие. Не помню даты произошедшего, но вижу себя с матушкой на углу Греческой и Пушкинской улиц в момент, когда мимо нас вниз пронесся с отказавшими тормозами трамвай 23-го маршрута, а из него выскакивали на ходу и с криками падали люди! Через несколько минут за Строгановским мостом задымился грохнувшийся на бок трамвай. К нам, оцепеневшим от ужаса, добежала женщина с прижатыми к лицу руками. Она остановилась на мгновение и, отведя руки от лица, спросила: «Меня не ранило?». После чего побежала дальше в состоянии, как я теперь понимаю, чудовищного шока. Половины лица у нее не было, а была огромная кровавая рана…

После этой трагедии ватманы (водители) обязались еще до спуска высаживать всех пассажиров, и трамвай пустым медленно полз по Греческой улице к Строгановскому мосту, за которым останавливался. Только там люди, прошедшие тот же путь пешком, снова занимали свои трамвайные места…

И это все, что я вспомнила о довоенной Греческой улице и об историях, случившихся при мне…

3.
О близком финале

Я начала «Сокровенные заметки…» рассказом об отце, написанным с неизбывной к нему любовью.

Я завершаю «Сокровенные заметки…» воспоминаниями о матери, которой восхитилась ранее – в своей «Исповедальной книге».

Прошу! Будьте внимательны при чтении этих моих последних страниц, ибо они прежде всего о Войне – Великой и Отечественной!

Часть IV
О топоре в руках матушки

История первая

…Отец, когда шутил, всегда обращался к жене со словами: «Матушка моя!». А она лукаво отзывалась: «Да, мой батюшка!». В память о них, моих дорогих, я пишу о матери, маме, маменьке только как о матушке.

Топор в ее руках – не инструмент дровосечных дел, а оружие защиты – я видела дважды, о чем и расскажу.

Эвакуироваться в период Войны означало уходить от фашистов на свободную от них территорию, называемую тылом.

Наша с сестрой и матушкой эвакуация началась в июле 1941-го года из Севастополя, который отец покинул с другими защитниками города ровно год спустя, на последней подлодке. В начале войны он отправил нас в ближние горы, подальше от бомбежек, думая, как все, что война окончится в две недели. Этого не произошло, и отец настоял на том, чтобы мы выехали поездом в Мелитополь, где волею обстоятельств собралась вся женская часть материнской родни: бабушка, пять ее дочерей и четыре внучки. Я, шестилетняя, была старшей…

Дети Войны – это особое поколение ныне старых людей, побывавших в детстве на Войне и навсегда запомнивших ее ужас и ее величие. Необходимостью военного времени стала гражданская

эвакуация, состоявшая из трех тяжких для людей моментов: из спешного отъезда из родных мест женщин с детьми и стариками, с узлами и узелками у каждого в руках; из опасной дороги – пешей, конно-тележной, тракторно-машинной, изредка железнодорожной; наконец, из прибытия в тыл, в какую-нибудь удаленную от фронта точку географического пространства страны, где сразу же начиналась тяжелая для женщин, но нужная фронту работа в цехах заводов или на сельских полях. Кроме того, женщинам нужно было еще кормить, лечить и учить детей! И женщины делали все это, часто в холоде, голоде и при невеселых вестях с линии фронта от мужей, отцов, братьев и сыновей. Кстати сказать, рядом с ними на фронте храбро, как они, сражались и женщины тоже…

Десять больших и маленьких женщин нашей семьи выехали поездом из Мелитополя, но доехали лишь до Макеевки: дальше поезд не пошел, ибо немцы уже прорвались к Краснодону.

Три месяца – пешком, на телегах, на полуторках – мы добирались и, наконец, добрались в наш тыл: Саратовская область, Краснокутский район, деревня Нойшенталь, откуда ее жители, немцы Поволжья, с начала Войны были высланы в Сибирь. На войне как на войне!

Мы заняли покинутые ими деревянные избы, стоявшие прямо посреди бескрайних, безлесных, по осени голых полей. До Сталинграда было рукой подать! Победи тогда Фредерик фон Паулюс, не было бы теперь ни меня, ни этих моих страниц.

Я помню, конечно, только отдельные моменты эвакуации. Высадившись в Макеевке, толпа народа и мы с нею двинулись в обход Краснодона, через степи, пешим ходом. Днем, а особенно грозно ночами небо полыхало огнем: уходя из Краснодона, наши взрывали шахты, чтобы врагу ничего не досталось. Даже много лет спустя военные фильмы начинались с полыхания пожарищ на весь экран, рассекаемый огромными черными цифрами: 1941…

Когда мы брели по сельским дорогам, к нам пристало бесхозное стадо коров. Их давно не доили, и бедные животные мычали от муки несдоенности. И все от мала до велика, горожане и нет, садились тогда на землю, чтобы туда же сцедить молоко, добытое их неумелыми руками. Этим молоком матушка не только поила нас, но и подчас мыла нам головы, так как в степи не было колодцев с водой.

Еще я помню запах прелой листвы в леске, где мы собирали хворост для костра. И сам костер, не забытый из-за цыганок рядом с ним. Старая цыганка грустно пела, и женщины плакали, а молодая вдруг вскочила и пошла, пошла в буйном плясе, и серебряные мониста у нее на груди все время подпрыгивали и звенели.

И вот я теперь мысленно снова вижу наш обоз из колхозных телег, куда мы, усталые, с радостью загрузились. А потом вижу, как обоз вдруг остановился посреди степи, надвое перерезанный залегшими цепью красноармейцами с винтовками. Они беспорядочно отстреливались от немцев-автоматчиков на мотоциклах.

Телега с нами была, к нашему счастью, в голове обоза, и мы очутились за цепью наших бойцов. Это нас спасло, ибо конец обоза оказался во власти гитлеровцев, и те расстреляли очередями из автоматов всех, больших и малых, кто находился в задних телегах. Одна из тамошних женщин чуть ранее зачем-то пересела к нам. Увидев гибель своих детишек, несчастная зашлась в вопле и, обезумев, поседела у нас на глазах. Вот тогда-то матушка выхватила из телеги топор, сгрудила нас четверых за собой и прижала правую руку с топором к плечу, чтобы удобнее было бить им врага. Тогда – не пришлось! Но матушку – такую!– я запомнила навсегда…

История вторая

Кроме нас в Нойшенталь (таким запомнилось мне это слово) были эвакуированы сотни три заключенных, которым военкоматы отказали в отправке на фронт. Их охрана состояла из нескольких бойцов, оказавшихся в тылу по ранению. Все мы беспрекословно подчинялись одному человеку: начальнику созданной здесь сельхозколонии НКВД. Эвакуированные и этапированные, военные и штатские, здоровые и раненые, женщины и мужчины – все с раннего утра до глубокой ночи работали в поле и в пошивочных цехах, ибо нужно было кормить и одевать бойцов фронта.

А Война все шла и шла, долгая и страшная. Ненависть к фашистам скопилась в душах огромная! Ежедневно кто-то рыдал, получив похоронку; условия жизни и труда были тяжелыми; сводки

из-под Сталинграда шли тревожные. Связь с отцом давно была утеряна, и мы не знали, жив ли он еще. И вдруг – победная весть о Сталинградской битве и огромном числе сдавшихся в плен немецких солдат!

В апреле 1943-го года к нам в Нойшенталь доставили двух военнопленных – для их поднадзорной работы рядом с заключенными. Война продолжалась…

Я помню приход немцев под конвоем к дверям конторы, единственного на всю деревню каменного дома, где находился кабинет начальника колонии. Два фрица, как их тогда называли, вытянувшись в струну, стояли перед толпой, в которую собралось все население деревни. Оба длинные, рыжие, в замызганных шинелях, они со страхом вглядывались в гневные лица людей, каждый из которых пришел, держа в руках камень, лопату, вилы или дубинку.

Матушка стояла впереди, опираясь на длинную ручку топора, опущенного обухом в землю. Она была абсолютно спокойна.

А толпа волновалась! Слышались выкрики, кто-то пробирался вперед, напряжение росло. Я, ребенок, всем своим детским естеством ощутила тогда волну всеобщей ярости и испугалась этой ярости толпы на всю жизнь. Я точно помню, что очень не хотела, чтобы матушка вместе со всеми рубила, била, разрывала на части этих проклятых фрицев, теперь беспомощных. Но ведь из-за них у меня не было ни дома, ни отца, ни нормальной школы! Однако теперь, в эту минуту, они боялись, как я, и намного больше, чем я…

Когда толпа придвинулась к немцам, конвоиры закрыли их собой. Начальник колонии, сняв свою военную фуражку, произнес всего несколько слов, но, как ни странно, люди остановились. Он сказал, что суд после войны накажет фашистов за все, что они сделали с нами, а самосуд превратит нас в таких же нелюдей, какими были фашисты во все время Войны…

Когда немцев, нетронутых, увели, а люди разошлись, мы с матушкой остались у конторы одни. «Ты все запомнила?» – спросила она меня, и я кивнула в ответ, ибо еще не умела говорить, тяжко и надолго контуженная после одной из бомбежек. Мы обнялись и тихонько двинулись прочь: я, матушка и топор с длинным топорищем, слава Богу, оставшийся без дела…

Финал
«А напоследок я скажу…»

Жизнь дала мне возможность взять у отца защищенность, нежность и понимание женственности. У матушки – хмель атаки, страстность и мужество. У Одессы – самоиронию, жажду познания и радость жизни. Сумела ли я взять все это? Вопрос не ко мне.

Я закончила писать «Сокровенные заметки…», перечла их и подошла к зеркалу, чтобы взглянуть на автора и проститься с ним.

Из зеркальных глубин на меня смотрела очень старая дама с озорными глазами. Она медленно подняла руку в приветственно-прощальном жесте и… засмеялась!



Марк Крейн, Леонид Гроссман

Воин-математик

Витольд Львович Шмульян

В тяжелые годы Великой Отечественной войны многие советские ученые-математики ушли в действующую армию. Вот что писал мне с фронта один из них, Витольд Львович Шмульян, летом 1942 года:

«Пишу это письмо на верхушке церкви. Здесь я веду наблюдение за расположением немецких войск. Утром до обеда я был на другом наблюдательном пункте и тоже определял координаты целей...»

Кончалось оно не совсем обычно:

«Скоро пришлю Вам письмо с сообщением моих последних результатов».

Разумеется, имелись в виду результаты математических исследований, которые В.Л. Шмульян непрерывно вел на фронте в период относительного затишья.

16 июня 1943 г. А.Н. Колмогоров, выступая в радиопередаче об ученых, находящихся на фронте, отметил непрекращающуюся научную деятельность Витольда Львовича. Кстати, последняя из опубликованных работ В.Л. Шмульяна была подготовлена к печати также А.Н. Колмогоровым, когда ее автора уже не было в живых.

Докторант Математического института им. В.А. Стеклова Витольд Львович Шмульян вместе с группой сотрудников института в начале войны ушел в одну из московских дивизий народного ополчения и проделал с ней большой боевой путь от Москвы до стен Варшавы. 29 августа 1944 г. ему ис-

полнилось бы 30 лет, но за несколько дней до того он пал смертью храбрых и похоронен в Праге, предместье Варшавы. В боях за город Севск в 1943 г. В.Л. Шмульян был награжден медалью «За отвагу», а в 1944 г. за участие в Ковельской операции – орденом Отечественной войны II степени. В наградных листах отмечается, что «лейтенант Шмульян, несмотря на обстрел и бомбардировку вражеской авиации, всегда вовремя производил привязку боевых порядков дивизиона и организацию засечек целей…». «В боях за г. Ковель с 7 июля лейтенант Шмульян обеспечил точную привязку боевого порядка дивизиона и засечку целей. По его данным… уничтожено два орудия ПТО, семь станковых и ручных пулеметов, разрушено один НП и два дзота, подавлен огонь двух минометных батарей противника».

Из фронтовых писем В.Л. Шмульяна, а также из воспоминаний его однополчанина подполковника Г.П. Тарасова возникает живой облик советского патриота, воина-математика. Неуемная жажда знаний, которой он всегда отличался, в армии приобрела еще более глубокий и широкий характер. До армии страстная увлеченность математикой создавала впечатление о нем как о человеке, отрешенном от «суеты мирской». Артиллерист В.Л. Шмульян, став командиром взвода артдивизиона, очень скоро завоевал авторитет у своего командования и подчиненных. Он изучил специальную геодезическую литературу (письма с фронта пестрят просьбами о присылке все новых и новых книг в этой области) и поставил всю топоразведку на серьезную научную основу. Как офицер-воспитатель он обучил этому делу и своих подчиненных. В условиях фронтовой обстановки он читает своим товарищам офицерам лекции по теории вероятностей. В.Л. Шмульян вносит, и командование принимает ряд его ценных предложений по вопросам маскировки, устройства ложных огневых позиций и т. п.

В обширной переписке, которую В.Л. Шмульян ведет со своими друзьями, родственниками, сотрудниками, он неустанно повторяет и напоминает, какую радость доставляют ему прочитанные на фронте книги и какой голод на них он испытывает.

Мы узнаем, что он перечитал все сочинения Тургенева, рассказы Чехова и Горького, стихи Лермонтова и Некрасова, проглотил книгу по истории Средних веков и по истории первой империалистической войны на Ближнем Востоке. Случайно в его руки попадает самоучитель французского языка (он свободно читал научную литературу на немецком и английском), и он его штудирует от доски до доски. При этом он сохраняет страстную любовь к математике. В письмах ко мне В.Л. Шмульян расспрашивает о новых результатах своих коллег, просит присылать новые книги и монографии по математике. Весной 1942 г. я отправил ему незадолго перед тем вышедшую нашу с Ф.Р. Гантмахером книгу «Осцилляционные матрицы и малые колебания механических систем». Вряд ли в мирное время В.Л. Шмульян стал бы прорабатывать книгу, столь далекую от его научных интересов. Через некоторое время мы узнали, что он изучил ее от начала до конца. Мало того, он прислал длинный список необходимых исправлений и уточнений, которые впоследствии были использованы при подготовке второго издания книги в 1950 г.

Студенческие годы В.Л. Шмульяна совпали с периодом восстановления Одесского государственного университета на базе бывшего Института народного образования и Физико-химико-математического института. Когда я познакомился с В.Л. Шмульяном в 1934 году, он уже был наиболее сильным студентом на своем курсе со сложившимися интересами в области теории мер и интеграла, далеко выходящими за рамки официальной программы. При поступлении в аспирантуру в 1936 году он представил работу по абстрактному интегралу Фреше, в которой было дано подробное доказательство одного из основных результатов этой теории, сообщенного самим Фреше без доказательства.

В 1936/37 учебном году я начал читать факультативный курс по теории линейных операторов в банаховых пространствах, в котором впервые изложил элементы теории конусов. Одновременно я переключил свой семинар по теории интегральных уравнений на изучение геометрии банаховых пространств. Одним из наиболее активных участников этого семинара был

В.Л. Шмульян. Он сразу увлекся вопросами геометрии банаховой сферы, а затем и общими вопросами геометрии выпуклых и регулярно выпуклых множеств в банаховых и сопряженных к ним пространствах. В этой области им был получен ряд тонких результатов, которые затем продолжались и обобщались советскими и иностранными математиками вплоть до самых последних лет.

Из участников нашего семинара В.Л. Шмульян был единственным, который почувствовал новые возможности общей теории линейных топологических пространств и посвятил этому ряд важных исследований. За короткий срок с 1937 по 1941 годы им было опубликовано около 20 работ. Как уже отмечалось, на фронте Витольд Львович не прекращал своих исследований, оформляя их результаты в виде статей и писем, которые он отправлял в Институт им. В.А. Стеклова. Часть из них была опубликована в годы войны в «Докладах АН СССР» и «Математическом сборнике». Другая часть осталась в рукописях (12 статей и ряд писем), и все же Витольду Львовичу, по-видимому, не удалось отразить в этих материалах все свои замыслы и начинания. Об этом можно судить хотя бы по такому высказыванию в одном из писем: «Обратили ли Вы внимание на то, что мои последние результаты хотя и носят прежний абстрактный характер, но направлены к изучению конкретных вещей (теорема Бохнера, теоремы Tauber'a)?..». К сожалению, не удалось установить, что В.Л. Шмульян имел здесь в виду.

С фронтовой фотографии на нас глядит лицо человека с задорными веселыми огоньками в глазах. Вместе с тем он вполне понимал всю тяжесть происходящей исторической битвы и допускал, что он не будет «…иметь возможности заниматься математикой… Хотелось бы, чтобы этими вопросами занялся кто-нибудь иной. Было бы очень жалко, если бы мои начинания остановились».

Начинания Витольда Львовича не остановились. Они получили развитие в трудах нового поколения математиков, а память о талантливом математике и прекрасном человеке живет в сердцах его друзей.

Марк Крейн

* * *

Математической классикой сразу стали теорема Крейна-Шмульяна о конусах Крейна и теоремы Шмульяна и Крейна-Шмульяна о слабых топологиях в банаховом пространстве. Все эти результаты приведены Математической энциклопедией, и, исходя из работ наших математиков, их американские коллеги ввели новый важный класс линейных топологических пространств, названных ими пространствами Крейна-Шмульяна. Этот факт также указан Математической энциклопедией. В классический курс одного из основателей функционального анализа, великого поляка из Львова Стефана Банаха, редактировавший его украинский перевод знаменитый ученый Н.Н. Боголюбов включил три результата В.Л. Шмульяна и еще три совместных результата Шмульяна и его жены Веры Рувимовны Гантмахер. Шмульяну удавалось придать строго логическую форму «безумным» на вид математическим идеям другого ученика Крейна – Д.П. Мильмана. Впоследствии Крейн сетовал на то, что тандем «Д. Мильман – В. Шмульян» распался вследствие гибели последнего.

Вера Гантмахер по семейным обстоятельствам не смогла в 1941 году покинуть Одессу и была в феврале 1942 года убита гитлеровцами. Основным, притом ярым оппонентом В. Шмульяна в математике был его ближайший друг и сокурсник Михаил Лемер.

По словам одесского педагога В.Г. Рубинштейна, знакомство Крейна со своим будущим любимым учеником В. Шмульяном произошло задолго до 1934 года: молодой ученый увидел подростка, сидящего над томом «Капитала» и, как Крейн выяснил, кое-что в прочитанном понимающего.

Любопытен еще один связанный с В. Шмульяном эпизод: Шмульян вместе с женой летом 1937 года привезли к своему учителю на дачу 17-й (!) вариант своей первой совместной работы; Крейн, видя, как пот струится по щекам учеников, еще не умеющих доступно излагать свои мысли, сжалился над ними и сам подготовил к печати их работу.

Сестра В. Шмульяна Алла рассказывала, как, пытаясь отвлечь брата от математики, повела его в кинотеатр. «Посреди сеанса Толя вскочил с места: ему пришла в голову интересная математи-

ческая идея. В другой раз, когда Толя, заговорив с Лемером, заставил жену ожидать его свыше получаса, та сказала в сердцах подруге: «Он забыл, что у него есть жена». Как справедливо считал один из учителей В. Шмульяна М.Н. Бобынин, держать Шмульяна на передовой – преступление. Другой его учитель, профессор Б.Я. Левин, вспоминал Шмульяна вечно спешившим, будто чувствовавшим, как короток отведенный ему век. Профессор В.И. Реут вспоминал, что Шмульян давал толковые консультации по читавшемуся Крейном курсу теории функции комплексной переменной для инженеров. Сам же Шмульян читал сумбурно (сам себя перебивал).

В октябре 1942 года командир Шмульяна Г.П. Тарасов отпустил Витольда в двухнедельный отпуск к родным. При этом Шмульян заехал к своему учителю. Эта их встреча стала последней… Пометка «действующая армия» вместо названия учреждения, в котором выполнена работа, в статьях Шмульяна, не имеет прецедентов. Второе издание известной книги М.Г. Крейна и Ф.Р. Гантмахера, полностью переработанной Шмульяном, по сути, посвящена его памяти.

…Родился Витольд Шмульян в Херсоне, где его мать, коренная херсонка Изабелла Соломоновна Левицкая, находилась у своих родителей. Вся же его жизнь протекала в Одессе на Нежинской, 42, в родительской квартире. Шмульян-старший сумел еще при царе окончить юрфак и служил помощником присяжного поверенного, а после революции – адвокатом и преподавателем Инархоза, после же ликвидации последнего – в юридической школе. В 1938 году на лекции, посвященной значению сталинской Конституции, собирался сказать слушателям, что отныне все их речи в суде должны быть пронизаны ее духом, но оговорился и вместо «пронизаны духом» сказал: «пропитаны ядом», тут же на лекции он был арестован. Вина его была столь очевидной, что почти все адвокаты города отказались его защищать на будущем показательном процессе. Единственным юристом, согласившимся защищать Шмульяна-старшего, стал известный адвокат П.П. Полищук. Ему удалось «выбить» у суда минимальное в тех условиях возможное наказание – 6 лет ИТЛ. Он был здоровяком и отработал на лесоповале все эти годы,

в 1943 году ему разрешили встретиться с дочерью, которая приехала к нему в лагерь, и он знакомил ее с сокамерниками: «Рабинович – японский шпион, Исакович – китайский шпион» и т. д. Когда срок заключения истек, Лев Юльевич не вернулся домой: якобы «скончался от дизентерии»… Его же вдова писала стихи о Ленине и о партии и однажды даже была напечатана в «Правде». Старший брат Витольда, Теодор, инженер-котельщик, был международным мастером по стоклеточным шашкам, в 1948 году стал чемпионом СССР. Во второй половине 1970-х годов близкие Витольда выехали в США на ПМЖ.

Леонид Гроссман



Елена Каракина

Улица, которая обязывает

Дерибасовская если и считается лучшей улицей города, то, во всяком случае, она не особенно преобладает ни красотой, ни оживленностью над другими.

Одесса (1794-1894)

Включите воображение. Представьте, что раздалась барабанная дробь и литавры. А еще лучше – взмыли скрипки и виолончели. Нет, лучше марш из «Аиды». Мы вступаем на Дерибасовскую! Лучшую из улиц, «королеву улиц мира сего», как писал о ней великий сионист, поэт и патриот Одессы Владимир Жаботинский. Вы разочарованы? Ничего особенного? Ах, как говорили восточные мудрецы, «чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно смотреть на нее глазами Меджнуна». Влюбленными глазами. Дерибасовская открывается не сразу. Зато никто не станет утверждать, что прелесть этой улицы могут ощутить только избранные. Ее может почувствовать любой желающий, у кого глаза открыты, а сердце не превратилось в камень. Спустимся вниз, к истоку улицы, к месту над обрывом, огороженным парапетом, полюбуемся узенькой лестницей из лавовых плит, спускающихся почти к Таможенной площади. Остановимся у памятника Дерибасу, основателю Одессы.

Памятник Иосифу Дерибасу был открыт в сентябре 1994 года, к двухсотлетнему юбилею города. Это событие (не юбилей, а открытие памятника), в первую очередь, дало повод одесситам поупражняться в остроумии. Помимо официального памятник получил еще несколько фольклорных названий: «остров сокро-

вищ», «кузнечик», «адмирал с лопатой». Последнее отражает сюжет скульптуры – Дерибас изваян в адмиральской треуголке, с лопатой в одной руке и планом будущего города – в другой. Тяжеловатый постамент плавных линий, характерный для монументальных работ скульптора А. Князика, контрастирует с изящной, хрупкой, угловатой, манерно-кукольной статуэткой на нем. Противоречивость деталей памятника – возможно, и не оплошность скульптора. Противоречивость отражает характер времени – конца XVIII столетия – и его героев.

Основатель Одессы принадлежал к удивительному племени иностранных авантюристов, наводнивших тогда Россию. Отпрыски знатных фамилий, чьи руки равно умели обращаться с тончайшим фарфором чаепитий императрицы, томиком сонетов Петрарки и пушечным лафетом, застрявшим в непролазной грязи российских дорог, были бесстрашными людьми, готовыми поставить на карту жизнь. Ради карьеры, богатства и, как ни странно это сегодня звучит, ради славы и доброго имени.

Российская империя предоставляла искателям приключений обширное поле деятельности. Как в переносном смысле, так и в прямом. Сын испанца из Барселоны дона Мигеля Дерибаса-и-Бойонса, директора министерства государственного управления и военных сил Неаполитанского королевства, и Маргариты Плюнкет «из благородной ирландской фамилии Дункан», двадцатилетний Иосиф Дерибас в 1769 году становится волонтером российского флота. Двумя десятилетиями позднее турецкую крепость Хаджибей, на месте которой будет основана Одесса, штурмует генерал-майор Дерибас. А пять лет спустя закладывает основание нового города уже вице-адмирал Дерибас. В одном из его писем есть слова: «Я гибну от желания что-нибудь совершить…». Желание исполнилось. «Что-нибудь» оказалось Одессой. Правда, памятника создателю города пришлось дожидаться несколько дольше, чем продвижения по службе, – целых двести лет. Но лучше позже, чем никогда. Впрочем, память Дерибаса почти два столетия (с 1811 г.) звучит в имени улицы. Хоть ее переименовывали – то в улицу Лассаля в 1920-х, то в улицу Чкалова – в 1938-м, она упорно возвращалась к историческому названию – Дерибасовская.

Дерибасовская – больше чем имя, больше чем улица. Она точка отсчета, персонаж фольклора, фигура речи. В устах одессита фраза «Сейчас, я возьму разгон с Дерибасовской» означает презрительный отказ. Слова «целовал бы камни Дерибасовской» выражают крайнюю степень ностальгии. А возможность «прошвырнуться по Дерибасовской» означает одну из лучших форм беспечного времяпрепровождения. Начать же «прошвыриваться» можно и со двора. Со двора дома по Дерибасовской, № 3, где помимо традиционных для Одессы веревок с бельем, кошек, дворового крана и жильцов, сидящих на лавочке, стоит бюст создателя международного языка эсперанто доктора Людвига Заменгофа. Не стоит думать, что в каждом из одесских дворов возвышается монумент какому-нибудь знаменитому лингвисту. Или что все жители дома по Дерибасовской, № 3, поголовно болтают на эсперанто. Или что доктор Заменгоф жил, или хотя бы бывал в этом дворе. Но зато здесь проживал скульптор, относившийся с пиететом к языку, призванному объединить все народы мира. В этом дворе была мастерская, где скульптор ваял. Это и послужило причиной появления скульптурного изображения творца эсперанто. В силу



Дерибасовская начинается с Заменгофа

историко-политических причин заказ на бюст оказался невостребованным обществом одесских эсперантистов. В результате из мастерской скульптора доктор Заменгоф перекочевал во двор, став предметом гордости жильцов дома. Не слишком углубляясь в изучение эсперанто, они, тем не менее, ухаживают за скульптурой, подкрашивают и подбеливают ее, величают памятником и не без оснований утверждают, что их двор – единственный в мире, где стоит изваяние изобретателя языка-космополита.

Подивившись на изображение доктора Заменгофа, выглядывающее меж двух простыней, вернемся на улицу. Дерибасовская зовет нас вверх. Но пусть подождет немного. Предвкушение встречи приятно и продлить. Откровенно говоря, мало кто начинает «постепенно гулять по Дерибасовской» согласно нумерации домов.

Психологически, не согласуясь с порядковыми номерами, Дерибасовская начинается от перекрестка с Преображенской. Именно здесь – начало знаменитого одесского променада. Здесь же, на углу, со стороны Преображенской находилась пивная, оставившая громкий след в литературе.

Она находилась в подвале здания, которое сейчас занимает консульство Греции. А в подвале – ювелирная мастерская. Сто лет назад в этом доме находилось заведение, где основным предметом торговли были не золото и драгоценные камни, но продукт, часто сравниваемый с янтарем. Торговали здесь пивом, а заведение называлось «Гамбринус». Говорят, еще несколько десятилетий тому росписи стен в подвалах «Ювелирторга» соответствовали описаниям 1905 года. Мало кто вспоминал бы десятилетия спустя об интерьере одной из многочисленных пивных Одессы, если бы не замечательный писатель Александр Иванович Куприн. В 1906 году, когда свежи были еще впечатления от еврейского погрома предыдущего года, Куприн написал рассказ, связанный с этим трагическим событием, и назвал его «Гамбринус». Для антисемитов специально: «Гамбринус» – повесть о том, как все пляшут под еврейскую скрипку. Центральным персонажем рассказа автор сделал фигуру еврея-скрипача, играющего в одесской пивной. В деталях описано местонахождение кабачка, его обстановка, его посетители. Портрет главного героя, Сашки-музыканта,

дан нарочито занижено: «маленький, плешивый, человечек с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет». Зато скрипка в руках этого «маленького плешивого человечка» делает чудеса. Она заставляет посетителей кабачка – рыбаков, матросов, портовых грузчиков – чувствовать, что в мире существует нечто высшее и прекрасное. Она говорит с людьми разных национальностей на языке, доступном и ясном каждому из них, на языке, смягчающем сердца и стирающем противостояние. Кульминацией рассказа становится момент, когда Сашка-музыкант, защищая национальное и человеческое достоинство, разбивает скрипку о голову погромщика. Финал «Гамбринуса» оптимистичен. Главный герой, Сашка-музыкант, искалеченный в полицейском участке, никогда не сможет играть на скрипке. Но он высвистывает любимую публикой мелодию на окарине. И вслед за ним писатель утверждает: «Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит». Рассказ Куприна как минимум на столетие увековечил память и Сашки-музыканта, и кабачка, в котором он играл. Прототип Сашки – скрипач Александр Певзнер – и без того был известен и любим в Одессе. Но после появления рассказа слава его стала достоянием всей читающей России. Похороны Александра Певзнера описал Константин Паустовский в повести «Время больших ожиданий», чем поддержал и легенду, и реальную память об одесском скрипаче. В Одессе реальность и легенда легко перетекают друг в друга. Никто не знает, где заканчивается реальность и где начинается легенда. Кабачок с тем же названием теперь живет и процветает непосредственно на Дерибасовской угол и Колодезного (имени вице-адмирала Жукова) переулка.

При выходе на Дерибасовскую с Преображенской лучшая улица мира предстает во всей красе. Справа машет барочным крылом Пассаж, слева, почти сразу за двумя соединенными, как сиамские близнецы, двухэтажными изящными строениями рубежа XVIII-XIX веков – тенистый приют Городского сада. Улица за счет наклона ландшафта просматривается на три квартала вдаль. Дерибасовская навсегда.

Дерибасовская усеяна бесчисленными кафе, ресторанами, ресторанчиками, барами. Летними, зимними, демисезонными.

На Дерибасовской полно витрин зазывно манящих магазинов. Из достопримечательностей – Пассаж и Городской сад. Еще – гостиница «Большая Московская», здание бывшего Ришельевского лицея, место, где был когда-то ресторан Отона, в котором никогда не бывал Пушкин, и ниже, на углу Дерибасовской и Ришельевской, здание, в предшественнике которого Пушкин и вправду останавливался. Под ним – тень Пушкина.

Вот, пожалуй, весь перечень архитектурных и исторических достоинств главной улицы Одессы. Негусто. Правда, с Дерибасовской открывается прекрасный вид на оперный театр. Но само здание театра стоит все же на другой улице. Нет, ни пышностью домов, ни высотой этажей, ни особым распахом тротуаров Дерибасовская не потрясет ничьего воображения. Ни тем более протяженностью.

Дерибасовская коротка. Коротка, как жизнь. От Дерибасовской сегодня мало что осталось. Ее как-то очень упорно лишают исторических зданий. Ее как-то чересчур интенсивно рушат. Но слава по-прежнему гремит. Дерибасовская – средоточие Одессы, квинтэссенция ее самовыражения. Каждый квадратный сантиметр ее мостовой полон счастливой памяти. Так уж случилось – Дерибасовская вызывает эйфорию, праздничное состояние души. Ее можно сравнить с намоленной иконой. Сюда несут все праздничное, оставляя будни на других улицах. На Дерибасовскую выходят, как вступают в парадную залу, увешанную роскошными зеркалами, украшенную диковинными цветами, освещенную тысячами разноцветных огней. Ее то шутливо, то восторженно, то ностальгически вспоминают в своих книгах Юрий Олеша, Валентин Катаев, Лев Славин, Ильф и Петров. Но, пожалуй, наиболее приближенное к реальности описание ее не только как улицы, а как состояния души, дает Владимир Жаботинский в романе «Пятеро». Книга создавалась через полтора десятка лет после того, как писатель покинул Одессу. Тем не менее, его память бережно и нежно сохранила и передала вечности слова каждый из перекрестков Дерибасовской, не только ее географию, но самую душу ее:

«Как только ступала нога на ту царственную почву (слышите – «царственную»! – **Е. К.**), меня тотчас охватывало особое сознание,

словно произошло событие или выпала мне на долю привилегия. Я невольно подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук. И я уверен, что не я один». «…королева всех улиц мира сего… почему королева – доводами доказать невозможно: почти все дома с обеих сторон были, помнится, двухэтажные, архитектура по большей части среднего качества, ни одного памятника, но – королева».

Жаботинский, описывая в романе «Пятеро» Дерибасовскую, вспоминает путь, который он проделывал почти ежедневно, отправляясь в редакцию «Одесских новостей». Эта газета была одной из самых интересных в Одессе начала XX века. В ней сотрудничали авторы, кое-кто из которых достиг зенита литературной славы уже тогда. К примеру, поэт и прозаик Александр Митрофанович Федоров, ученик Аполлона Майкова, ныне почти забытый, а тогда – маститый, известный всей России. Но были и такие, кому еще предстояло так или иначе определять лицо культуры начинающегося столетия. Это были Корней Чуковский, Аминад Шполянский (более известный под псевдонимом «Дон Аминадо»), ну и Владимир Жаботинский, конечно. Их слава была в будущем. Если же не ограничиваться перечислением самых маститых, то необходимо упомянуть замечательного карикатуриста М. Линского, художника, друга И. Бунина – П. Нилуса, фельетониста и драматурга Б. Флита, театрального критика и редактора «Одесских новостей» И. Хейфеца, журналистов О. Инбера и П.Т. Герцо-Виноградского… Звездами мировой величины эти люди не стали, но это не помешало им создать образцы журналистики не провинциального уровня – хлесткой, остроумной, насыщенной образами, бесстрашной и незаангажированной. Никакой мистики – но редакция газеты размещалась в здании, предшественником которого был дом, в котором жил Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта, а в гости к нему захаживал Николай Васильевич Гоголь. При желании в преемственности талантливых людей на один квадратный метр Дерибасовской можно усмотреть причуды гения местности.

Редакция «Одесских новостей», где плавилось и ковалось общественное мнение города, размещалась в начале XX века в здании Пассажа – характерное для дореволюционной Одес-

сы соседство культуры и капитала. Пассаж, как объясняет толковый словарь, – «торговое здание в виде крытой галереи с рядом магазинов. Обычно пассаж располагается между двумя улицами».

Пассаж на Дерибасовской, возведенный архитектором Л.Л. Влодеком, превратил имя нарицательное в имя собственное. Отчасти это произошло из-за одноименной гостиницы, разместившейся в здании, но больше все-таки по вине архитектуры. Язык не поворачивается называть это порочно-барочное, нарочное изобилие лепнины, это великолепие взбитых сливок и воздушного крема с маленькой буквы. Пиетет и эпитеты вызывает не экстерьер, а интерьер Пассажа. Несущий в себе характерный для Одессы эффект неожиданности. Так, стоя близ памятника Дюку де Ришелье, вы и не догадаетесь, что в нескольких метрах от вас не пропасть, а – знаменитая лестница. Глядя на фасад Пассажа, вы и предположить не можете, что за зрелище ожидает вас внутри. У скольких поколений людей вырывалось восторженное «ах!», когда, пройдя под украшенным мозаикой потолком подъезда, они впервые вступали под остекленный свод Пассажа? Ровно у стольких, сколько их сменилось с момента появления здания, с 1899 года.

Поразительно, но это парадное сооружение никогда не изменяло своему практическому предназначению. В стране, в городе, где биржи становились филармониями, церкви, синагоги и костелы – спортивными залами, дворцы – обкомами партии, Пассаж неизменно оставался торговым центром. Менялись названия фирм и ассортимент товаров, пропал купол со шпилем, частично утрачена мозаика, но если зажмуриться и отбросить все эти мелочи, Пассаж остается все тем же красавцем Пассажем. Со своей самой курьезной достопримечательностью: паровозом на крыше. Фасад, выходящий на Дерибасовскую, венчают покровители Одессы – Меркурий и Церера. А так как здание строилось в век прогресса, то Меркурий вместо традиционных крылышек на ногах обрел новомодное средство передвижения – паровоз. Почти как настоящий – с трубой и колесами. А Дерибасовская стала единственной в мире улицей, где по крышам не кошки банальные шастают, а паровозы.

Стоит добавить, что лепные украшения Пассажа выполнены скульпторами Т.Л. Фишелем и С.Т. Мильманом, а чтобы разглядеть подробней паровоз, нужно перейти на противоположную сторону улицы. Это абсолютно безопасно – проезд по Дерибасовской закрыт, и примерно с середины 1980-х она объявлена пешеходной зоной.

Перейдя Дерибасовскую, мы окажемся на внешней аллее Городского сада. Самого первого из ныне многочисленных одесских скверов и парков. Его разбил родной брат основателя города – Феликс Дерибас. Разбивал он его рядом с собственным домом, в котором впоследствии размещалась канцелярия генерал-губернатора М.С. Воронцова, куда по служебной надобности вынужден был приходить (изредка) Александр Сергеевич Пушкин.

Судя по названию одного из первых мест зеленых насаждений в городе – не сквер, не парк, а все-таки «сад», – легко догадаться, что нынешним кленам, дубам и каштанам предшествовали плодовые деревья. А может быть, не только из-за плодовых саженцев. Деревья, зелень, тень были (да и есть) драгоценны в Одессе. Помните – у Пушкина: «Одессу звучными стихами \ Наш друг Туманский описал, \ Но он пристрастными глазами \ В то время на нее взирал. \ Приехав, он прямым поэтом \ Пошел бродить с своим лорнетом \ Один над морем – и потом \ Очаровательным пером \ Сады одесские прославил. \ Все хорошо. Но дело в том, \ Что степь нагая там кругом; \ Кой-где недавный труд заставил \ Младые ветви в знойный день \ Давать насильственную тень».

Возможно, первую городскую посадку назвали садом по аналогии с райским. В Городском саду (так и хочется написать – «играет духовой оркестр», и действительно играет летом, по воскресеньям, в ротонде, в центре сада) за последние полтора десятка лет произошли изменения. Открылось множество кафе и ресторанов, столики которых редко пустуют. В 1999 году на внешней аллее Горсада была открыта маленькая круглая площадь имени Остапа Бендера, в центре которой поместился стул работы мастера Гамбса. На самом деле автором данного скульптурного произведения стал Михаил Рева. Стул мастера Гамбса был лишь прототипом бронзового изваяния.

Не стоит думать, что одесситы настолько одержимы любовью к мебели, что начали ставить ей памятники. Одесситы на самом деле одержимы любовью к хорошим книгам, в частности к роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Памятник поставлен именно тому из двенадцати стульев, в сидении которого было спрятано сокровище мадам Петуховой, бриллианты, так и не доставшиеся героям романа.

Любопытно, что как раз в одесском Городском саду происходит часть действия другого романа соавторов – «Золотой теленок». При этом трижды упомянут фонтан. Он перестает бить, когда внимание одесских зевак привлекает сцена разоблачения «слепого» Паниковского. Струя фонтана вновь поднимается «с нарзанным визгом», когда Остап Бендер ликвидирует скандал. Наконец, Бендер сообщает незадачливым компаньонам: «Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана».

Вместо того чтобы создавать многофигурную композицию из героев Ильфа и Петрова, решено было ограничиться одним только стулом. Поскольку для тех, кто романы читал, достаточно и намека, а для тех, кто не подозревает об их существовании, не хватит даже парка скульптур.

Еще одно напоминание о «Золотом теленке» на Дерибасовской – гостиница «Большая Московская». Она находится аккурат через дорогу напротив от Городского сада. Именно здесь размещалось «советское учреждение «Геркулес», прототипом которого стал Опродкомгуб, где довелось в самом начале 1920-х служить Илье Ильфу.

В конце же 1920-х в рассказе «Путешествие в Одессу» Ильф писал: «…Сейчас в Одессе не меньше трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрестках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята». Поросят и урн уже не наблюдается, зато львы, о которых говорил писатель, – на месте. Их перенесли в Городской сад с дачи знаменитого в свое время городского головы Григория Маразли. Львы стали результатом экспроприации. С тех пор они живут абсолютно открытой каждому взгляду демократической, не буржуазной жизнью. Их уже не спрячешь, не купишь, не заберешь



домой, не провезешь через таможню. Зато можно сделать снимки на память. На фоне льва или на фоне львицы, стоящих друг против друга. Заметьте, даже грозные символы государственности – львы – в Одессе утрачивают традиционно державный вид. Они ведут себя естественно. Лев задрал ягненка (кормилец!), львица кормит львят молоком (кормилица!). Каждый занимается делом, предназначенным ему природой. Около скульптурных групп, созданных А. Кеном (еще одно прочтение имени скульптора – Сайн), когда-то и вправду часто звучали щелчки затворов фотоаппаратов. Но «двенадцатый стул» М. Ревы отодвинул их на второй план.

Бронзовый стул на площади имени Остапа Бендера обладает особой фотопритягательностью. Часто к нему стоит очередь жаждущих запечатлеться именно на этом месте. В 2000-м году у скульптуры появился опасный конкурент – памятник Леониду Утесову работы А. Токарева. Очень уютный, очень домашний. Среди деревянных скамеек сада – прибежища пенсионеров, студентов и влюбленных пар – материализовалась еще одна скамейка, бронзовая, на спинку которой откинулся улыбающийся немолодой человек. Плащ его небрежно расстегнут, шарф разметался, лихо блестят желтые штиблеты. Позер, одесский философ, артист

до последнего вздоха. Кажется, сейчас бросит короткую ехидную реплику, которыми он так славился. Леонид Осипович Утесов – человек-эпоха, король советского джаза, исполнитель песен, которые вслед за ним не пели только глухонемые. Родившийся в 1895 году в Треугольном переулке, что в двадцати минутах ходьбы от Дерибасовской, здесь, в Одессе, он сделал свои первые шаги – на эстраде и в театрах миниатюр. Шаги оказались настолько широкими, что привели его в Москву, где в 1929 году он организовал и возглавил первый в СССР театрализованный джаз. С тех пор слово «первый» и даже «единственный» сопровождало Утесова всю его долгую жизнь, почти девяносто лет. Леонида Осиповича не стало в 1982 году, а популярность его не увядает. Еще бы! Самые знаменитые песни об Одессе лучше всего звучат в его исполнении: «Ты одессит, Мишка…», «Есть город, который я вижу во сне…». Последняя наряду с музыкой из оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация» стала фирменным знаком Одессы.

Не только голос Утесова звучал в Городском саду. Громко звучали и другие голоса. Чтобы вспомнить о них, присядемте-ка лучше на скамейку. Свободные, как правило, в глубине сада. Здесь же притаился летний театр, в лучшие времена дававший два-три аншлага в сезон. На открытой эстраде под южными звездами выступали многие знаменитости – список их имен может занять десятки страниц. Но самой надолго запомнившейся сенсацией стали концерты «грустного Пьеро», эмигранта и «возвращенца», великого шансонье Александра Вертинского. Он давал здесь концерты в конце 1940-х. Достать билеты было невозможно. В кассе – нет, у спекулянтов – не по карману. Как ни странно, наиболее частыми зрителями, а главное – слушателями Вертинского оказались сотрудники научной библиотеки Одесского государственного университета. Каким образом этим не самым оборотистым жителям Одессы удалось услышать все концерты маэстро? Ларчик открывается просто. Окна научной библиотеки университета выходят прямо на летний театр, и библиотекари, таким образом, попали в разряд счастливчиков, которым завидовал весь город. У них же был бесплатный абонемент на все концерты звезды эстрады! Удивляться ли тому, что маленький, размером с почтовую марку, Городской сад связал судьбы двух великих мастеров

жанра, экстра-клоунов эстрады – «рыжего» Утесова и «белого» Вертинского? Не стоит. Утесов и Вертинский – два варианта судьбы человека искусства XX столетия, две стороны одного жанра. Утесов – эпоха, Вертинский – эпоха. Эпохи накладываются друг на друга, пересекаются на Дерибасовской. Здесь заканчиваются, здесь же возрождаются.

На самом выходе из Горсада возродилось кино «Уточ-кино», теперь – джаз-клуб, носящий имя «Уточкин». Еще в 1960-х название звучало «Уточ-кино», двадцать лет спустя все же прижилось название «кинотеатр Маяковского». Теперь возвратилось прежнее, хотя «кина» пока уже не будет. Владельцем кинотеатра, верней, «иллюзиона», или «синематографа», в начале XX столетия был родной брат Сергея Уточкина. А Сергей Уточкин тоже был эпохой. Человеком, безусловно, заслужившим памятник в городе Одессе. (Памятник у кинотеатра появился 2 сентября 2001 г.) Впрочем, если бы в Одессе ставили памятники всем знаменитостям этого города, пешеходам было бы не протолкнуться. А скульптурное изображение Сергея Уточкина неплохо было бы изваять вообще на Потемкинской лестнице. Легендарный спортсмен, пионер авиации, чемпион велосипедных гонок, исполнитель головокружительных трюков, Уточкин не признавал жизни без риска и без преодоления препятствий. Вот он и пересчитал шинами своего отнюдь не «горного» велосипеда ступеньки Потемкинской лестницы, съехав по ней вниз, к самому синему морю. Вслед за ним, уже много поздней, в 1970-х, по лестнице съезжали на лыжах и даже на автомобиле марки «Запорожец», но Уточкин-то был первым. Стоит ли говорить, что спортсмена в Одессе обожали, носили на руках в самом прямом смысле, а брат использовал их общую фамилию для привлечения публики в синематограф.

В этом же здании, но по фасаду со стороны Дерибасовской, располагался магазин производителя чая, марка которого до сих пор известна всему миру. На старой открытке по фризу этого двухэтажного любовно выпестованного домика, где сейчас расположилось кафе, большими буквами шла надпись «Чай Высоцкого». Как тут не вспомнить знаменитое присловье: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия – Троцкого». И не подивиться недальновидности ее сочинителя, ведь когда появляется «Россия



Троцкого», тогда исчезают и сахар Бродского, и чай Высоцкого, и магазины, где все это продавалось.

Мы уже на мосту, на углу Дерибасовской и Гаванной, но еще чуть-чуть помедлим, чтобы сказать несколько слов о здании уже упоминавшейся гостиницы «Большая Московская». Помимо того, что оно вошло в литературу, так как здесь разворачивается часть действия романа «Золотой теленок», оно еще вошло в легенду. В ней здание фигурирует как «дом с лицами». В Одессе достаточно домов с маскаронами – большими и малыми, звериными, птичьими и человечьими, но самые выразительные, самые заметные – на стенах «Большой Московской». Мужские и женские, с правильными чертами лица и загадочными полуулыбками, в вычурных головных уборах, по бокам которых – канаты и цепи. Именно эти цепи и породили легенду. Одесский фольклор гласит, что архитектор, строивший дом, случайно узнал, что его заказчик – торговец живым товаром. Что злодей сплавляет одесских красавиц через одесские же катакомбы в порт, где их, завернутых в пышные персидские ковры, грузят в потайные места на кораблях, а затем продают в гаремы сладострастных восточных владык. Страшную тайну поведала архитектору одна

из невольниц, пытавшихся вырваться на свободу. Архитектор, конечно же, влюбился в нее и пытался освободить от страшной участи, но неудачно – девушку «сконтрабандили» жирному сладострастному старому паше. Тогда в отчаянии архитектор изобразил на здании ее портрет, а заодно и свой, где цепи и «вервия» – символ злосчастного рабства. После чего был предательски убит по приказу коварного хозяина, заказавшего сначала проект здания, а потом и самого архитектора. Вся история – плод воображения восторженной и романтической гимназистки, тем не менее в одесском фольклоре она существует почти сто лет. Реально же здание было выстроено в 1910 году. Неизвестно, существовала ли в то время торговля «живым товаром», зато точно известно, что в «Большой Московской» в 1918 году останавливался Александр Вертинский. Это уже не легенда. Здание «Большой Московской» «отреставрировано». В процессе «реставрации» оно приобрело два лишних этажа, что нарушило пропорции и здания, да и самой Дерибасовской. Лица, то есть маскароны на здании воспроизведены один к одному, но благодаря новой высоте гостиницы стали меньше бросаться в глаза. Поэтому, улыбнувшись милым потерянным лицам на «Большой Московской», отправимся к мосту.

Имеющие глаза, конечно, могут возразить, что никакого моста они отродясь на Дерибасовской не видели. А его и нельзя увидеть. Он под землей. Он исчез давным-давно, еще в первой трети XIX века, в процессе строительства города. Дело в том, что рельеф центра был несколько иным. Военная балка (о которой сейчас напоминает название – Военный спуск, берущий начало от Гаванной, пересекающей Дерибасовскую) начиналась от Греческой площади. Балку пересекали два моста – один на Дерибасовской, второй соединял Городской сад и Ланжероновскую. Потом балку засыпали, и мосты исчезли. Но они живут под землей и держат одесские улицы на своих выгнутых спинках, как те киты, на которых, как известно, стоит земная твердь.

Перейдя, наконец, по исчезнувшему мосту через Гаванную, отправимся вдоль сияющих витрин к длинному одноэтажному дому, не обделенному мемориальными досками. Это – здание Ришельевского лицея. Бывшего, конечно, потому что здесь лицеистов нет примерно с середины XIX века. На смену лицею пришел

университет. Кстати, мемориальную доску в память человека, которому Одесса обязана тем, что стала университетским городом, мы обошли вниманием. Между тем она – на здании рядом с Пассажем. Там находилась гостиница «Франция». В ней в 1856-1858 годах жил великий хирург Николай Иванович Пирогов, по совместительству исполнявший обязанности попечителя Одесского учебного округа. Это его стараниями и ходатайствами на базе Ришельевского лицея возник Новороссийский университет. Мы не станем, конечно, возвращаться к бывшей «Франции». Тем более что Пирогов бывал, ну просто не мог не бывать по долгу службы в здании лицея здесь, на Дерибасовской, 16. Здесь же, как свидетельствует мемориальная доска, преподавал Дмитрий Иванович Менделеев. Это было, правда, в 1855-1856 годах, до того, как великому ученому приснилась таблица химических элементов. Жаль, конечно, что не Одесса навеяла ему этот гениальный сон. Хотя кто знает? Навеяла же Одесса Адаму Мицкевичу «Крымские сонеты». Это ничего, что сонеты – крымские, писал-то их великий польский поэт в период одесской ссылки, в 1825 году, и – вполне возможно – в этом самом здании. Во всяком случае, рукописи наверняка здесь держал. О том, что нога Мицкевича, гордости польской поэзии, ступала по плитам лицейского двора, свидетельствует его встрепанный профиль на доске черного мрамора. Кстати, почти напротив, через дорогу, ближе к Екатерининской – памятный знак, выполненный со вкусом и изяществом, свидетельствует о пребывании в Одессе другого великого поляка, революционера в живописи, грозы традиционалистов – Василия Кандинского. Переходить ли на другую сторону Дерибасовской? Пожалуй, не стоит. Лицей заслуживает того, чтобы уделить ему побольше внимания. Как-никак, одно из любопытнейших учебных заведений XIX столетия.

Лицей был основан по инициативе Ришелье. Открыт, правда, после отъезда герцога из Одессы – при графе Ланжероне, в 1817 году. Но Арман Эммануэль дю Плесси и во Франции не забывал своего любимого детища – Одессы. Он назначил содержание лицею. Из своего кармана, естественно. Лицей давал образование, которое сегодня можно назвать университетским, а насколько оно было качественным, свидетельствует тот факт, что сюда

приезжали учиться не только жители Новороссии, но Петербурга и Москвы. В рождении лицея присутствует все же очень одесский момент. Укладывающийся в анекдотическую фразу: «А какой ковер!.. они собирались себе купить». Проект здания лицея был создан одним из крупнейших зодчих XIX века, автором Исаакиевского собора и Александрийского столпа – Августом Монферраном. Проект-то был, но осуществлен он не был. И здание, выходящее если не на все четыре, то на три стороны – на Дерибасовскую, Екатерининскую и Ланжероновскую улицы, не может похвастаться родством с Исаакиевским собором и Александрийским столпом в Петербурге. Что с того! В лицее было все, что нужно, чтобы черпать полными горстями из источника знаний: аудитории для занятий, дортуары для учеников, апартаменты для преподавателей, службы – прачечная, столовая. Даже собственная церковь была. В общем, настоящий университетский кампус. Нынешние жильцы дома спокойно могли бы играть в «лицей». Здание не перестраивалось и не подгонялось под нужды «не студентов». Хотя кой-какие изменения в лицейском комплексе зданий все же произошли. Зайдем во двор – он того стоит. Это великолепный образец одесского «сквозняка», проходного двора, которым легко уходить от слежки и погони. Правда, выход на Ланжероновскую бывает закрыт. Зато на Екатерининскую – пожалуйста, сколько угодно. Но мы воздержимся от опрометчивого шага – потерять несколько метров Дерибасовской. И обратим лишь внимание на то, что двор позволял лицеистам чувствовать себя «государством в государстве», что здесь некогда бил фонтан, что двор был вымощен лавовыми плитами, а от прежних политических веяний здесь сохранился пустой постамент. На нем некогда величественно морщился гипсовый Ильич. Двор бывшего лицея – далеко не единственный в городе из тех, где лозунг «Ленин – с нами» осуществлялся впрямую. Что за странная прихоть? Чрезмерная любовь к вождю мирового пролетариата или избыток бюстов, которые некуда было девать? Украшением они, конечно, были сомнительным, но забавным. Ленин как элемент садовой и даже дворовой скульптуры, Ильич не монументальный, но одомашненный, вносил крамольную фамильярность в отношения к анклаву советских вождей. Бюсты Ленина во дворах скорей должна

была сносить прежняя власть, не нынешняя. Но стоит ли искать логики в идеологии? В общем, говоря языком поэта: «Мосье согнали со двора».

Не избегла печальной участи еще одна из достопримечательностей Одессы – пивная Брунса. Она была здесь же, в лицейском дворе. Если читать «Пятеро» В. Жаботинского, то узнаем, что она существовала в «доме Вагнера» (Вагнер купил здание лицея, когда учебное заведение было преобразовано в университет и поменяло адрес), в глубине двора со стороны Дерибасовской. А если читать «Поезд на третьем пути» Дона Аминадо (А. Шполянского), то узнаем, что попасть в нее можно было со стороны Ланжероновской. И то, и другое справедливо и нисколько не противоречит планировке проходного двора. Из вышеназванных литературных источников следует, что пивная Брунса была местом, где подавали лучшее в мире (до 1917 года!) пиво, и по этому поводу не существовало никаких разногласий между писателями Буниным, Федоровым, Шполянским и Жаботинским, а также художниками Нилусом, Буковецким, Дворниковым и Заузе. Да, одесские кафе, пивные, рестораны, ресторанчики могут похвастаться тем, что служили местом встреч, дружеских пирушек, розыгрышей, споров не только для простых смертных, но и для совершенно замечательных людей. И остались в благодарной памяти завсегдатаев, а через них – в литературе и в искусстве. Кофейни, кондитерские, ресторанчики были нейтральной, всем принадлежащей территорией, куда приходили не только пить и есть, но и общаться. Иногда сочетание «пищи телесной» с «пищей духовной» давало замечательные плоды. В этом нетрудно убедиться, читая Хемингуэя. Или гуляя по одесским улицам. Зря, что ли, так ценилась чашка кофе, выпитая «у Фанкони»!

Покинем лицейский двор и остановимся на самом углу Дерибасовской и Екатерининской. Возле бывших «Алых парусов». Бывшего кафе. Оно служило местом встреч «золотой молодежи» 1960-1980-х. Художники, артисты, музыканты здесь, без сомнения, тоже бывали. Но, в основном, пятачок у кафе и через дорогу, напротив, у «Антарктики» – административного здания китобойной флотилии, были негласным местом сбора «фарцы». Этот термин вышел из современного обихода за ненадобностью.

Точно так же, как слово «спекуляция» утратило криминальный оттенок, хотя душок безнравственности остался. Тех, кого раньше величали спекулянтами и фарцовщиками, сегодня называют посредниками, дилерами и дистрибьютерами. Или проще – торговцами. Что соответствует реальному положению вещей. Торговля сопряжена с известным риском. Точней, чем у Пушкина, не скажешь: «Дитя расчета и отваги… купец…».

Фарцовщики тоже были «детьми расчета и отваги». Они вызывали явное презрение и тайную зависть, были предметом восхищения одних, негодования других и частой поживой милицейских облав. Они торговали. Чем? Не нефтью, не металлом и, насколько известно людям, не причастным к их кругу, не наркотиками и не оружием. Они продавали джинсы, кожаные пиджаки, замшевые куртки, жвачку и американские сигареты – предмет мечтаний советских юношей и девушек.

Замечено, что давнее прошлое легче вспоминать, чем недавнее. Вот и теперь трудно себе представить, что в каких-то там 1980-х американские джинсы были знаком непозволительной роскоши. Джинсы стоили умопомрачительно дорого для советской семьи со средним достатком: одну-три зарплаты инженера конструкторского бюро. Джинсы на бедрах юного отпрыска были показателем достатка семьи. «Заджинсованные» презирали «не джинсованых», а те – ах, зелен, зелен виноград! – утверждали, что чувствуют себя превосходно в советских джинсах за 12 рублей (редкостное убожество) или в польских за 40 (получше, но не то, не то).

Пройтись по Дерибасовской в джинсах и кожаном пиджаке означало быть причисленным к кругу избранных, почти к небожителям. Собственно, в сфере моды и одежды так было всегда. Быть может, даже в те почти доисторические времена, когда Дерибасовская еще носила имя Гимназской. Но не всегда это было безопасно. Например, в конце пятидесятых XX века, когда «под тлетворным влиянием Запада подонки советской молодежи» отринули всеобщую униформу – широкие брюки – и влезли в узенькие брюки-дудочки.

Комсомольские патрули бдительно следили за чистотой нравов на Дерибасовской. Они ходили с ножницами и разрезали –



Дерибасовская угол Екатерининской

да, да, то заводя в подворотню, а то и на самой улице – разрезали узенькие брючки непосредственно на их носителях. И не то чтобы при молчаливом попустительстве милиции, а при полном ее согласии и содействии. То же касалось избыточной длины волос. Не один поклонник группы «Битлз», изловленный на Дерибасовской и в ее окрестностях, бывал жестоко бит в милицейских участках за то, что «порочил облик советского человека». Была у блюстителей порядка на вооружении такая формулировка.

Моду приходилось оплачивать – и не только деньгами. «Правильное» социалистическое общество всегда жестоко боролось со своими «неправильными» членами. Во всех областях человеческой деятельности: в моде, в искусстве, в науке, в быту, в музыке. Дерибасовская была, естественно, одним из центров борьбы. Боролись со стилягами, фарцовщиками, модниками, с джазом и одесскими мелодиями. В тех же «Алых парусах» запретили играть «Семь-сорок». Чтобы советское общество не подпадало под разлагающее произраильское влияние этого всемирно известного одесского фрейлахса. И что, после этого оркестр



Дерибасовская угол Ришельевской

перестал его играть? Господа, мы же все-таки в Одессе! Конечно, оркестр перестал играть «Семь-сорок». Он играл ту же мелодию под названием «Одесская вечерняя».

Кстати, музыкальная ресторанная программа утверждалась множеством инстанций, которые начинались в Москве, продолжались в Киеве и завершались в Одессе. Наибольшая часть программы отводилась русским и украинским песням, за ними по количеству шла музыка народов союзных республик, иностранным же мелодиям отводился то ли один процент музыкальной массы, то ли два. Поэтому в «Алых парусах» играли фрейлахсы, выдавая их за молдавские национальные песни.

А в здании по диагонали напротив играли великолепный джаз. Здесь, в ресторане «Братислава», звучал оркестр Алика Кремера. И в «Братиславу» шли на джаз Кремера, а не на фирменные блюда. Настоящая музыка начиналась после ресторанной программы, после полуночи. Пела Татьяна Боева, за фортепьяно – Сергей Терентьев, ныне – музыкант с мировым именем. Тогда же, в 1970-х, его начальник, руководитель музыкальных ансамблей Одессы, окончивший музыкальную школу по классу баяна, отплевываясь от Гершвина, говорил: «Ну что ты всякую дрянь играешь! Сыграл бы Бетховена, «К Элизе». Тоже ведь неплохая музыка».

Собственно, не только «неплохая музыка», но само здание, где играл джаз Кремера, может служить замечательной иллюстрацией социалистической борьбы и победы. Путеводитель 1968 года характеризует «здание комбината «Юбилейный» как лучшее украшение Дерибасовской. Ой ли? Может, Пассаж поинтересней

будет? Спорить о вкусах – занятие увлекательное, но бесплодное. Поэтому остается сказать, что «комбинат» на углу Дерибасовской назвали в честь пятидесятилетней годовщины Великого Октября. А потом переименовали в «Братиславу». С возвратом капиталистических форм общества в этом здании, построенном к 50-летнему юбилею Октября архитектором Л.И. Швальбиной, образовалось казино. Ни больше ни меньше как «Эльдорадо». В которое мы не станем заходить. Что казино? Ели взглянуть шире, наша жизнь и без всякого казино – игра!

Кстати, о широте взглядов. Если мы хотим окинуть широким взором центр города и вид на залив, нам стоит подняться по «черной» лестнице на крышу дома на углу Дерибасовской и Ришельевской. Высота этого здания казалась настолько непривычной одесситам, что они называли его небоскребом. С крыши «небоскреба» элегантность архитектурного решения центра города впечатляет особенно – ветхость не заметна, видна лишь головокружительная гармония улиц и архитектурных ансамблей. Впрочем, далеко не каждого привлечет перспектива подъема на верхний этаж «небоскреба». Что ж, и внизу тоже неплохо.

Мы находимся на том из углов Дерибасовской, о котором знают люди, даже никогда не бывавшие в Одессе. Знают из песенки, начинающейся словами «Как на Дерибасовской угол Ришельевской…». Песенка неприличная, что не мешает ей быть забавной и даже язвительной. Не являясь литературным шедевром, она, тем не менее, популярна в течение многих десятилетий. Благодаря неожиданному повороту сюжета в ее тексте. Эта частичка богатого городского фольклора Одессы – осколок зеркальца,



Из Одессы с любовью

в котором отражается – совсем чуть-чуть – характер города и его главной улицы. Улицы, где перемешаны времена и нравы, великое и смешное, прошлое и настоящее. Улицы, где можно повстречать, ни про кого из нас не будь сказано, и «шестерых налетчиков», и фотографа с его обезьянкой, и лидера партии ЛДПР Жириновского с охраной, и старых знакомых, которых сто лет не встречал. Улицы, которая обязывает. Махнем ей рукой на прощанье. Жаль, нет фонтана, чтобы кинуть монетку. Впрочем, и без этого Дерибасовская – улица, к которой нельзя не вернуться. Как хотя бы мысленно возвращаются к ней все одесситы, в какой бы округлости земного шара ни находился их новый дом.

Фото Георгия Исаева и Михаила Рыжака
из архива Г. Исаева

Александр Мардань

Вдвоем с одиночеством

Хорошо знать своего противника значит наполовину победить его.

Кто-то из военных

День не задался с утра.

Перед самым выходом из квартиры я обнаружила, что колготки порваны, пришлось в спешке переодеваться. Лифт не работал. Спускаясь по лестнице, я поняла, что каблук вчера все-таки поломался, вернулась, переобулась. Пока ходила за продуктами, чуть не потеряла мобильный, к тому же промокла, потому что не взяла с собой зонтик. Ну совершенно не хочется думать о дождях в мае! А приходится, такая у нас в этом году весна. Поздняя… В довершение всего я полчаса пыталась взломать собственную дверь, которая упорно не хотела впускать меня домой.

Наконец-то! «Здравствуйте-здравствуйте, всем привет». А никого нет.

Я стала вынимать покупки – хлеб, зелень, понятно, – а это что за письмо счастья мне подсунули? Яркая открытка, «суперпредложение». «Уик-энд в Париже. Мы ждем вас и вашего спутника в субботу на нашем вечере». Сегодня, в семь. Все брошу и полечу, как спутник. «Сотрите защитный слой, вас ждет приз!» Прислали лохушке заманушку. Бесплатная гостиница, зато двойная цена на перелет. Бокал шампанского и много лапши на уши. А с другой стороны: столько любителей выпить на шару в одном месте…

Нет, все успеть невозможно. Я посмотрела на часы, но они опять остановились, а кукушка, после того как бывший муж стукнул по домику, вообще больше ни разу не показывалась. Пора

купить нормальные, электронные. Я же теперь свободная современная женщина, не то что раньше. Хотя никогда я себя домашней курицей не считала, чтобы там моя Машка, а ныне фройляйн Мари, не говорила. Никакая я не наседка, и не хороню себя в четырех стенах. Просто уезжать в Германию не хочу, а по ее мнению, жизнь есть только там.

Интересно, кто мне звонил? Любопытно, всегда волнуюсь, когда автоответчик прослушиваю.

«Мамуль, привет! У меня все зашибись. Зачет сдала. Через неделю приеду. Испеки шарлотку, ладно? Я тя лю». Записала, на субботу – яблоки.

«Привет. Сегодня в семь. Приду с моим соседом. Симпатичный мужик. И без «не хочу» и «не буду»! Не захочешь – не будешь. Привет борщу». Машка! Спасибо за предложение. Напросилась на борщ, с соседом вприкуску.

Я поставила бульон на плиту и решила попить кофе, подумать.

Когда гости из Европы, это обязывает. Даже если бывшие наши. Хотя бывших наших не бывает. И лучший способ угостить – наверное, именно этот: приготовить что-нибудь из детства. Машка так и сказала: «За борщом зеленым соскучилась». Видать, в Германии щавель не уродил. Хотя странно, конечно. «Хочу зеленый, – говорит, – я его так в детстве любила!» Не помню я, чтоб мы в детстве первое любили, тогда любой суп был наказанием.

Хорошо хоть предупредила заранее, я бульон успела сварить. Постный борщ для гостей – это неприлично. Дома пусть на воде сидит. У меня на курином бульончике будет, и не тяжело, и вкусно. Знай наших! Мы на гостях не экономим. По одному бутерброду на гостя не подаем. И борщ готовим правильный, на бульоне, в каждую тарелку по три яйца. Перепелиных. Деликатес! Мы и на себе не экономим, лично я кофе пью хороший, пусть растворимый, и конфеты покупаю настоящие, шоколадные. Себя надо любить.

Или все-таки – не себя? Он ненавидел перец горошком. Сидел над тарелкой и возил ложкой. Боялся, что раскусит. Ну, раскусишь, и что? «У меня изжога». И возил этой ложкой, пока суп не остынет… Мама, конечно, считает, что с перцем я была неправа, не надо было класть. Не надо было злиться! Не хочешь быть одинокой – будь доброй. А мужчин это разве не касается? Как же

меня раздражало, как он пену снимал! Зачерпнет – и по блюдцу ложкой: дзынь-дзынь, ну просто повар со стажем. И смотрит ласковым, как терка, взглядом. Не нравится – скажи прямо! А сам резинку жует. И вроде бы не чавкает, но звук… как железо по стеклу. Хотя глупости все, конечно, мелочи. Не из-за этого же разошлись. Остыло все, как суп.

Или не остыло? Почему же, когда мама спрашивала – он с кем-то живет или один – я в слезы? И лук резать начинала, чтоб это скрыть. Она как придет, я передник на шею и… Интересно, догадывалась ли она? Делала вид?

Я стала нарезать лук, размышляя, что устрою сегодняшнему гостю проверку, брошу побольше перца. Посмотрим, будет ли он горошки в тарелке ловить.

А вообще, зеленый борщ я не очень, да и муж не любил. Не помню даже, когда варила, придется готовить по записям, по книге.

Можно с картошкой, а можно только с рисом. Две жменьки. Как мама учила. Когда мы с Машкой были маленькими, риса было всего два. Глупо звучит – два риса. Два вида. Или два сорта? В общем, круглый и длинный. Конечно, лучшим считался длинный, он казался по-настоящему восточным. И наши мамы из него варили плов. Так они думали. На самом деле это была рисовая каша с жареной морковкой. Но нам не с чем было сравнивать. Сейчас, конечно, все иначе. Риса в продаже сколько хочешь и какого хочешь. И длинный, и круглый, и белый, и коричневый. Есть даже дикий. Хотя на самом деле он вообще не рис. Я читала.

Две жменьки. А он считал, что нужно точно. Стаканчик купил мерный, с черточками. Ему цена три копейки! Забрал, когда разъезжались. Говорит: тебе не надо, ты все руками меряешь. Неужели он всегда был таким? Когда встречались, мне нравилось, что аккуратный.

А может, у человека всегда так? Вкус меняется. Потихоньку, незаметно. То, что раньше не нравилось, становится приятным. Суп, например. А что любил – надоедает, после вообще начинает раздражать. Поэтому люди и разводятся. Выходила замуж за настоящего мужчину. Идеал, солидный, не болтливый, спокойный. Прошло десять лет, и я возненавидела его тупое молчание, непробиваемое спокойствие. Десять лет понадобилось, чтобы понять – это просто лень. Лень говорить, возражать, спорить. Лень

волноваться, переживать. А ведь, наверное, и ему что-то во мне нравилось, потом разонравилось.

Кажется, я все-таки волнуюсь. Нет, не волнуюсь. Боюсь? Между прочим, я в таких ситуациях всегда себя веду по-дурацки. Неестественно. Да вообще – не хочу!

У всех такая арифметика: один это плохо. Два это хорошо. Два лучше, чем один. Но мы все у себя одни. Почему два лучше? Я сто раз спрашивала, никто не знает. Два – хорошо, а три – снова плохо. Причем всем троим. Выходит, чет лучше, чем нечет? «Как важно научиться понимать, насколько лучше чет, чем нечет, чтобы при каждой новой встрече нам на одной странице книгу открывать». Кому важно, какую книгу? Жизни, что ли? По их логике, только ноль хуже, чем один.

Один аргумент у меня точно имеется. Нож. Хорошо наточенный. Символ! Классика жанра – песенка про одинокую женщину, которая делает вид, что у нее все супер, только ножи… Нет в доме мужика, и ножи тупые. У меня острые. Точильщику ношу. Все просто: его будка возле нашего рынка. Симпатичный такой дедок. Клиентов мало, и он целый день сидит на табуретке у дверей, курит и с соседкой, что на втором этаже, разговаривает. Орет ей на всю улицу: «Не приходят. Не надо теперь точить. Понакупили всякой дряни с кнопочками. Комбайнёры!». И ругается так, что вся улица икает. Оказывается, его внучка тоже купила кухонный комбайн, а старую мясорубку выбросила. Дед простить не может.

Машку волнует, что ножи мне точит чужой дедушка, а не мужчина средних лет. Она хочет, чтобы я завела точильщика и забивальщика гвоздей, который умеет вкручивать пробки. Говорит, что я себя захлопнула. Все попытки объяснить, что мне этого не надо, игнорирует. Считает, что я гордая и стеснительная. Говорит, у них ценятся женщины, которые не только по дому все делают, но и готовят. Убираться-то просто, сплошная техника, только кнопки дави. Тоже комбайнеры! А вот еда… Они там от домашней кухни совсем отвыкли, им обычный борщ деликатес. Говорит: «Поехали к нам в Германию. Готовишь ты хорошо». И кем буду, домработницей? Она говорит: «Да. Это самый короткий путь к счастью».

Хороша страна Германия. Там если у безработного есть собака или две, то на каждую в месяц по 150 евро выплачивают. Животное должно нормально питаться. Интересно, размеры собаки

оговариваются? Правда, на пенсию женщины там в 67 лет идут. А при разводе, неважно, кто виноват, муж платит жене 500 евро в месяц, пока она снова не выйдет замуж. Почти как на три собаки. Еще Маша рассказывает, что среди наших есть дураки, которые как напьются, произносят тост «За Германию без немцев». Есть уже такая, Калининградская область называется, но туда что-то не сильно едут. С немцами Германия вкуснее.

Увлеченно нарезая щавель, я, как всегда, упустила момент, и лук на сковородке сгорел, пришлось выбрасывать.

Главное другое: гость, мистер Игрек. Сколько ему? И где он сосед, тут или там? В бывшем Машкином доме живет? А это хрущевка… Принц без лифта. Борщ без лука. Ладно, никуда не денешься – надо резать снова.

Одновременно можно варить яйца. Сегодня – не простые, перепелиные. В четыре раза меньше, в два дороже. В нашем детстве были только куриные. Я все пыталась понять, какие вкуснее, коричневые или белые, хотелось попробовать то и другое сразу, но дома всегда были только одного цвета. А однажды мы с Машкой чуть пожар не устроили. Поставили яйца варить, а по телеку кино с Ален Делоном. В результате они спеклись. Я кастрюлю драила, а Машка полотенцем, как пропеллером, дым из кухни выгоняла. Ален Делон! Первая любовь. Нет, первая была в детском садике. Тоже брюнет. А когда выросла, одни шатены были. Теперь кто? Пора переходить на седых и лысых? Кстати, бритые в моде, говорят, что это эротично. На уровне подсознания, наверное. Чтобы раньше девочка влюбилась в лысого? А вообще, как говорила моя бабушка, «ученые доказали», почему мы влюбляемся. Все дело в запахе. У каждого свой, как отпечаток пальца. Ты даже не осознала ничего, а мозги уже влюбились. В запах. Внешность без разницы. Неприятная теория. Мне не нравится. Как это, от меня ничего не зависит? Я тут решаю, хочу знакомиться или нет, а придет Геракл засушенный, и я в него влюблюсь, потому что он с одеколоном угадал! Хотя здесь, спасибо луку, такие ароматы…

Надо все-таки выбросить этот мусор. Я взяла пакет, чтобы вынести в мусоропровод, но ключ, провернувшись в дверном замке, тихо хрустнул и сломался, оставив в моих руках навсегда осиротевшее ушко, а в замке инородное тело.

Удачный день продолжался.

Конечно, я не сразу поняла, что выйти не смогу. Что с той стороны не откроют, ключ не вставят. Значит, я в субботу не выходная. И не входная…

Нет, надо что-то делать. Решила, что могу ему позвонить. Ничего, соберется, приедет. Сначала немного понудит. Главное, чтобы успел до семи, а то нехорошо получится – он, гость, я. В роли эстафетной палочки.

Позвонила. Потом еще. В душе, спит, не хочет на мой звонок отвечать? Подождать? Перезвонить еще?

Стоп, нервы дороже. Обращусь к профессионалам, я у них дубликат заказывала. И замки ремонтируют, и экстренным вскрытием занимаются. Взломом. Нет, взлом – когда нет хозяев, а по заказу – вскрытие. Когда замок умер. Фирма называется «Золотой ключик», причем с их ценами – это они не кокетничают. А новый замок по цене, наверное, вообще платиновый получается.

Позвонила по всем указанным номерам, но трубку нигде не взяли.

Ладно. Говорят, неважно, ситуация хорошая или плохая, она в любом случае изменится, буду ждать. Вернее – продолжать приготовления, столько еще нужно успеть. Пока протираем тарелки.

Запахи, запахи… Химия. Вот, оказывается, какая наука главная. А я-то больше увлекалась литературой. Думала, она все объясняет. Пойму, почему Марья Кирилловна не согласилась с Дубровским бежать, и будет мне в любви все ясно. Зря надеялась. Химию надо было учить. Может, Дубровский тогда был… где ему в лесу мыться? Еще и раненный. Значит, пахло от него в тот момент потом и кровью. Поэтому она за ним и не пошла. Не сознательно отказалась, так мозг скомандовал: не надо! Кровь, грязь, страшно, смертью пахнет.

Против химии может помочь только другая химия. Например алкоголь. Это сейчас молодым в загсе по полному бокалу шампанского дают. Тогда, разумеется, не наливали. Где – в церкви, что ли? А вот выпила бы Маша шампанского – и прощай, хорошо пахнущий князь Верейский! Мозг бы отключился – и помчалась бы красавица за молодым Дубровским.

Сейчас вообще про это много пишут: запахи, гормоны счастья. Духи специальные выпускают. Надушился и счастлив? Как много, оказывается, способов стать счастливым. Что-то выпить. Чем-то

подушиться. Что-то понюхать. Покурить. Таблетку принять. Укол сделать. Счастье, оказывается, не состояние души, а химическая реакция. Один недостаток: проходит быстро, вместе со здоровьем. Поэтому нам нужно счастье естественным путем получить. Через сердце. И немного через желудок. У нас свои феромоны. В счастливом доме должно вкусно пахнуть – пирогами, приправами. Борщом. Не зря, наверное, говорят: семьи, в которых каждый день варят суп, распадаются в последнюю очередь.

Как всегда, тарелки я протерла дважды – сияют, немцам не снилось. Не специально, конечно, автоматически. Замечталась. А он говорил – неаккуратная! Ну, думал… Некоторые умеют так громко думать! Не захочешь, а услышишь.

А может, согласиться – в Германию? Если у тебя жизнь не такая, как хочется, надо придумать другую. Буду кухаркой. Пора их, наконец, научить. Они что делают: когда борщ готов, вынимают капусту, буряк, картошку – и в миксере растирают, в кашу. А потом обратно выливают. И эта бурда у них – борщ?! Или вместо сметаны сладкие сливки добавляют. Кошмар! То ли дело у нас. Кстати, пора попробовать.

Решила перекусить, а то гости опоздают, и я буду кусаться. Или дело не в этом? Не из-за голода же я так агрессивно настроена.

А борща много вышло, не съедим, останется. И кому? Оля только на выходные приедет, борщи столько не живут. Да она его и не любит, боится лишнюю ложку проглотить, чтоб в джинсы влезть. Любая мини-юбка приличнее, чем эти штаны. Я как-то увидела, как она на улице присела, кеды зашнуровать. Ужас! «Штаны подтяни, все видно!». А она – спокойно: «Я знаю». А кеды? Мы такие только на физкультуру надевали. Но вообще-то, она у меня хорошая, зря ворчу. Сейчас, перед отъездом, обняла, говорит: «Мам, а давай тебя замуж выдадим? А что, ты еще совсем не старая и не толстая». У нее один критерий: толстая – не толстая. Помешалась на фигуре. Они сейчас все такие, думают, главное, чтобы ребра выпирали. Глупенькая.

Так хочу я знакомиться или нет?

Что делать, когда не знаешь, что делать? Бери листочек и дели его пополам. На одной половине, в колонку, все аргументы «за», на другой – «против». Плюс – минус. Потом смотришь, чего больше. Простая арифметика.

Я взяла старую тетрадку с записями. Какие рецепты… Прошлый век. Трюфели. Мы с Машкой делали. Сухое молоко, масло, какао. Двенадцать коржей! Это я такое пекла?! На это же целый день надо угробить. «Когда придешь, позвони мне на работу». Это он. Мобильных не было, записки писали. Всегда так – без обращения. «Позвони». И все. Лаконичный до скупости. Вообще, не сказать, чтобы он был жадный, но не щедрый. Это – разница. Хорошо, что нам не пришлось квартиру делить. Боюсь представить. А так у него родительская освободилась.

Пишем рецепт счастливой жизни. «Надо. Не надо». Нет, не так… «Нужен». «Не нужен».

«Замуж выдадим». Оля просто не представляет, что это такое – чужой мужчина. Мы же вместе жить будем. Ванная по утрам. Кто что по телевизору смотреть будет? Музыку громче или тише? Белье где попало не бросишь. Это с родным папой легко и просто, привычно. А тут посторонний человек. У Оли чуть что – слезы, переходный возраст, обидчивая. И я буду между ними метаться? И одну ее пока не оставишь, восемнадцать лет. Себя вспоминаю. И с бабушкой жить не лучший вариант. У мамы от одних ее джинсов давление прыгнет, а еще любимую музыку включит? Нет уж, спасибо. Значит, очко не в его пользу. Даже если он милый, как Санта-Клаус, и Оле понравится. Я буду стесняться. Не его – ее. Мне для счастья норка нужна. Что я говорю? Норка! Не мех, конечно, не шуба. Норка. Нора. Свое гнездо. Убежище. Где уютно и нет никого лишнего. Чтобы никто не видел, какими глазами я на любимого смотрю, и как он меня по голове гладит. Никто. Даже дочка.

Машка сказала: только не устраивай торжественный прием, белую скатерть и салфетки в кольцах, не надо, давай посидим по-старому, как раньше. Но хоть какую-то красоту можно устроить? Сервиз, фраже. Я, например, люблю свечи на стол ставить. Когда маленькая была, любила смотреть на огонь. Меня папа как-то на рыбалку взял с ночевкой, мы костер развели, картошку пекли. Мне она не понравилась, сначала – сильно горячая, а когда остыла – невкусная. Только руки пачкала… А в костер я влюбилась. Смотрела на пламя и не могла оторваться. Дома такого огня, конечно, не было. Газ на кухне? Не то! Он не красный, а голубой, и горит ровно. «Не колыхается», как я говорила. Папа смеялся… В общем, плита

скучная, во дворе костер разводить нельзя – мальчишки пару раз сухие листья подожгли, так дворничиха родителям нажаловалась!.. И вдруг зимой стали отключать свет. Не помню, почему, но пару раз в неделю по вечерам мы сидели при свечах. Все расстраивались, что нельзя смотреть телевизор, «Семнадцать мгновений весны» или хоккей, мама еще переживала, что сидит без дела – куча стираного белья, и не погладить. А я радовалась. Потому что зажигали свечи. Я садилась у стола и смотрела на огонек, потом играла с ним. Палец ближе, ближе… Бабушка говорила: обожжешься! Мама ворчала: пускай – будет знать! Я рассердилась – и сунула палец прямо в огонь. Больно было, конечно. Потом нашла способ – быстро-быстро проводила по самому огоньку, он лизал пальцы, а обжечь не успевал. Вот Оля совсем не такая. Если я предупреждала – не трогай утюг, не подходи к собачке, то она не трогала и не подходила. Я – совсем иначе. Знала, что огонь обжигает, – и все равно лезла. Все равно пыталась найти способ прикоснуться.

Решено, поставлю несколько маленьких свечей. И не будет это выглядеть как интимный ужин, нас же трое. Свечи – это так уютно!

В поисках свечей я углубилась в шкафчик. И от романтики польза – нашла супницу. Раритет. Как это я ее не выкинула? Главное, чтоб в нее влезло. Столько лет я все на троих готовила. Потом на двоих. Потом на одну. Нечет. Чет. Нечет. Арифметика. Конечно, элегантно – подавать суп в такой емкости. Но дома, где все свои, переливать туда-сюда? Проще из кастрюли. Сервиз имени свекрови. Подарок, на двадцать четыре персоны. Как в этой квартире столько могли поместиться? Только стоя. А сама всю жизнь из кастрюли наливала, на всех один нож на столе, зато в гости придет: «Что вы супницей не пользуетесь?». Сегодня попользуюсь. Сразу два раза, первый и последний. Правильный стол накрою. Сообразим на троих на высоком уровне. Кстати, и со спиртным пора определиться.

Как за последний год все изменилось: такая коллекция спокойно в баре стоит, и прятать не надо. Коньяк к борщу не годится. Значит, гостю водка, нам вино. Хотя к селедочке я бы пила водочку. Но нет, нехорошо, мужчина придет знакомиться, а я – водку?

Убрала бутылки в холодильник. Ну и что? Чихать, что он подумает. Лично я его не звала. Изображать трезвенницу не собираюсь. Да, не двадцать, курю и водки не чураюсь. А еще у меня

дочка, мама-гипертоник и аллергия на кошек. И без стыда признаюсь, что не люблю джаз, а люблю оперетту. А кому не нравится – дранг нах Дойчланд. И дальше по тексту.

Опять я развоевалась. Никто от меня ничего не требует. Не захочу – не буду. Налью соискателю и все пойму. Человек, когда выпьет, сразу проявляется, как негатив… на фотобумаге. Главное, чтоб буянить не начал. Всякое бывает. Мой становился придирчивым. «Почему Оля бросила музыку? Как – не хочет ходить, почему не заставила? Где программа на неделю, я на телевизор положил, где она?» А часы? «Мне этот дятел надоел. Выключи ее! Пусть часы будут, только без «ку-ку». Как это – нельзя выключить?» Подошел – и кулаком…

Вот так… жили-были… дочку родили. Он очень сына хотел, но на второго не решились. В общем, были муж-жена, а стали папа-мама. А потом она выросла и уехала учиться, и мы опять стали мужем и женой. Нет, вру, не стали. Как-то все само собой сошло на нет: он не дотронулся – я не прикоснулась. Я не позвала – он не повернулся. Пауза затянулась… Перешла в обиду. А потом както уже и не хотелось. И тогда стало ясно: папа такой, может, и нужен, а муж – нет. Наш брак стал похож на загнутые в разные стороны ресницы на одном глазу. Бумаги на развод подаю, адвокат спрашивает: муж пьет, бьет, гуляет? Говорю: нет. «Значит, так и запишем – не сошлись характерами»…

А если заново? Трудно представить, но бывает. Разводятся, расходятся, а через пару лет опять съезжаются. Потому что другой семьи не вышло, а бывший муж все равно родной. Я бы могла так? Могли бы мы опять? Нет. Не смогли бы. Я бы не смогла. Год прошел. Больше – пятнадцать месяцев. А у меня его фраза в ушах звенит: «Тебя никто не выдержит!». Никто?! Нет, назло ему. Чтобы доказать. Просто ради эксперимента. Неужели он прав? Неужели меня нельзя выдержать? Можно меня выдержать, даже если на руки взять.

Я решительно достала из холодильника бутылку. Это надо отметить: в графу «нужен» – плюс, в рюмку – спиртное. Символически, пару капель, и закусить конфеткой… Какая дура поставила коньяк в холодильник? Вот так, живешь сама, наливаешь сама, к себе и все претензии.

Конечно, одиночество это свобода. Но это когда не навсегда, когда с ним можно расстаться. Бывают моменты, когда самой лучше, хочется забраться в раковину, как улитке. А потом проходит время – и выглядываешь, смотришь, не идет ли кто. И который твой? Хорошо самолетам: у них есть позывные «свой – чужой». А у людей нет. И как свое счастье от чужого отличить?

Мне что, нравится быть одной? Смотря когда. Спать одной ложиться тоскливо. А просыпаться? Просыпаться веселее. Я с утра не красавица. Люблю себя в порядок привести. Кофе выпить без свидетелей и без разговоров, молча. А у него по утрам всегда были вопросы. А я: «возможно, наверно». Сердился. Кто вообще сказал, что женщины болтливые? И Оля меня понимает, никогда с утра не дергает, мы очень душевно молчим вдвоем. В общем, засыпать с мужчиной приятно, а просыпаться… Где бы такого взять, чтобы к утру исчезал? Искать вампира. Кстати, про чеснок в салат я так и не решила.

Достала салатницу, попробовала. Нет, без чеснока – не то. И потом, вампиры же не только кровожадные. Энергетические опаснее. Сидишь, общаешься, потом еле до кровати доходишь.

А может, все-таки кулинарный тест устроить? Борщ пересолить. Посмотрим, как жених себя поведет. Скажет: «Влюбилась хозяйка!». Банально. А если поймет, что специально? Встанет и уйдет. Значит, нервный и без чувства юмора. Такого нам не надо. А если будет молча есть? Соляной барьер высокий? Или покорностью берет? Чем еще берет? Борзыми щенками? Автопокрышками? Да и потом, проблема ведь не в здоровье, хороших манерах, чувстве юмора или его отсутствии. Это все детали. Настоящая проблема в том, чтобы найти того, с кем хотелось бы проснуться! Нет, не буду я пересаливать. Борщ жалко!

А селедку я хорошую купила, вкусную. Сейчас картошку – ломтиками, сверху селедочку, потом лучок зеленый, маслинки. Красота! Кстати, в одной кулинарной книге увидела такой рецепт: картошка, селедка, лук, уксус. И называется все это салат «Пикадилли». Интересно, англичане в курсе? Наша самая простая закуска – и Лондон. Где связь? Хотя говорят, там уже полмиллиона наших, скоро в Лондонград переименуют. Ладно, назовем «Пикадилли». И еще один салатик – у приятельницы на дне рождения была, рецептик позаимствовала, хоть что-то хорошее за вечер.

Не люблю дни рождения. Заканчиваются еще хуже, чем начинаются. Поздно, темно. «Все девчата парами, только я одна». Начинаются разговоры – кто проводит? Некоторые молчат, другие рассуждают, кому в какую сторону ехать. В результате провожают взглядом, а я такси заказываю. Водитель мрачный, на руке наколка «Вася», представляется Петей. Счетчик не работает. Нет, кавалер нужен! Ставим плюс.

Не хотелось мне на этот день рождения идти, но она звала так настойчиво. Вот как объяснить, что без мужа на домашних застольях некомфортно! Прихожу, сажусь с краю. Тут какая-то… вешалка для бижутерии… захихикала: ой, вам на углу нельзя, примета такая, замуж не выйдете. Я улыбнулась на все тридцать два с металлокерамикой и говорю, что хочу немножко отдохнуть от предыдущего замужа, поэтому специально села поближе к балычку, Вам ведь жирного нельзя? Она от возмущения чуть маслиной не подавилась. Конечно, на ней блузка по швам трещит. А рядом пара. Он достает из ее сумочки платок, сморкается и кладет обратно. Понятно, что муж и жена. Уставился на меня. На тарелку мне подкладывает, в рюмку подливает, потом пачку протягивает, зовет на балкон. Соврала, что не курю. Сам пошел. А жена в тарелке ковыряет и глаза поднять не может. Тогда я ей водку налила. Себе тоже плеснула. Она со мной чокнулась, залпом выпила, зажмурилась, вроде от водки, а у самой вот-вот тушь потечет. Все меня, одинокую, жалели, а она завидовала. Муж на нее внимания обращает не больше, чем на швабру, но она от него не уйдет. Потому что у нее двое детей и секретаршина зарплата. Понятия не имеет, как квартиру разделить, и кому она нужна в сорок три с двумя пацанами? С мужем плохо, а без него… Не умеет и боится. И завидует. Но никогда в этом не признается, даже себе. А я умею быть одна, я и без мужа себя с дочкой нормально содержу. Он, правда, ей иногда подкидывает что-то, по мелочи, на кино и колготки. А в основном мы сами. Нелегко, конечно, но не смертельно. В общем, могу сама и не хочу слезы вытирать. Минус. Минус – большой и жирный! Где у нас графа «Не нужен»?

Нужен – не нужен. Подруга на работе говорит: ты нерешительная, выбрать не можешь, бери в пример Скарлетт. Притащила, не поленилась, «Унесенные ветром», два тома. Толстющие! Скарлетт.

Красотка в локонах. А характер железобетон. «Парень, к ноге, к ноге, кому сказала?! Пошли под венец!» Три брака за десять лет и все по расчету, ни одного мужа не любила, а если какая проблема – «Я подумаю об этом завтра».

Наверное, другая не сидела бы тут с борщом, а поехала бы на этот рекламный вечер. Ресторан, незнакомые люди, музыка. Так и знакомятся. Может, дело в том, что мы не так уж давно разошлись. Еще слишком помнится, как было больно и плохо. Пока еще нравится быть одной. А может, уже пора решиться? Может, и в самом деле выиграю поездку в Париж? Сижу в кафе на Елисейских Полях, и тут подходит он!.. Ален Делон.

А мне зачем прямо сейчас что-то решать? Ну, придет… Может, такой жуткий, что и думать не о чем. Мне еще не так плохо, чтоб вместе с кем попало. А вдруг наоборот, красавец мачо? И я ему не понравлюсь? Тогда тост добрых женщин: «Пусть плачут те, кому мы не достались! Пусть сдохнут те, кто нас не захотел». А если я никогда не влюблюсь? Чем бы это счастье ни пахло. Инстинкт самосохранения? В молодости сначала больно, потом приятно. В зрелости – наоборот: сначала приятно, а потом больно. Часто – очень.

Я попыталась раздвинуть кухонный стол, но не смогла справиться с механизмом. Но я же его раскладывала! Попытка номер два удалась. Да. Все сама-сама – тяжело. Надо ставить плюс. А потом его упрашивать что-то сделать? Лучше сразу ни на кого не рассчитывать, а вызвать мастера и заплатить. Вон, все столбы в рекламе, «Муж на час». Зачем на всю жизнь? Значит – минус. Итого: плюс-минус. В результате ноль. Ничья… И я ничья…

Ничья, нерешительная, в разводе всего год, и ничего мне пока не надо, а он, гость? Почему в нашем возрасте один? Почему его никто не охомутал, вон сколько вокруг решительных. Характер тяжелый? Жадный? Интересно, он с цветами придет или без? Прагматики считают – лучше конфеты. А я больше цветы люблю.

Вазу я все-таки принесла, заодно и скатерть разложила, приборы расставила, в центр стола – супницу. Красота, знай наших. Только стол, оказывается, шатается. Раньше не шатался. На меня в кафешках официанты как на ненормальную смотрят. Я сажусь и сразу начинаю искать, что под ножку подсунуть. Интересно, в парижских кафе столики шатаются?

Муж в последний раз принес семнадцать роз. У меня день рождения семнадцатого. Но было грустно. Я уже тогда понимала, что мы вот-вот расстанемся. Вспоминалось хорошее, такое вспомнилось, что и рассказать не могу. Не потому что неприлично, а потому что слов таких нет. В общем, было в нашей жизни прекрасное – жалко, что серо закончилось. А розы стояли красивые, но через несколько дней умерли, как все умирает. С тех пор цветы не покупала. А еще мне грустно, когда показывают соревнования ледорубов… нет, ледорезов. Которые статуи изо льда вырезают. Дворцы, лебеди, жар-птицы. Все сверкающее, хрупкое, но скоро растает. Как любовь.

Вернемся к гостю. Может, все-таки переперчить борщ? Вдруг больной, и буду я всю оставшуюся жизнь слушать про изжогу и каши варить. А если с желудком в порядке? Перец ничего не даст, только ужин испорчу. А потом его радикулиты растирай.

И все же, если здоровый, почему один? Неуживчивый? Мне только придирок недоставало. Или ревности. Аферист? Квартиру захапает. А что, сейчас легко, главное деньги на юриста иметь, все что хочешь отсудить можно. Или вон по телеку показывали: любовь, чувства, а через неделю ни денег, ни ценностей.

Все мы такие умницы, красавицы, продвинутые, образованные. «Двенадцать стульев» читали, или, по крайней мере, кино смотрели. Но каждая уверена, что чувства настоящие! Никто себя мадам Грицацуевой не считает… Надо же, опять литература не помогает.

Нет, ерунда. Афериста Маша не приведет. У нее все четко: аусвайс, фейс-контроль, отпечатки пальцев. Я знаю, что мне не нравится. Мне не нравятся мужчины, которых друзья с женщинами знакомят. Я-то люблю решительных. Напористых, сильных. А тот, которого водят и невест ему демонстрируют… Минус! Хотя на улице я тоже не знакомлюсь. Они же ко всем пристают, озабоченные.

Правда, однажды встретился… Вежливый. Давно. На улице поскользнулась, упала. Сумку уронила, все рассыпалось. Вдруг машина рядом останавливается, дорогая, красивая, водитель выходит, руку подает, помогает подняться. Рука крепкая, взгляд уверенный. «Женщина, у вас голова кружится? Вас подвезти?» Так захотелось сказать: кружится. Но подумала – муж, дочка. «Нет, – говорю, – спасибо, все в порядке».

Хорошо, тогда это можно было объяснить моей верностью. Хоть звучит красиво. А сейчас? Неуверенностью, ленью, занудством, фригидностью? Чего сижу, ситуация-то все равно не меняется. Решено, звоню ему еще раз.

Какой приятный женский голос… «Он не может подойти, перезвоните через полчаса». Ну, погоди, позвонишь – попрошу гостя трубку снять, надеюсь, с голосом у него все в порядке. В графу «Нужен» ставим плюс! Надеваем красивое платье, туфли на каблуках, любимый кулон, серьги.

Теперь бы прорубить окно в Европу… Вот и пригодился топорик, который столько лет пролежал в углу шкафчика. Никогда не думала, что так легко с этим справлюсь, два удара – и все, теперь я выходная. И входная. Коня на скаку остановит, топориком дверь отопрет.

Стоило ненадолго отлучиться – новое сообщение на автоответчике. Это Машка, точно, с детства у нее талант – звонить именно в те минуты, когда я занята.

«Здрасьте. За хлебом вышла? Слушай внимательно. Гостю тапочки не подсовывай, в Европе обувь не снимают. В туалет два рулона бумаги. И удели внимание белью, чтобы одного цвета. Может, уйду пораньше. И не душись много. Дурной тон. Скоро будем».

Так. Ну, все. Спасибо, Маша, я запомнила. Где мой рецепт счастья? Нужен – не нужен, плюс-минус, чет-нечет. Долой! Порвала эту бумажку на мелкие кусочки.

Я знаю, где надо знакомиться. На презентации. Фуршет, коктейль… И меня кто-то пригласит на чашку кофе. В Париж, где столики не шатаются. И все в белье. Одного цвета.

Моя тарелка на этом столе явно лишняя, убираю. А записку гостям я решила воткнуть в дверь. «Заходите, не заперто. Борщ на плите, остальное в холодильнике. Не забудьте сметану. Борщ с ней вкуснее, как Германия с немцами. Руки об скатерть не вытирать. Будете уходить – дверь прикройте плотно».

Если плотно прикрыть, то не заметно, что не заперто. И вообще – кто заметит? Верхний этаж, посторонние сюда не забираются. А если заберутся?.. Я подумаю об этом завтра! Всем привет!

Я теперь выходная и все могу. Может, я схожу с ума? Да, схожу. С того ума, который был, я схожу. И сажусь на другой.

В конфетнице на холодильнике я нашла брошенную туда рекламную открытку, положила в сумочку и направилась к выходу из кухни. Теперь все будет по-другому.

Кукушка из настенных часов прокуковала семь раз впервые за последние семь лет.



Александр Сороковик

Старый дом

Старый дом придется продавать, это однозначно. Последние два года любой разговор с детьми начинался и заканчивался этой темой. Сын с дочерью уже все давно определили и разделили: бо́льшая часть достается Анатолию, он обменивает свою двухкомнатную квартиру на четырехкомнатную, забирает к себе отца и досматривает его. Дочь Татьяна свою долю вкладывает в расширение совместного с мужем бизнеса, жилищный вопрос их пока не волнует. В эти радужные планы не вписывалась только одна досадная загвоздка: их отец, дед Михалыч, как его все называли, продавать дом категорически не хотел.

Строго говоря, это был не дом, а дача. Добротная постройка начала 1950-х годов состояла из двух больших комнат и примыкающей к ним летней кухни, вокруг которой располагался ухоженный сад, огород, различные сарайчики. За домом Иван Михалыч тоже ухаживал, ремонтировал, ежегодно по старинке белил известкой.

Газ в дом не провел, готовил неприхотливую еду на электроплитке, зимой топил печку, водопроводный кран был только во дворе. В общем, все здесь как бы застыло в 1960-х, когда молодой Ваня жил в этом доме еще со своими родителями. В те годы это была окраина города, курортное место для отдыхающих, заполненное дачным народом в летний сезон и пустеющее зимой. Однако с середины 90-х на месте небольших дачных домиков стали вырастать двух-, а то и трехэтажные особняки городской элиты, да и просто крутых авторитетов. Простых хозяев, живших, как дед Михалыч, в старых домиках, становилось все меньше. С каждым годом земля дорожала, район становился одним из самых престижных в городе. Те, кто не мог построить дорогой

особняк, под давлением богатеев продавали свою землю и покупали удобные городские квартиры с газом, центральным отоплением, горячей водой, беспрерывным шумом, загазованным воздухом и прочими радостями прогресса.

Сегодня дед Михалыч ждал в гости сына с семьей. Он замариновал мяса для шашлыка, наловил и нажарил бычков. На огороде дожидались крупные натуральные, без химии, помидоры и огурцы, а в погребе банки с домашним вином и соком для детей. Однако вечером Толя приехал один и, пряча глаза, бубнил, что его Лариса занята на работе, у детей какие-то свои дела, а он вот вырвался на часок посидеть с отцом, даже машину не брал, чтоб вина выпить. Да и поговорить надо… Михалыч устало махнул рукой и побрел в погреб за вином. Он понял, что все бесполезно, дети не отстанут от него.

Никогда ни Толя, ни Таня не любили этот дом. Они родились в городской квартире, которую получила жена Михалыча Люся на своем заводе. Ваня с Люсей обитали в ней зимой, а в конце весны перебирались сюда и жили до осени. Ходили на море, копались в огороде, крутили на зиму под руководством Ваниной мамы компоты и соленья. Наверное, это было лучшее время в их жизни. Потом дети начали взрослеть и постепенно охладевать к их старому дому. То у них были занятия в школе, то летние школьные лагеря, а попозже поездки за город с компанией сверстников. Патриархальная дачная жизнь с родителями в доме без удобств их уже не прельщала. Да и Люся все чаще оставалась летом в городе – за детьми надо присмотреть, накормить, проследить; ну и вообще, в квартире комфортнее… Постепенно они так и стали жить: он на даче круглый год, а дети с женой в городе.

Дети выросли, обзавелись своими семьями. Один за другим ушли его родители, а затем умерла и Люся, сгорев от онкологии за три месяца; потом началась перестройка. Дед Михалыч гордился тем, что в этой смуте его чада не сгинули, сумели приспособиться. Толя после разных передряг пробился на руководящую должность небольшого, но процветающего предприятия, жена его была главбухом в крупной торговой фирме. Таня с мужем начинали с «челноков», а сейчас имели на крупнейшем оптовом рынке три магазина и жаждали расширяться дальше.

Но если дети его еще как-то бывали на даче, то внуки не понимали такую жизнь в принципе. Несколько раз они приезжали к деду, но почти сразу начинали рваться назад. Это было уже поколение Интернета, виртуального общения, спутникового телевидения, выросшее на импортных йогуртах, кока-коле, чипсах. Они совершенно не воспринимали деда с его дачей, огородом, помидорами с грядки, грушами с дерева. А ведь он так мечтал, что летом с внуками будет жить на даче, ходить на море, ловить бычков. Пустые мечты… Все обитатели этого курортного места на море не ходили. Они ездили отдыхать на пляжи в Египет, Турцию, а то и в Европу. И зачем тогда покупать дом на берегу моря?

Михалыч сидел с Толей уже второй час, устало выслушивая в сотый раз о прелести жизни в городской квартире на 19-м этаже, с дрожью вспоминая, как ему однажды пришлось три дня прожить у сына, как страшно было смотреть в окно, как ночью во дворе все время орала автомобильная сигнализация, соревнуясь в громкости с эстрадными воплями, как соседи справа за стеной громко ругались, а над головой топали соседи сверху…

Он остановил сына, подумал еще немного, словно отдаляя миг, после которого уже не будет хода назад, и вяло сказал:

– Ладно, додавил, продавайте дом. Только учтите, говорю сразу и бесповоротно – в твоем муравейнике я жить не буду!

– Как не будешь? – Толик сразу подобрался, посмотрел на отца недоверчиво. – Почему? Тебе же трудно одному, без удобств! А там у Лариски всегда обед приготовлен, ванна с горячей водой…

– Знаю я Лариски твоей обеды. Что там она приготовит, если весь день на работе? Пельмени из магазина? Или химию быстрого приготовления? Извини, сынок, но я привык к здоровой пище, к морскому воздуху, к тишине. Правда, тут у меня в последнее время с тишиной тоже проблемы, да и здоровой пищи все меньше, но все равно не сравнить с вашим скворечником…

– Папа, ну как же так? Я ведь хочу как лучше, чтоб ребятам по отдельной комнате, тебе тоже, досмотрим, как полагается…

– Меня, Толя, досматривать надо только в твоих хоромах, там я загнусь очень скоро… А на вольном воздухе еще долго проживу, и здоров буду. Что касается ребят, то им по комнате можно устроить и в «трешке». В общем, так, сынок! Сам запомни и сестре пере-

дай. Продавайте дом как хотите, тут ваша взяла. Но из тех денег я возьму ровно столько, чтобы купить себе домик за городом, переехать туда, ну там, устроиться на первых порах. Не бойся, я дорогòй дом брать не буду, куплю вдали от города, лишь бы у моря. Гостить вы все равно у меня часто не будете, а пару раз в год и так приедете.

Анатолий хотел что-то возразить, но Михалыч поднялся и внятно сказал:

– Все, сынок, разговор закончен! Иначе никакой продажи вообще не будет! – он пошел к дому, давая понять, что вопрос исчерпан.

На следующий день примчалась Татьяна, тоже пыталась уговорить отца и получила такой же ответ. Больше они к этой теме не возвращались, зная его упертый характер. И то спасибо, что вообще согласился продавать!

Следующая неделя прошла спокойно, а потом начался шквал звонков – звонили покупатели, посредники, какие-то вообще непонятные личности. Задавали множество вопросов, требовали снизить цену, предлагали варианты обмена, уговаривали его после продажи вложить деньги в «абсолютно беспроигрышное дело», с тем чтобы через три месяца удвоить их. Как оказалось, Толя во всех объявлениях о продаже указал кроме своего еще и его телефон. Михалыч выбросил из телефона карту, купил и вставил новую. Позвонил Толику и вдрызг с ним разругался; тот оправдывался, что сам не ожидал такого. В конце концов постановили, что все предварительные переговоры будут вести Толя или Таня, а Михалычу придется только принимать гостей, для того чтобы показывать дом.

– И учтите, – добавил он, – все разговоры за цену ведите сами, мне все равно. Я свою долю забираю по-любому, а вы делите как знаете.

– Папа, а может, еще передумаешь? С покупкой-то…

– Все, закрыли тему, – Михалыч поднял руку и как бы отмахнул ею от себя.

Теперь стало поспокойнее. Звонили только договариваться о просмотре. Он никому не отказывал, показывал свой дом всем желающим, отвечал на вопросы о соседях, однако обо всех прочих делах отсылал говорить к детям.

Наступала осень… Михалыч с тоской смотрел на свой дом, на сад, полный спелых плодов, на грядки с помидорами, на ряды клубничной рассады. Каждый год повторялось одно и то же: овощи и фрукты созревали, радовали глаз, но никому не были нужны. Он звонил детям: «Приедьте, заберите, внуков угостите».

– Да-да, конечно, может, к концу недели, сейчас много работы, ой, а на выходных мы обещали к Пашке с Ленкой на шашлыки…

– Так ведь шашлыки и у меня можно сделать, приезжайте с детьми, фруктов поедите, на море сходим…

– Ну, может, через выходные, а то друзья все-таки, мы обещали…

А через выходные у Ларисы начинался квартальный отчет, а потом у внуков поездка куда-то, а Танька с мужем вообще жили на своем рынке… Как-то в минуту откровенности Толик все ему объяснил:

– Ты, папа, остался в середине 20-го века, а у нас сейчас 21-й. Темп жизни уже не тот! Мне сейчас проще купить кило тех же помидор в магазине по дороге домой…

– Да разве можно сравнивать! В тех помидорах уже нет ничего, химия одна! Да и деньги-то зачем тратить? – обиделся Михалыч.

– Да какие там деньги, папа? Я, слава Богу, хорошо зарабатываю, чтоб такие крохи не считать… – Толик хотел добавить, что к отцу нельзя заскочить как в магазин на три минуты, а надо посидеть, поговорить, неспешно попить чаю за столиком под вишней, вспомнить какие-то забавные истории из своего детства, которые происходили в этом доме; просто помолчать, вдыхая вечернюю прохладу летнего воздуха, а потом завернуться в одеяло, улечься на старую панцирную кровать на открытой веранде и уснуть под стрекотание кузнечиков, под мягкий свет дивных южных звезд… нет, нет, Толик тряхнул головой – ты пойми, сейчас, чтобы заработать приличные деньги, надо как белка в колесе… с утра до вечера… света белого не вижу…

Михалыч уныло кивал и уже без особой надежды предлагал:

– Ты хоть осенью, раз в год приедь, закрутки возьми… ведь вон, полный погреб…

– Ну, осенью... да-да, может, приеду, пару банок заберу…

…И слышал дед Михалыч невысказанные мысли сына, что не нужны ни ему, ни сестре, ни их детям его компоты и соленья, что внуки пьют в школе вредную газировку, едят дома «разносолы» из супер-

маркета, и никто не хочет возиться с дедовыми закрутками, да и с самим дедом, старым, неторопливым, напрочь отставшим от жизни…

Кому теперь достанется его дом, сад, огород? Покупатели приходили все больше быковатые, «чисто конкретные», а ему так хотелось, чтобы старый дом купила какая-нибудь большая семья с детьми, он бы и закрутки все им оставил…

И наступил дождливый осенний день, когда Толик объявил, что с покупателем все договорено, в цене сошлись, подписание документов – через месяц. Пора отцу думать о переезде.

– Ты, папа, взвесь все хорошенько, – суетилась около него Таня, – у Толика тебе было бы лучше, там и уход, и вода горячая…

– Все, хватит, – он сморщился, замахал руками, – не трогайте меня…

В ближайшее воскресенье дед Михалыч на пригородном автобусе поехал в давно облюбованное место: небольшое село на берегу моря – час езды от города. Было начало октября, погода стояла дождливая, ветер гнал вдоль дороги мокрые пожелтевшие листья, обрывки бумаги, прочий мусор. Море накатывалось на скалистый берег, оставляя лопающиеся пузыри грязной пены. Пляж среди скал был неудобным, спуск к нему крутым и долгим, путь из города неблизким, поэтому село избежало наплыва курортников, и никто из «крутых» свои дома здесь не строил.

Он зашел в небольшой магазинчик в центре села с полуоткрытой верандой-баром, приметил за столиком двоих мужиков своего возраста, явно местных жителей, обычных дедов, любящих в выходной день посидеть за кружкой пива, но и не алкашей. Взял себе пива, попросил разрешения присесть. Разговорились. Дед Михалыч заказал для всех еще по кружке, рассказал про то, что хочет купить здесь домик, и через полчаса имел всю нужную информацию.

– Тебе, Михалыч, определенно к тетке Нине нужно, – степенно говорил старший собеседник, неторопливый Николай Степанович, – у нее дом и небольшой, как ты хочешь, и ухоженный, и близко к морю.

– А чего ж она продает его? В город захотелось?

– Да какой там захотелось! Ей в городе больше чем на раскладушку в кухне рассчитывать нечего! Да и ту у чужих людей…

– Как, у чужих? – удивился Михалыч.

– А так, – разгорячился второй собеседник, суетливый плюгавый Миша, – зять ее на заработки уехал, стало быть, в Россию. И так ему там понравилось, что и жену, Нинкину дочку, и Петьку, внука ее, к себе вызвал. А квартиру нашу, Нинке наказал, сдавай, стало быть, и деньги нам высылай. Ну, она и сдавала…

– И досдавалась, блин… – прервал Мишу Николай Степанович, – приехала осенью в том году, а там уже мебель выносят… В общем, чуть не отобрали у них жилье; хорошо, зять вовремя примчался, успел этих аферистов перехватить, отстоял квартиру. Теперь сдает через агентство, а Нинке счет выставил – сколько здесь заплатил, да сколько там потерял, пока сюда мотался… «Я, говорит, свой бизнес хотел открыть, а теперь что? Так что вы, мамаша, дом свой продавайте, а мы когда на ноги станем, вас к себе заберем»…

– Ага, заберут они! – взвился неугомонный Миша. – На кой она им там нужна!

– Нинка ведь не о том переживает, как она без угла останется, а о том, как Петеньке некуда летом будет приехать, клубнички свежей покушать…

– А Петенька, здоровый, стало быть, лоб, бабке не написал даже ни разу, привета не передал…

Было уже далеко за полдень, когда дед Михалыч постучался в калитку к тетке Нине. Она оказалась невысокой опрятной женщиной с доброй, немного растерянной улыбкой. Домик был ей под стать: небольшой, ухоженный, с аккуратным огородиком. Правда, опытный взгляд Михалыча сразу определил нехватку мужских рук: плохо заделанную дыру в заборе, расшатанные половицы, слегка протекшую крышу. Он повернулся к хозяйке:

– Хороший дом, мне нравится. Дорого просите?

– А вы серьезно покупать хотите или так, интересуетесь?

– Да уж куда серьезней, мне через месяц свой дом освободить надо…

– А зачем же дом на дом меняете?

– Ну, детям помочь надо. Дом-то у меня в городе…

– И мне дочери надо помочь, – усмехнулась Нина, – так что не обессудьте.

Она назвала цену, довольно высокую, но Михалыч лишь кивнул.

– Только я должен сразу после оформления въехать, мне там на пятки наступают… – смущенно добавил он. – Вы как… сможете выехать? Есть куда?

– Когда надо – тогда и съеду, – спокойно ответила Нина.

Они обменялись телефонами, и Михалыч уехал. На душе было неспокойно. Ему понравились и дом, и его хозяйка. И что же теперь, выгонять ее на улицу?

Он позвонил Толику, сказал, что нашел себе новое жилище. Сын выспросил все подробности: где, что да почем; сердито пыхнул и попросил его завтра быть дома – они с Таней приедут, привезут покупателя с родней для окончательной утряски всех вопросов.

Назавтра прикатили целым табором: Толик с Ларисой, Таня и покупатели. Кроме быковатого средних лет мужика, которого дед Михалыч помнил, прибыла и его свита: жена, моложавая сухопарая блондинка в кольцах и серьгах, и дочка – юное длинноногое жующее создание в мини-юбке и плащике под леопарда, очень хорошенькое, если бы не слой дикой косметики.

– Вау, какие яблоки прикольные! – восхитилась она. – Можно?

– Конечно, можно! – он сорвал самое красивое яблоко, протянул девушке.

Та очень мило улыбнулась и с хрустом откусила здоровый кусок. Михалыч воспрянул – может, несмотря на свою быковатость, этот тип сбережет его дом? Ну, перестроить, удобства провести, это понятно; огород тоже – кто с ним возиться будет? Но сад – пусть себе растет… Он подошел ближе – мужик говорил с супругой, показывал куда-то в угол, где росла груша.

– Это зимняя, поздняя, – он неуверенно улыбнулся, – а вон там – ранние яблони, они ухода особого не требуют…

Мужик скользнул по нему непонимающим взглядом, продолжая свой разговор. Дед Михалыч услышал обрывок фразы: «Бульдозер сюда не заедет, придется работяг нанимать…» – и пошел дальше, уже не пытаясь завязать беседу.

– Вы папеньке все это даже не рассказывайте, – услыхал он за спиной звонкий голосок их молоденькой дочери. Она смотрела на него безмятежным слегка сочувствующим взглядом, – он уже

тут все распланировал: дом, газон, двор в плитке, ну как у ваших соседей, – она махнула рукой в сторону забора.

– А как же сад, деревья? Ведь яблоки, груши… сливы… Неужели ему не надо?

– На фига оно ему? Мамашка тут цветуёчки посадит экзотические, по триста баксов за стебель, чтоб знакомые, значит, от зависти сдохли.

– И тебе не надо? Ты же вроде любишь…

– А мне пофиг! – она улыбнулась вполне дружелюбно и пошла прочь.

Покупатели еще долго о чем-то спорили с Анатолием и Татьяной, решали какие-то вопросы, потом наконец уехали. Сын присел к столу, за которым неподвижно сидел Михалыч, и решительно начал:

– Вот что, папа! Как хочешь, но мы с сестрой категорически против твоей покупки. Где-то на задворках цивилизации, опять без удобств. Мы ведь, если что, даже приехать не сможем. Да еще и цену заломили! Это же выброшенные деньги. Мне теперь не расшириться толком, Таньке бизнес не развернуть!

Дед Михалыч поднял на сына угрюмый взгляд и медленно, веско сказал:

– Вот прямо сейчас позвоню этим твоим… скажу, что передумал и ничего продавать не собираюсь, и будете вы сами с ними разбираться: я никому ничего не обещал, переговоров не вел, и вообще, старый маразматик, что с меня взять? Смотри на них! Озаботились, что приехать не смогут! Вы сюда-то приезжали три раза в год, и ничего, не переживали. Хватит! Еще один намек и – не обессудьте, – он тяжело поднялся, пошел в дом.

Затихло вдали суетливое шуршание шин Толиного джипа. Михалычу не спалось. Все представлялась ему толпа «работяг» с ломами и лопатами, крушащих его дом и сад, закатывающих в асфальт огород вместе с помидорами и баклажанами… И только под утро его одолел тревожный неглубокий стариковский сон…

До переезда оставалась неделя. Он позвонил Нине, попросил разрешения приехать – «уточнить все детали». Стояли последние дни ясного, солнечного, прозрачного октября. Они с Ниной присели на лавочке во дворе; не хотелось в такую погоду идти в дом.

– Ну, в общем… это, – он откашлялся, – через неделю мне въезжать надо, машина уже заказана…

– И въезжайте с Богом. Я все вещи свои заберу, калитка не закрывается, входная дверь тоже. Заходите и живите. Мурку мою только не обижайте, она мышей ловит…

– А вы куда? – он впервые напрямую спросил ее об этом.

– Куда-куда… Пока к соседке, потом на зиму к племяннице, а там, даст Бог, мои к себе заберут…

– Слушай, Нина! – он старался, чтобы «ты» было не фамильярным, а просто доверительным. – Заберут – не заберут, это вопрос неясный, да и когда еще это будет. Что же ты, станешь по чужим углам скитаться? Оставайся да и живи тут. Я в одной комнате, ты в другой. Друг дружку на старости поддержим…

– Как же это, – растерялась Нина, – зачем? Неудобно так… Что люди скажут?

И видел Михалыч, что очень не хочет она оставлять свой милый сердцу домик чужому человеку, хоть и доброму и хозяйственному, который не поломает ни одного деревца, не затопчет ни одного куста. Но в том-то и дело, что для него это будут просто деревья да кусты, а она знает их всех «в лицо», для нее это дети, выращенные, выхоженные, со своим характером и капризами…

– В общем, давай так, – он решительно поднялся, – будем считать, что ты у меня снимаешь комнату, а в оплату помогаешь освоиться с садом, ну и там… по хозяйству. Короче, в субботу я приезжаю, ты мне комнату освободи, а сама устраивайся в другой. И учти, я это на полном серьезе, не передумаю!

Неделя подходила к концу. Последняя неделя старого дома. Михалыч собирал вещи, упаковывал их в коробки. С горечью смотрел на погреб, полный закруток. Для кого он старался? Неужели все это пропадет? Что с ними делать, забрать с собой? Но у Нины свой погреб полон...

В субботу с утра он уже был готов. Приехала машина, и шустрые молодые ребята за час погрузили все вещи. Дом сразу стал чужим, отстраненным, гулким.

– Ну что, отец, поехали? – весело спросил бригадир.

– Погодите, – Михалыча вдруг осенило, – там, в погребе, консервы всякие, я не увезу, так может, себе заберете? Просто так…

Ребята спустились в погреб и уже через пять минут кинулись ладить коробки и загружать их банками.

– Вот спасибо, батя! – наперебой галдели они. – Деткам отвезем, жены спасибо скажут, а мы когда стопочку пропускать будем под ваши огурчики, за ваше здоровье – с радостью!

– А теперь, ребята, подождите меня в машине минут десять, – устало произнес Михалыч, когда погреб опустел, – перекурите там, пивка попейте, а я… скоро подойду.

Он встал посреди уже чужого двора. Погладил ствол старой, еще родителями посаженной яблони. Прошел по дорожкам, словно стараясь удержать в памяти все, чем жил последние тридцать лет и теперь оставлял на разрушение. Махнул рукой и побрел к воротам. У калитки сидел, растерянно озираясь, его полосатый кот Васька. Дед нагнулся, погладил его, спросил:

– Ну что, друг, поехали со мной?

Кот обиженно отвернулся, коротко мявкнул.

– Ну и не надо, – вдруг разозлился дед Михалыч, – конечно, коты к месту привыкают, зачем им за хозяином куда-то ехать…

Он дошел уже до машины, но вдруг резко развернулся и почти побежал назад. Схватил Ваську на руки, прижал к себе, забормотал:

– Что же ты, дурак, со своей гордыней! Тебя же тут в асфальт закатают вместе с огородом… – дед залез в кабину, не выпуская из рук кота.

– Давай, поехали! – крикнул он сердито.

Они едва успели разгрузиться и расставить вещи, как начался дождь. Михалыч рассчитался с ребятами, они уехали. Дождь стучал все сильнее, грохотал по жестяному тазу, забытому на улице, по крыше сарая, в угол которого забился напуганный переездом Васька, собирался в лужицу, протекая с потолка в кухне. Они сидели с Ниной в своих комнатах, не зная, что говорить, как вести себя. Хозяин чужого, непонятного, неродного дома и та, которая знала его и любила, но не была уже в нем хозяйкой…

Дождь уныло и монотонно сеялся с мрачного неба, вздувался пузырями в лужах. Говорят, что такой дождь надолго…

Александр Юрченко

Как просто стать богом

Криком огласилась в эту звездную ночь кривая улочка Назарета, ведущая к старому кладбищу саддукеев*. Сплошь составленная из бедных глинобитных домиков, она была так плотно увита плющом и виноградом, что всемогущий Яхве** при всем желании не смог бы с высоты небес рассмотреть грязь и нищету, царившие здесь.

Кричали у Левия, сборщика податей…

Крик исходил из приоткрытой двери его дома, единственной приоткрытой двери во всем городке – время было неспокойное, и ночью все жители Назарета закрывались на тройные запоры, ограждая себя от непредвиденных обстоятельств, а они здесь возникали ежедневно, если не сказать больше – ежечасно.

Народ, доведенный до отчаяния бедностью, жил в ожидании спасительного чуда, о котором не говорилось открыто на улицах, но которого в каждом доме ждали как манну небесную. То и дело по каменистой земле Палестины проходили проповедники, возвещавшие о приходе мессии, который спасет народ от вопиющей нищеты. Согласитесь, прожить семье из семи человек на три горсти зерна в день было сложно. Иссохшая земля уже не давала по три урожая в год, как раньше, ручьи, бежавшие с гор, высохли, каналы обмелели, да и сам Иордан уже можно было перейти вброд, не замочив полы платья. Изможденную, потрескавшуюся на почти правильные квадраты землю не брали не то что бедняцкая мотыга, даже острый плуг богатого иудея.

* Саддукеи – проримски настроенная общественная верхушка иудейского общества, требовавшая строго соблюдения установлений, записанных в Библии.

** Яхве – иудейский бог.

Власти, боясь ропота толпы, избавлялись от проповедников как только могли, сея повсюду ужас и неверие в судьбу.

После ужасной казни одного из них, по имени Иоанн и по прозвищу Креститель, многие ученики отреклись от него. Так, Лука, служитель Первосвященника*, чудом спасшийся от разъяренной толпы саддукеев в крепком доме своего господина, первым был вынужден раскаяться и отказаться от слов Учителя. Хотя и видел он многих из своих преследователей смывающими грехи в священных водах Иордана.

Косматая голова Иоанна, посаженная солдатами Ирода Антипы на один из кольев в заборе, окружавшем дворец правителя Галилеи, лучше всякого указа наводила трепет на толпу. Больше даже, чем тысячи распятых на крестах жителей Иудеи, Самарии и Галилеи, осмелившихся роптать против насилия Рима и местных властителей, и чьи мучения волновали теперь разве что стаи воронья и одиноких голодных грифов, летавших вдоль дороги в ожидании легкой поживы.

Многие, многие уже в душе изменили проповеднику. Оставалось лишь действием подтвердить перемену образа мышления.

В числе таких был и Левий, сборщик податей.

Крепко сдавив ладонями лысеющую коротко остриженную голову, оперев давно небритый подбородок о краешек стола, думал он свою изменническую думу, а слова Иешуа**, встреченного вчера у колодца, так и лезли в голову, упрямо и непослушно, не давая сосредоточиться и облачить план предательства в красивые одежды.

«Прежде всего, – думал Левий, – принесу в жертву Яхве ягненка».

Неотвязчивые слова Иешуа снова подступили к нему: «И наступит изобилие плодов земных, и прекратится вражда животных меж собою, и все они будут доступны человеку».

«Нет, – лезла в голову дерзкая мысль, – обойдется Яхве. Пусть подрастет ягненок. Как прокормлю потом эту ораву?»

Он окинул взглядом небольшую комнату, где на глиняном полу на циновке спали его дети – мал мала меньше. Бодрствовали

* Первосвященник – главный сан священника в иудейской религии.

** Иешуа – еврейское произношение имени Иисус.

только две дочери, они были чуть постарше других, и им разрешалось отходить ко сну позже.

«Добр, добр Иешуа, – думал Левий, – не сможет он так же, как Иоанн, гневно обличать саддукеев и фарисеев*** – одних в роскоши, других в лицемерии».

Где-то на улице скрипнула дверь…

Жена, кормившая восьмимесячного наследника Левия, спрятала грудь и положила младенца в колыбель. Это был восьмой ребенок в семье сборщика податей и первый мальчик, поэтому внимание к нему было особенное – всеобщее и самое пристальное.

Старшая дочь, в обязанности которой входило проверять состояние ребенка после кормления, радостно воскликнула: «Иаков отрыгнул!».

«Слава Богу, – обрадовался Левий. Тревожные мысли не мешали ему добросовестно исполнять обязанности главы семьи, вовлекаясь в каждую радостную мелочь. – Значит, накормлен досыта».

Младшая, любившая сидеть около засыпающего брата, положила головку на колыбель и слегка покачивала ею в такт биению сердца, помогая мальчику заснуть покрепче. Делала она это не совсем бескорыстно, так как Иаков, как и полагалось всеобщему любимцу, был капризен, криклив и часто не давал никому спать по ночам. Кроме того, мерное покачивание навевало на нее весьма крепкий сон, и девочка так привыкла к этому, что уже не могла заснуть, не выполнив до конца ежедневный ритуал.

– Как крепко заснул! – прошептала она счастливо.

Но и этот тихий шепот не пролетел мимо ушей Левия.

С минуту в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было, как лают собаки на кладбище. Левию почудился легкий порыв ветра за окном.

«Возможно, принесет тяжелое облако, и оно прольется дождем», – подумал он.

Все как будто ждали чего-то. Но ничего не происходило.

*** Фарисеи – представители религиозного течения (в основном, средние слои общества), выступавшие за чистоту иудаизма, против контактов с чужеземцами.

Девочки начали укладываться спать, а Левий продолжил борьбу с назойливыми мыслями.

Уставшая от бессонных ночей и бесконечных домашних забот, верная Эсфирь наконец-то сама решила подойти к сыну, чтобы поцеловать своего любимца и совершить над ним молитву. Несколько секунд она молча постояла возле колыбели в ожидании услышать мерное дыхание Иакова, губы ее привычно нашептывали слова благодарности Яхве. Шорох ветра за окном мешал ей, и Эсфирь нагнулась к мальчику ниже.

Маленькая согбенная фигурка жены вызвала сочувствие у Левия.

«Откуда только берется молоко в этой иссохшей груди?» – подумал он.

Истошный крик Эсфири прорезал воздух в комнате. Казалось, он расколол небо пополам, и яркие звезды, посыпавшиеся в дымоход, перевернули дом вверх ногами.

В одночасье комната наполнилась звуками…

Левий вскочил, с грохотом опрокинул лавку, в два прыжка достиг середины комнаты, но, попав одной ногой в медный таз для мытья, растянулся во весь рост поперек лачуги. Встав на колени посреди выплеснувшейся воды, он, отчаянно жестикулируя, отчитывал жену:

– Что же это такое, Эсфирь! Что мешало тебе поставить таз в угол комнаты? Когда же в доме будет порядок?

Младшие дети, уже спавшие и разбуженные криком и грохотом, испуганно заголосили.

– Наш мальчик умер… – едва выговорила Эсфирь, глотая слезы и дрожа всем телом.

– Что? – взревел Левий.

– Левий, ты слышишь, наш мальчик умер, – шептала Эсфирь, глаза ее безумно блестели в полутьме.

Левий вскочил, оттолкнул жену, склонился над колыбелью и прижался ухом к тельцу.

Старшая дочь, вытиравшая лужу на полу, в испуге выронила тряпку и бросилась к двери.

– Мой мальчик… – Левий сделал два шага по направлению к жене. Глаза его бешено вращались.

– Может, скорпион укусил его? – предположила младшая из старших дочерей.

Левий раскинул пеленки и внимательно осмотрел сына. Тельце его быстро холодело.

– Мой сын! – в ужасе закричал Левий, сдавливая виски ладонями. – Мой единственный сын!

Какое-то время он стоял, раскачиваясь, как бы в забытьи. Потом выхватил из-за пояса кинжал, бросился к жене.

– Это ты убила его! Отродье гиены! Ты перекормила его! Ты заснула и перекормила его!

Дети встали перед ним и матерью стеной. Теперь уже кричали все: и Эсфирь, и Левий, и дети.

Никто не слышал и не видел, как вошел Иешуа. В то время в самом разгаре было восстание зелотов и сикариев, и двери хижин запирались тщательнее обычного. Левий в дальнейших своих сбивчивых рассказах так и не смог объяснить, как же все-таки Иешуа появился в комнате. Возможно, дочь, перепугавшись до смерти, хотела выбежать наружу.

Он стоял посреди комнаты… Невысокого роста, страшно худой, если не сказать тощий, Иешуа стоял, протянув правую руку в сторону колыбели, и как будто силился сказать что-то. Слов не было слышно, но это немое воздействие оказалось настолько сильным, что все сразу перестали кричать.

– Иешуа, помоги мне, – прохрипел Левий. – Если можешь, помоги мне.

– Я и пришел на эту Землю, чтобы помогать, – изрек Иешуа. – Помогу и тебе, Левий, если Богу будет угодно.

Он подошел к колыбели, пристально взглянул на младенца, взял его за безжизненные ручонки и стал делать ими движение от бедер мальчика к его изголовью. Потом, надавив рукой младенцу на грудь, совершил несколько толчкообразных движений ладонью. Прижав голову к груди Иакова, Иешуа прислушался, а затем приник устами к устам малыша.

Эсфирь и дети, став полукругом возле кроватки, с надеждой смотрели на странные действия пришельца. Левий безучастно сидел возле приоткрытой двери. Кинжал его по рукоятку был вогнан в глиняный пол.

– Он забирает у брата последний вдох, – заметила старшая дочь.

– Нет, он вдыхает в нашего мальчика жизнь, – прошептала изумленная Эсфирь, увидев, что тело Иакова начало розоветь.

– Воскрес! – вскричал Иешуа взволнованно.

– Воистину воскрес, – прошептала младшая дочь.

И еще раз крики, теперь уже радостные, огласили узкую улочку Назарета.

Даже кладбищенские собаки удивленно смолкли, не понимая, кто еще кроме них может господствовать в этой ночи.

Звезды снова заполнили небо, и одна из них, наиярчайшая, висевшая прямо над самим дымоходом, свидетельствовала о рождении чуда. Чуда, которого уже давно ждал весь народ иудейский.



Роман Бродавко

Жаркий август

Над степью стоял изнуряющий зной. Изредка легкий дразнящий ветерок поднимал в воздух мелкую земляную пыль, которая забивала нос и скрипела на зубах. Безумно хотелось скатиться по косогору на пляж, плюхнуться с головой в ласковое теплое море, вынырнуть метров через двадцать, отдышаться и ощутить желанную прохладу. Но это было возможно раньше, в той жизни. А в этой был окоп, вырытый недалеко от обрыва, зенитное орудие, которое надо было беречь как зеницу ока, и полтора месяца войны, к которой они, вчерашние одесские мальчишки, еще не успели привыкнуть.

Город оборонялся. Новобранцы были частью этой обороны. Они свято верили, что враг споткнется о порог Одессы и откатится назад. А затем Красная Армия вытеснит его за Дунай и будет громить на чужой территории… Но когда это произойдет, не знал никто. Линия фронта была совсем рядом с городом, и сюда ездили на трамвае.

Утренний авианалет успешно отбили. Два самолета с черной свастикой на борту рухнули в степь. Остальные улетели.

Напряжение боя спало. Большинство ребят дремало под дикими маслинами и акациями, которые, как люди, страдали от жажды. О том, что произойдет в любую последующую минуту, никто не знал и не задумывался об этом. Известно было, что к концу дня ожидается приезд концертной бригады…

– Боря, у тебя брат родился! – издали закричал Валька. Он только что приехал из города, куда был послан по заданию командира батареи.

– Рядовой Осипов, оставить крик! – хмуро скомандовал младший лейтенант Гринштейн. – Докладывайте.

– Товарищ младший лейтенант, у Борьки брат родился. Мама во второй родилке, на Комсомольской… Отпустите рядового Подольского на братика посмотреть. Трамвай через двадцать минут идет… Он быстро. Можно?

– Рядовой Осипов, это не пионерский лагерь, это армия… – Гринштейну явно не нравились вольности Осипова, хотя этот неунывающий паренек, который был младше его всего на два года, вызывал у командира искреннюю симпатию.

– Но братик же не каждый день рождается, товарищ младший лейтенант! Борька только посмотрит – и обратно!.. – не унимался Валька.

И, конечно, он был прав, тем более что Борис заслужил поощрение: один из самолетов сегодня был сбит благодаря ему.

Гринштейн подумал и сказал:

– Иди сюда, Подольский. Сейчас одиннадцать двадцать пять, в городе будешь через час. Туда – сюда… В общем, чтобы в шесть был здесь, понял? Пошли, я тебе увольнительную выпишу…

В семье Подольских девятнадцатилетний Боря был старшим. Потом шли сестры: шестнадцатилетняя Маша и двенадцатилетняя Наташа, а за ними – десятилетний Алик. Семья была шумная, веселая, дружная. Жили бедно. А как еще проживешь, если работает один отец – инженер-механик на заводе? О том, что в семье может быть пополнение, никто не думал. И вдруг весной, краснея, как девочка, мама объявила, что скоро у них появится братик или сестричка. Как все радовались, особенно Алька! Теперь и он будет старшим братом!..

Маму в семье боготворили. Для детей она была всем: воспитательницей, советчицей, наставницей, кормилицей, затейницей… Больше всего дети боялись ее огорчить. Культ мамы создал отец, который любил ее нежно и преданно и своим отношением к жене подавал пример детям.

Когда мама вышла на кухню, отец негромко сказал:

– Ребята, берегите маму, помогайте… Ей сейчас очень трудно.

Боря учился на первом курсе в индустриальном институте. После того как все угомонились и разошлись, он подошел к отцу и сказал:

– Пап, может, мне взять академ и пойти на завод? Ведь ты один нас не вытянешь?

– Вытяну, сынок. А если хочешь подработать… Я подумаю, как это сделать.

В начале лета отец сказал старшему сыну, что договорился на заводе: с конца июня по сентябрь он будет работать в механическом цехе.

Боря сумел сдать сессию досрочно и 23 июня должен был выйти на работу, но в этот день он оказался не в цеху, а в военкомате Воднотранспортного района…

Трамвайный вагон резко тронулся и помчался по выжженной степи в сторону виноградников.

– Ты куда, солдатик? – спросила вагоновожатая единственного пассажира, сидевшего на передней скамейке.

– В роддом, к маме.

– Она что – работает там?

– Да нет, братика родила.

– Надо же! Сколько ж ей?

– Сорок.

– Вот молодец! А я своего единственного как родила двадцать лет назад, так и воспитываю одна. А батька у вас есть?

– Есть!

– Счастливые вы! У моего сынка батька не было. Так случилось. Но ничего, зато крепкий вырос. Где он сейчас? С тех пор как призвали, одно письмо получила: «В Новороссийске мы». И все…

Вагоновожатая вздохнула и замолчала.

В город, к вокзалу, они приехали без остановок минут за сорок. А еще через двадцать Борис был у роддома. Окна второго этажа были завешены белой марлей. Сложив руки рупором, он громко крикнул:

– Ма-ма!

На пороге появилась строгая пожилая санитарка:

– Чего разорался?

– Мама здесь… И братик.

– Фамилия какая?

– Подольские.

– Есть такие.

– Может, пропустите?

– Ты что – с ума сошел? Это же роддом!

– Я с фронта отпросился…

Санитарка смерила его взглядом, потом сказала вполголоса:

– Стань возле крайнего окна. Мамка выглянет…

Она заперла входную дверь и ушла. А через минуту марлевая занавесь отодвинулась и в проеме окна появилась мама…

– Мамочка, как ты?

– Все хорошо, сынок. А ты как?

– И у меня все хорошо. Покажи его.

– Не могу. Он спит. Еще насмотришься. Как ты? Что ты там кушаешь, Боренька?..

Их разговор о вроде бы незначащих вещах длился минут десять, пока в окне не появилась какая-то дама в белой шапочке и решительно не отодвинула маму, закрыв марлевую занавесь.

Махнув на прощание рукой, Борис двинулся по Комсомольской до Тираспольской, прошел два квартала и повернул на Кузнечную. Он шел по жарким улицам и улыбался. А люди смотрели на него с недоумением: чему может радоваться долговязый солдатик в это тревожное время?

Вот и Успенская. Здесь он жил.

Девчонки и Алька были дома. Увидев Бориса, бросились на него, повалили на пол…

– Расскажи, как ты фашистов бьешь! – потребовал Алька.

– Я не один, мы вместе бьем.

– Из пушки?

– Из пушки.

– А как они выглядят, эти фашисты? Страшные?

– Я их не видел. Мы фашистские самолеты сбиваем…

– И все? – Алька был явно разочарован. – А я думал, что вы врукопашную… Раз его, два!..

Сестры усадили Бориса за стол. Помчались на кухню. Есть Борису не хотелось. Но кукурузная каша, сваренная сестричками, пахла домом. Его домом. И он наслаждался ею, как изысканным блюдом.

Потом они все вместе решали, как назовут братика. Сошлись, что назвать надо Марком – в честь любимого дедушки, маминого отца, который недавно умер.

В половине четвертого Борис поднялся: пора… Трамвай уходил в четыре.

Вагоновожатая была та же.

– Ну что, мамку видел? – спросила она своего единственного пассажира.

– Видел.

– Ну, слава Богу! Повезло тебе, хлопец… А то там такое было!..

– Что было?

– Налет был, вот что… Я как раз туда концертную бригаду привезла… Вдруг те гады прилетели и давай обстреливать. Наши к орудиям… Отогнали… Правда, не сразу… Одному артисту, танцору, кажется, руку оторвало. Да и среди ваших потери есть…

Она замолчала. Борис оцепенел. Ему показалось, что если бы он не уехал, всего этого бы не случилось. Скорее туда!..

Когда он прибежал к батарее, раненых уже увезли. Ранены были Сашка Трофимов, одноклассник Бориса, и артист… В стороне от окопа лежало тело, покрытое брезентом. Это был Гринштейн, убитый осколком снаряда.

Борис застыл возле него, как вкопанный. Это был первый убитый, которого он видел. До сих пор он не мог представить себе, что кто-то из его ребят может погибнуть. А теперь перед ним лежало тело человека, с которым он был рядом полтора месяца, выполнял его команды, разговаривал в минуты отдыха. Человека, который нравился ему своей самодисциплиной, начитанностью, воспитанием. С Гринштейном было спокойно, надежно, казалось, что для него не бывает неразрешимых ситуаций. А теперь его нет…

Валька Осипов командовал ребятами, которые переводили орудия в другое место. Его никто не назначал, но после гибели младшего лейтенанта он сам взял на себя обязанности командира. Борис тоже включился в работу. Все делалось молча. Да и о чем было говорить сейчас?

Настал вечер. Зной отступил. Повеяло прохладой. Одни ребята после долгого и тяжелого дня уснули сразу, к другим сон не шел. Валька и Борис сидели рядом, опершись на шершавый ствол акации, и молчали. Наконец Осипов сказал:

– Хороший парень был. Бабушку его жалко…

– А что – бабушка? – не понял Борис.

– Гринштейн с бабушкой жил, после того как его родителей в 37-м посадили. Очень любил ее…

Вдруг Валька резко переменил тему:

– Завтра мы уходим отсюда. Он мне об этом за полчаса до смерти сказал. Отступаем… Хорошо, что ты со своими повидался. Когда еще придется!..

На рассвете немцы не прилетали, словно чувствуя, с каким настроением их ожидали зенитчики. А в середине дня поступил приказ свернуться и уходить в восточном направлении…

Будущее становилось все более непредсказуемым. Разве мог Борис предполагать, что через месяц окажется в плену, в Болгарии, где проведет два с половиной года под чужой фамилией? Что после освобождения из плена большой милостью по отношению к нему станет штрафбат? Что кровью придется смывать вину, которой у него не было, и только после тяжелого ранения у озера Балатон его «простят» за плен и даже наградят медалью «За отвагу»?

Он вернется в Одессу, станет слесарем на судоремонтном заводе. Родители возвратятся после эвакуации в Среднюю Азию вместе с предприятием, на котором всю жизнь трудился отец. Девчонки закончат вузы, выйдут замуж. Алька уедет в Москву и со временем станет крупным математиком. А Марек – известным художником, картины которого разойдутся по всему миру. Во всем этом нет ничего особенного, если учесть, что кроме природной одаренности все Подольские хорошо учились и выросли трудолюбивыми людьми.

Вернувшись с войны, Борис неожиданно для себя ощутил потребность писать. Он сочинял стихи, которые первое время читал только самым близким. Однажды девушка, которая вскоре стала его женой, отнесла несколько стихотворений редактору заводской многотиражки. Тот поместил их в газете накануне 9 Мая, снабдив врезкой о том, что это – стихи ветерана Великой Отечественной и передовика производства…

А дальше – пошло-поехало. Подборки в газетах и журналах, участие в литературных вечерах, первая книжка. Бориса приняли в Союз писателей, где в пятидесятых годах был острый дефицит

поэтов «от станка» и «от сохи». Писательством в те годы можно было прокормиться, но Борис не оставлял работу на заводе. Его долго не покидало чувство, что написанные им стихи несовершенны, в чем-то слабые – и читатели это ощущают. Но постепенно этот страх прошел…

С известностью пришли литературные премии, внимание со стороны городских властей и… старость. О ней напоминали ночные боли в сердце. Лежа на спине, Борис прокручивал в памяти свою нелегкую богатую событиями жизнь, но чаще всего вспоминал один день в августе сорок первого, когда впервые увидел смерть на войне.



Надя Деглин

Случайная встреча

Так бывает, что редкий, практически невозможный гость вдруг завернет на чашечку кофе. Такой милый – и почему это вы раньше не общались? Уходя, он забудет в коридоре – ну, например, – зонтик. Не прекрасный английский с бамбуковой ручкой, не прочный немецкий – так себе зонтик. Простенький. И уже слышно, как мотает лебедка лифта… Батюшки, а зонтик?! «Догоню, не мог далеко уйти!» И бросаешься следом. Кричать вроде неловко в шахту. Выбегаешь из подъезда, а там никого. Дворничиха шкрябает дорогу. «Извините, тут… куртка такая по бедро…» – задыхаешься и кутаешься в накинутый впопыхах шарф. Шкряб-шкряб… «Низнаюя! Ходют тут… тут много ходют!» Странно, ну! Ну, как это? Ведь вот только вышел человек! Судорожно набираешь номер: конечно, абонент недоступен, кто бы сомневался!

Он перезвонит минут через сорок. Или даже через день. Извиняясь, скажет, что только сейчас увидел пропущенный вызов. И ты остро ощутишь, насколько ненужной была в его жизни эта случайная встреча. Промямлишь про зонтик. Гость охнет, поблагодарит и будет громко сокрушаться, что в ближайшие день-месяц-год вряд ли окажется в твоей стороне. Ты будешь задумчиво взвешивать зонтик на руке. «Да выбросьте вы его, если мешает!» – предложит гость. «Да ладно, пусть полежит», – улыбнешься ты в трубку. Ты бронируешь возможность встречи. Сам факт, с открытой датой. Мол, ждет зонтик – имейте же совесть!

Проходит так много времени, что беспризорный предмет в прихожей почти врастает в вешалку. Обретает свою прописку. Если он падает, домочадцы возвращают его на прежнее место. Но однажды появляется острое желание избавиться от лишнего.

Кажется, вещи взбунтовались и лезут из всех щелей, заполняя собой воздух! Дело, скорее всего, к весне. Старые куртки, протертые зимние штаны, одинокие варежки – все расталкивается по пакетам и идет вон-вон-вон! И тут под руку попадает ничей зонтик. Инстинктивно никто не захотел пользоваться чужой вещью, ручка с круглой пластиковой кнопкой отталкивает, как однополярный магнит. Пару раз чихнув, отправляешь зонтик в ссылку вместе с отслужившим детским одеялком и жадноклювыми ботинками. Все! Пора жить новыми надеждами!

Все уже поняли, что он позвонит на следующий день. Когда урчащий мусоровоз принял в рыжее брюхо оставшиеся пакеты и умчал. Гость позвонит и совершенно беззаботно, словно вы расстались вчера, предложит: «Может, я зайду? Там где-то меня вроде зонтик ждет?» То есть он вот так запросто хочет взять и зайти после всего, чего между вами не было??? Ну, это вообще! Ну, год же прошел! Или два?.. Ну, у нас тут что, бюро находок? Но голос тебя выдает. Непослушный, без обертонов и силы голос, которым ты будешь лишать себя всякой надежды на еще одну, всего одну милую встречу: «Знаете… я поищу… что-то давно его не вижу! Вы заходите, я найду!».

Это ад. Приходи без зонтика!

Москва

Зрители концерта вторят припеву в унисон. Сидя на парапете, женщина обнимает свои хозяйственные сумки ласково, словно маленького ребенка. Почесывает одной ногой другую ногу, снимает резиновые шлепки ярко-фиолетового цвета и ставит свои стоптанные ступни отдохнуть на прохладную бульварную плитку. Один из музыкальных номеров Эмир Кустурица неожиданно завершает аккордами песни «Подмосковные вечера». Босоногая женщина одобрительно кивает на последних звуках.

И вот ее дорогая поклажа уже в охапке, а сама она на скамейке. Выразительным жестом показывает, что мать пила, и в восемь месяцев бабушка увезла ее из России на Украину, в Днепропетровск. Про папу ни слова. Катя с грустью понимает, что концерт для нее окончен, а сама она после тяжелого дня раздумий неведомо зачем погружается в чужую некрасивую как-то зависящую от пакета молока жизнь. Ее нелегалка акцентирует внимание на своей шишке на правом веке, говорит, что это киста. Что она выдавила прыщ, и вот киста теперь растет и глаз закрывает, что денег нужно полторы тысячи долларов, а у нее нет. Что ее пенсия по утере кормильца девятьсот гривен, тщательно так все суммы произносит, как заученные. Что у нее сын остался в Днепропетровске, одиннадцати лет, а муж умер в тюрьме от туберкулеза. Рассказывает, как была второй раз беременна.

– Залетела в тюрьме на свиданке. Мужу ничего сказать не успела, доктор (хороший доктор) так посоветовала и сделала мне аборт. Я плакала.

Катя перебирает в уме грехи, за которые к ней приклеилась и врет теперь эта плохая актриса.

– А вам поубирать не нужно? – женщина снова смотрит в глаза девушки и вот-вот залает, если та попросит. – Я хорошо умею, на совесть, – просияв от перспективы согласия, предлагает она.

– Нет, – отвечает Катя, – я сама справляюсь.

– Жалко, а то меня дворником не берут. Тут у вас мафия целая. Еще стукнут меня, потому что я очень хорошо убираю...

– И вот сейчас у меня четвертый месяц, а мне, между прочим, сорок пятый год.

Катя замечает, что у собеседницы полупустой рот, зубы как-то через один, в шахматном порядке устроены.

– Четвертый месяц чего? – открывает Катя широко глаза.

– А что, не видно, что я залетная? Видно-видно, у меня же нос картошкой, посмотрите! – хлопочет, выдвигая свой нос на свет, женщина.

Ее огромные груди в майке черного цвета в белый горох лежат валунами на коленях без всяких там условностей в виде лифчика, и понять, что под ними кто-то уже живет, просто невозможно. Из груды сумок она достает картонную папку, в ней карточка беременной, заполненная странно красивым для медработников почерком. Вместе читают карточку, действительно, в ней все указано, и даты, и анализы какие-то вклеены, докторская печать. Залетная улыбается совершенно блаженно.

– Да, действительно картошкой. – заключает Катя. – Ну, на этот раз отец, надеюсь, жив?

– Жив, гад. Узнал, что я с дитем, сбежал.

И женщина смеется, смеется, не глупо, не грустно, а хорошо так смеется – музыкально, и от ее смеха становиться еще хуже, еще паскуднее. Хочется понять, зачем они встретились. Катя начинает думать, но не хочет трезветь.

– Скоро сестра моего бывшего, того, что умер, меня попрет. Я у нее живу. А я родить у вас хочу. Мне ваш город нравится смертельно, особенно утром, когда еще машины не ездют.

– Да, это уникальное место, но здесь тоже убивают и грабят людей.

– Ну, не так, как у нас! Точно вам говорю, не так.

У Кати все начинает болеть внутри, ей становится душно и хочется крикнуть: «Я не знаю, как все это работает!».

Ей тридцать лет, все зубы на местах, никто от нее не сбегает, и это ее город, утром, в обед и вечером. Но у нее не будет детей.

– А знаете, что? – выводит тело в майке в горошек Катю из комы.

– Что? – пугается она.

– Я вот сейчас решила – вы будете крестить моего ребенка! А что, вы красивая.

Вот такая засада. И что делать? Может, встать и уйти? Просто подняться и зашагать.

Вместо этого Катя говорит:

– Запиши мой номер телефона.

Женщина достает маленькую потрепанную записную книжечку в черной обложке, цвет подходит к ее майке, и записывает под диктовку. На другой странице пишет свой номер, говорит, что телефона самого у нее сейчас нет, но она карточку вставляет у родственницы, когда нужно. Вырывает листик с корявыми цифрами, над которыми заглавными печатными буквами написано: АНЕЖЕЛА…

Катя достает кошелек, выгребает из него все что есть, потом все же оставляет немного на дорогу домой.

– Мне в начале декабря рожать, время-то еще есть у вас на подготовку, я позвоню.

– Возьмешь? – спрашивает Катя, протягивая к сработанным в камешки пальцам смятые купюры.

Эта женщина для нее уже только образ, который будет ползти за ней, как тень, всю жизнь. И каждый раз чем-то новым станет обрастать их разговор, и может быть, эта летняя встреча, с запахом моря будет переноситься в другое место. Исчезнут с течением времени фиолетовые шлепки и прокиснет в пакете молоко. В городе будет благодетельствовать другой мэр, он распорядится снова перестелить плитку на бульваре, и рабочие унесут следы отекших женских ног на дачу к его теще.

Но сейчас, в эту минуту, женщина смиренно превращается в дымчатый силуэт, и этот силуэт молча кивает, а потом беззубым ртом крепко целует на прощание Катины дрожащие губы.

Яна Желток

Три истории

Женя в январе

Патриархи сидят за столами с сынами и сынами сынов и сыновних сынов сынами.

Уолт Уитмен

Женя позвонил в десять утра, когда мы еще спали. Он сказал, что хочет поздравить нас с Новым годом и поэтому придет через час. Мы начали выковыриваться из кровати. Мне нравится выражение «выковыриваться откуда-то», потому что оно точно описывает процесс, когда что-то откуда-то вынимают с трудом, возможно при помощи инструментов, и то, что вынимают, выходит на поверхность уже не такое, каким было прежде, а слегка деформированное. Может быть, даже искривленное. Пока все выковыривались, я спала дальше и проснулась без двух минут «время Х» с мыслью о том, что если Женя сказал «через час», значит, он будет совершенно точно ровно через час.

Через две минуты я услышала приятный голос Жени. Он поздоровался медленно и церемонно. Поздравил проснувшихся с Новым годом и стал выкладывать подарки. «Какой гигантский бублик!» – закричал кто-то из детей. Когда я вышла, то увидела, что Женя принес еще цветные камушки, шоколад, пластилин, карандаши, фломастеры, альбомы, тетрадь с яхтой на обложке и что-то еще и еще.

– Здравствуйте, Яна, – сказал Женя, и повернул седую свою и слегка поблескивающую яйцевидную голову в мою сторону. Я поняла, что вертеть головой Жене не так-то просто, хоть он

и старается. Женя, как всегда, был в отличном настроении, с широкой улыбкой. Аккуратно облачен в пиджак и темные брюки. Он как раз уже закончил с новостями из жизни родственников и теперь перешел к теме влияния искусства на жизнь.

– Только вчера услышала про синдром Стендаля*, – сказала я, – это зависимость от живописи и всякой красоты!

* Текст из Википедии: Синдром Стендаля – психическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Данная симптоматика проявляется, когда человек находится под воздействием произведений искусства, поэтому нередко синдром возникает в месте их сосредоточения – музеях, картинных галереях. Симптомы могут вызвать не только предметы искусства, но и чрезмерная красота природы: природных явлений, животных, невероятно красивых мужчин или женщин.

Происхождение

Синдром получил название по имени французского писателя XIX века Стендаля, описавшего в книге «Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио» свои ощущения во время визита в 1817 году во Флоренцию:

«Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю…

Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным, так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишенной страстей, а значит, пороков и добродетелей.

Симптомы

Несмотря на множество описаний приступов у людей, посещавших флорентийскую галерею Уффици, синдром был описан только в 1979 году итальянским психиатром Грациэллой Магерини, которая исследовала и описала свыше 100 одинаковых случаев среди туристов во Флоренции. В одноименной книге она классифицировала случаи болезни по их происхождению:

• туристы из Северной Америки и Азии не подвержены этому синдрому, поскольку это не связано с их культурой;

• итальянские туристы также имеют иммунитет, поскольку находятся в этой атмосфере с самого рождения;

• среди остальных туристов наиболее подвержены ему одинокие люди с классическим или религиозным образованием, вне зависимости от их половой принадлежности.

Впервые диагноз был поставлен в 1982 году. Чаще всего кризис наступает во время визита в один из 50 музеев Флоренции, колыбели Ренессанса. Внезапно посетитель оказывается поражен глубиной чувств, которые художник вложил в свое произведение. При этом он необычайно остро воспринимает все эмоции, как бы переносясь в пространство изображения. Реакции жертв

– О, синдром Стендаля! – сказал Женя. – Это когда начинает колотиться сердце при виде чего-то прекрасного, и слезы брызжут из глаз. Ведь со мной такое было. Во Флоренции! Яна, вы были во Флоренции?

– Я не была, но слышала, что там очень узкие и темные улочки, высокие дома, они давят на идущих и подавляют. Некоторым становится плохо во Флоренции.

– Да, действительно узкие темные улочки. Мы шли там всей нашей группой в сорок человек. Причем вся группа шла сзади, а я подбежал к экскурсоводу, чтобы узнать то, что интересно именно мне. Я спрашивал ее о том, готовит ли она дома, есть ли у нее дети и учатся ли они в университете, и сколько это все стоит. Мне это ужасно интересно!

Я подумала, чтобы узнать, как живется за границей, не обязательно куда-то уезжать – достаточно поговорить с одним из иностранцев, которых довольно много в нашем городе. Особенно летом.

Женя продолжал:

– Это была русская дама, много лет назад она осталась жить в Италии. Такая немолодая, некрасивая и даже неопрятная женщина. Она предупредила нас, что у нас может случиться синдром Стендаля. Правда, не объяснила, что это такое. Только потом я сходил в библиотеку, прочел о Стендале, прочел книгу его путевых заметок и все понял. Так вот она мне рассказывает все это, мы идем узкой улочкой, за нами группа. И вдруг площадь. А на ней храм. Храм мраморный и зеленый! То есть мрамор с зелеными прожилками! Такое чудо. И тут слезы прямо брызнули у меня из глаз! Вот так!

Дети опустили только что подаренные альбомы, фломастеры и пластилин в надежде увидеть, как брызнут слезы у Жени. Женя сидел, слегка открыв улыбающийся рот, держа паузу и наслаждаясь эффектом. Через миг он вернулся во Флоренцию:

синдрома различны, вплоть до истерии или попыток разрушить картину. Несмотря на относительную редкость синдрома, охранников музеев Флоренции учат, как вести себя с жертвами синдрома. Термин часто используется для описания реакции слушателей на музыку периода романтизма.

– Я не мог дальше идти! Я остановился. Я прислонился к стене. Вся группа прошла мимо меня, и я не знал, где они, и меня больше не интересовало, куда они пошли. На этом месте я сделал замечательный снимок площади и храма… А с вами случалось что-то подобное? – спросил Женя.

Мы вспомнили про нас, но это, конечно, не было так эффектно.

– Куда вы собираетесь в следующую поездку, Яна? – спросил Женя.

– Пока никуда, а вы?

– Хочу съездить в Лондон и на этом закончить с путешествиями, – сказал Женя. – Так, ребята, мне пора, буду собираться…

– Ты домой? – спросил кто-то из мальчишек.

– Да, у меня очень много дел! У меня масса дел. Столько, что и не переделать. Я иногда даже составляю план!

И тут Женя рассказал еще одну историю.

– Когда я окончил институт, меня отправили в другой город по распределению. Я приехал, пришел за завод, все очень обрадовались, вышли знакомиться. Меня спросили:

– Как вас зовут?

Я сказал:

– Евгений Валентинович!

Начальник объявил:

– Так, к нам на практику приехал новый инженер – Евгений Валентинович!

И все стали звать меня по имени-отчеству. И было мне тогда 22 года! Мне очень нравилось, что меня так зовут. Яна, вам уже есть 22 года? – спросил Женя.

Женя, конечно, знает, сколько мне лет, ведь мы давно знакомы. Но я поддержала игру.

– Конечно, есть. Мне уже 25!

Женя продолжил:

– Мне показали мое место. Теперь у меня был свой стол. Еще были ручки, бумага и счеты. Я сел за стол. Но что делать – мне не сказали. Я просидел день. Просидел еще полдня. А потом пошел к начальнику. О, у меня был замечательный начальник. Мне очень повезло в жизни, я счастливый человек! Начальник был прекрасным человеком и очень старым. 50 лет. Я спросил:

– Так что же я должен делать?

Начальник сказал:

– Евгений Валентинович, вы же инженер?

– Да, инженер, – подтвердил я.

– Так вот задача инженера – находить себе работу и делать ее.

С тех пор я сам ищу себе работу и делаю ее. Мне уже намного больше, чем 50, а дел только прибавляется. Сейчас передо мной просто уйма задач, поэтому я еду!

Женя поднялся бодро, но не очень легко. Его движения были несколько деревянными, но он справлялся. Женя надел свое темное пальто, накинул шарф. Наклонился за портфелем. И еще раз широко улыбнулся. Пожелал взрослым быть здоровыми. Детям посоветовал заполучить как можно больше хороших отметок, заметив, между прочим, что если хороших отметок будет мало, зато плохих окажется много, то потом уже во взрослом возрасте придется толкать по Привозу тележку с помидорами для крестьянок. Кошкам Женя пожелал много еды, не выдвинув при этом дополнительных условий. Женя еще раз поздравил нас с Новым годом и отправился вперед – решать важные вопросы, делать январские дела.

Летняя история про кошку

Расслабоня – очень хозяйственная кошка.

Смотрит исподлобья и слегка морщит свой коричневый лобик.

Вечно как будто занята и все время убегает с рук, при этом пузо ее туго набито котятами.

Лицо у нее всегда озадаченное и скорбное.

Будто бы она упрекает в чем-то хозяев. Наверное, в том, что они ее мало кормят. И котят тоже кормят мало и отвратительно. Такой у нее вид.

Расслабоня показывает другим мамашам мастер-класс: как надо спрятать котят, чтобы хозяева не нашли и не потопили. Она уносит котят туда, где людям их никогда не найти! И выводит их на Божий свет, когда у котят уже выросли бороды. Настоящая

активистка профсоюзного движения Расслабоня рожает за раз не меньше четырех.

Эта кошка первыми к еде подпускает своих детей, только потом ест сама.

Если она вдруг недосчиталась кого-то из котят – бегает по саду и громко мяучит. И, конечно, именно это нудное существо в своей туманной юности пробежало несколько километров, когда наш приятель решил ее забрать и унес в закрытой на молнию черной сумке. Сбежала в тот же вечер, на третий день вернулась домой.

История кошки и ее имени – Расслабоня – возвращает меня к ярким денькам одного одесского лета, когда к нам в гости на дачу приехали две крепенькие и стройные девушки одного роста – Оля и Настя. Одна была совсем худенькая – это Оля. А другая пополней, и все время читала – это Настя. И было довольно сложно догадаться, что перед нами мать и дочь. Та, что худенькая Оля, – мама. Та, что все время читает, – ее дочь Настя. Девушки из Москвы вместе готовили и всех нас кормили вкусными салатами, супами, котлетками и рыбой. Каждое утро они шли на пляж, каждый вечер в музей. И обе они кошек обожали. Настя часто беседовала о двух серых котятах, которые только что народились, со старшим из наших детей, ему было семь. Котята получились самые обыкновенные – серые, а местами желтые – брат и сестра. И все равно они притягивали детей как необыкновенные сокровища! Наш сын придумал им полные имена – Расслабоня и Собирон. А Настя сократила их до Боня и Роня.

Однажды Оля и Настя захотели прокатиться на яхте. Я позвонила нашему приятелю – капитану небольшой такой, но резвой яхточки. Строго говоря, это была не совсем яхта, а моторная лодка, мы назвали ее и лодкой, и кораблем, и моторкой. Капитан согласился прокатать Олю, Настю и меня. И прямо завтра! Только никаких маленьких детей! И из мужчин лишь он – капитан корабля. Еще капитан прибавил, что лодка его, вообще-то, очень маленькая – всего семь метров, и чтобы она не шла с поднятой передней частью, чтобы правильно ее сбалансировать, он посадит московских девушек Олю и Настю на нос корабля. Оля и Настя были счастливы и, конечно, сразу согласились сидеть на носу.

И вот ярчайшее утро, и мы отчаливаем из яхт-клуба. Тыр-тыр-тыр – говорит мотор лодки. А дальше мы несемся мимо монастыря, мыса Большой Фонтан, Аркадии, Дельфина, Ланжерона, мимо порта.

Лодка мчится по волнам, лодка подпрыгивает. Оля и Настя сидят на носу, схватившись за длинный стальной поручень. Подлетают на волнах и каждый раз, приземляясь, со страшной силой ударяются попами о белоснежный нос яхты! Особенно сильно ударяется Оля, потому что, в отличие от крепкой и правильной попы Насти, Олина попа довольно костлявая.

Потом мы делаем остановку. Лопаем арбузы. Плаваем в открытом море вокруг лодки. Наш капитан рассказывает, что бывшие жены, актуальные подруги и дети не любят кататься на его плавсредстве. И когда попадают сюда – явно скучают, мучаются, перегреваются на солнце и жалуются на невыносимый запах бензина. Здесь Оля с Настей рассыпаются в комплиментах, говоря, что запах бензина – их самый любимый запах на свете. А сегодняшний день – самый лучший день за все время в Одессе.

И снова мы едем, теперь не очень быстро, и слушаем переговоры больших судов. Добираемся до дальних одесских берегов и мчимся обратно в яхт-клуб. Солнце садится. Оля и Настя подскакивают на носу. Теперь они подложили под себя откуда-то взявшиеся подушечки.

Я вижу капитана в лучах заходящего оранжевого солнца. Серьезный профиль, черные очки, белые капитанские одежды. Прогулка еще не закончилась, но уже грустно. И все мы немного влюблены в щедрого капитана с его быстрой яхтой.

Потом уже в конце августа, выискивая мой лучший день лета, я понимаю, что это и был тот день в море.

Мы возвращаемся домой, Настя бросается к двум серо-желтым колбаскам по имени Боня и Роня, а вернувшись к нам, сообщает, что у Бони-Расслабони открылся один глаз! В тот же момент Настя превращается во взрослого человека и спешит к маме готовить большой праздничный ужин.

Оля страдала из-за отбитой попы два дня. Школьница Настя проснулась на следующий день как новенькая.

Прошло несколько лет. Настя окончила школу и сразу поступила в МГУ. Оля устроилась на новую работу. А капитан, наоборот, работу потерял. Из-за чего первым делом продал яхту, потом машину, кофемашину и даже велосипед… Он перестал быть рулевым и капитаном.

Крошечный колбаскообразный Рон, он же Собирон, быстро вырос и превратился в длиннющего крайне наглого серо-полосатого с подпалинами кота Собирона. Потом он ушел куда-то, исчез в неизвестном направлении. С котами такое случается.

Все хочу понять, зачем людям кошки – бесцеремонные ленивые неблагодарные создания. Может быть, думаю я, кошки нужны людям, чтобы связывать с ними воспоминания? Из двух кошачьих героев истории осталась только Расслабоня с укором исподлобья и рюкзаком котят на животе. Зато история ее появления на свет соединилась у меня в памяти с воспоминанием о лучшем дне лета…

Одесса – это рай! Две остановки – и Привоз, или Как Соломончик потерялся

Недавно Маринина тетя выдала такую фразу: «Одесса – это рай, две остановки на трамвае – и Привоз».

– Сейчас я расскажу тебе, Мариночка, как покупать, – начинает свой монолог тетя Рая, – во-первых, сразу ничего покупать не надо. Надо пройти Привоз насквозь и приценится. Потом пройти в противоположном направлении и только тогда начинать делать покупки. Причем идти надо от одного знакомого торговца к другому. То есть зигзагообразно, – смеется маленькая энергичная тетя Рая.

Марина уже знает, что у каждой покупательницы Привоза обязательно есть свой продавец, то есть хороший знакомый. Не перекупщик, который подсунет черти что. По-русски звучит не совсем правильно, но называется это только так: «свой продавец на мясе», «свой продавец на молоке» и еще хорошо, когда есть «свой продавец на зелени».

– А сейчас я тебе расскажу, как торговаться! – продолжает тетя Рая, – ты ж наверняка торговаться совсем не умеешь! Надо найти

крестьянку с кучкой чего-то и спросить: «Женщина, вы это почем продавали?». «Продавали» в прошедшем времени, потому что кучка чего-то у торговки должна быть последняя.

– Так почем?

Она ответит, например:

– По двенадцать.

– Я могу взять у вас всю кучу по шесть!

Ведь ей уже хочется скорее продать и уехать домой. Так одной фразой ты сбиваешь цену ровно в два раза! – восклицает тетя Рая.

Марина на Привоз не ходит, потому что живет далеко. Но тетю свою слушает внимательно. У Марины есть корыстный интерес – она надеется отправить в гости к бабушке Рае своего пятилетнего сынишку Соломончика. На пару дней.

Здесь начинается наша история.

Август. Знойно. Плюс тридцать пять в тени. Пятилетний Соломончик отправился в гости к бабушке Рае. На пару дней. И вот же совпало, что именно в этот день бабушке звонит молочница с Привоза и говорит, что специально для нее сегодня из деревни прибыли «яички»! Товар на Привозе, значит, надо собираться. Август. Тридцать пять градусов. Привоз. Но бабушке Соломона подобные трудности не помеха!

Бабушка Рая надевает на Соломончика красивейшую в красную клеточку рубашку, они садятся в трамвай и катят на Привоз.

Тут надо сказать, что Соломон наш мастер теряться.

За пару дней до Привоза он исчез на пляже. Спасатели – молодые парни с громкоговорителями – нашли его в тридцати метрах от места, где Марина с сыном расположились вначале.

– Зачем ты убежал? – спросила Марина. – Что ты делал?

– Я еще раз искупался, – ответил он серьезно, – потом занимался йогой. Напрасно вы меня нашли, ведь я решил, что буду сам.

Знакомый научил его «заниматься йогой» – то есть сидеть с ровной спиной и закрытыми глазами в позе лотоса.

– Ты испугался? – спросила Марина.

– Нет, я очень хорошо провел время! – ответил сыночек. Тут Марина поняла, что больше не хочет ходить с ним на пляж. Пора отправлять к бабушке.

Продолжение истории.

И вот бабушка с внуком входят на Привоз с главного входа – то есть оказываются в месте, которое и тем, кто в Индии бывал, и тем, кто там не был, напоминает «Мейн Базар» в центре Дели – самый шумный рынок азиатской столицы.

Рая начинает приценяться:

– Почем у вас?

Торговка отвечает:

– По восемь.

Бабушка оглядывается – Соломона рядом нет!

А он побежал-побежал дальше вместе с толпой мимо киосков, контейнерных рядов и фургончиков, пока в одном узком месте ему не загородил дорогу огромный человек с серым лицом в длинном платье и с венком на голове.

– Как тебя зовут? – спросил Гигант.

– Соломон, – ответил малыш.

– А я Дюк, – сказал человек и тут же куда-то исчез.

Соломончик испугался гиганта и больше не хотел бежать.

Сразу же симпатичного белобрысого одетого в отглаженную клетчатую рубашку Соломончика окружили энергичные старушки:

– Ты чей, мальчик? – спросили они. – Ты с кем пришел на Привоз?

– С бабушкой Раей, – ответил Соломончик. Он уже плакал.

Понятно, я тоже начинаю плакать, когда собираются вместе две – не дай Бог больше – энергичные дамочки с Привоза.

– Если он пришел с бабушкой Раей, – сказала самая активная из дам, – мы должны ее позвать! Давайте вместе дружно на раз-два-три крикнем: «Бабушка Рая!».

«Бабушка Рая» прогремело над Привозом, и Рая, которая бегала вокруг молочного корпуса, помчалась в сторону мясного, где и обнаружила драгоценного отпрыска.

Успех мобилизации покупательниц мясного корпуса оказался стопроцентным и практически молниеносным.

Тетушки и старушки были счастливы, бабушка Рая, конечно, тоже. Соломончик сразу перестал плакать и просиял.

Бабушка Рая крепко схватила ручку Соломончика и решила ни при каких обстоятельствах ее не выпускать.

– Кто такой Дюк? – спросил Соломончик.

– Это значит князь или герцог, – ответила Рая, – а что?

– Меня остановил человек в сером платье с серым лицом и бумажной трубочкой в руке и сказал, что он Дюк!

– Это сумасшедший какой-то, тут их много, – ответила старушка.

Взявшись за руки, бабушка и внук двинулись через Привоз. Зигзагообразно.



Валерий Бодылёв

Посвящения

Анна на юге

На улице Ахматовой
Ракушечник так желт,
Календула лохматая,
Петуний влажный шелк.

Штакетники линялые
Да тесные дворы.
Но даже следа малого
От золотой поры,

Описанной Катаевым
В люстдорфском хуторке.
Рассеялась, растаяла,
Как пена на песке.

А было – степи южные,
Знакомые края –
Там, где акаций кружево,
Базаров толчея.

Но почему туманами
Бледнеют зеркала,
И кто за малой Анною
Стоит в шелках бела?

И дудочка бузинная
В ее руке легка.
Та женщина без имени,
Косящая слегка.

Вновь зеркало угрюмое
Становится светлей.
А на столе безумная
Бузинная свирель.

Романы Олеши

Юрий Карлович Олеша –
Тот, кто Ключиком был прозван,
Мог цветущей веткой вешней
Обозначить символ, образ.

В том романе, а вернее,
Растянувшейся новелле
Бродит некто Кавалеров
Весь в сомненьях и затеях.

Персонаж, а может, автор
Этой смуглой южной прозы –
Загорелых яблок бронза,
Неподвижный вязкий воздух
В световых дрожащих пятнах.

Он сюжет романа бросил,
Ввел побочных пару линий, –
Свод деяний беспричинных,
Брошенных на середине
В тень зловещей темной глоссы.

Фрумина в 30-40 гг.

Той художнице досталось.
Если в нескольких словах –
Свет и тьма перемешались,
И судьба ее писалась
На картонках впопыхах.

Время шло вразнос. Спешило,
Краски смазав на лету –
Так, что дни слегка дымились,
Их границы расходились,
Упираясь в темноту.

Век с тобой держался вровень,
Размыкая малый круг.
Этот мир неладно скроен,
Стянут ниткою суровой,
Вялый север, броский юг.

Так и шло одно к другому:
Кобальт неба, ночь сурьмы.
Но романа текст неполон,
В нем не зарекайся, помни
От войны да от сумы.

И война с бедой приходят
Без огласки, не таясь.
За тобою молча бродят,
Не спросив, в сюжеты входят
И сидят там развалясь.

А в саду урюк цветущий,
Рыжий в трещинах саман.
Резко свет полудня бьющий,
Отсвет дальнего несущий
В неоконченный роман.

Художник Межберг

Город семидесятых еще приземист, он вровень
С платанами улиц морских.
Еще везувийский камень неровный
Ладно прилажен на мостовых.

Еще дребезжат двойные трамваи,
Пробираясь на Хаджибей в тростниках.
В город еще приезжает Катаев,
Роется в старых черновиках.

Город замер, он как бы между,
В провале среди эпох.
По Молдаванке еще шатается Межберг,
Застигнув былые приметы врасплох.

Он увезет эти самые вещдоки
Как причастность к улицам и берегам,
Ветхим домам, искореженным водостокам,
Сюжетом связанный, как по рукам,

В котором с реальностью давнего снимка
Замер трамвай у театра вблизи.
А в углу недоказанной вроде уликой
Тень Межберга смутно скользит.

Франциск Ассизский

Б. Литваку

Тогда потянулись ленивцы – медведи,
Кочевники пастбищ – унылые волки,
К строениям рощиц – смиренным и бедным,
Но умершим, в прах перешедшим проселкам.

Они уходили от близких околиц,
Где окон вечерних краснели лоскутья.
В хлевах просыпались испуганно овцы,
И ветер топтался в сенях бесприютно.

Ведь волки узнали о братце Франциске,
Который им станет оплот и защита.
Недаром в округах далеких и близких
Известен Франциск как небесный целитель.

Земные создания: люди и звери –
Сестрицы и братцы, скорей, для Франциска
Почти отголосок эдемских мистерий,
Где небо спускалось над почвою низко.

И всем существам оставалось по жизни
Идти за полночной звездою без страха
К далекому дому Франциска в Ассизи –
Возвышенной тверди над вымыслом праха.

Но только никто их не встретил в Ассизи.
И дом его пуст, и не светит огнями.
Но пылью присыпан дорожною сизой
Висит над стеною распластанный ангел.

Алла Крікун

«Летіли два птахи...»

Зліт птаха

Крилами,
Крилами
Над степом, над гаєм
У ті хмари,
У ті хмари,
Що рясним дощем
Укривають, укривають
Всю землю
Від краю
Й до самого краю,
Де ми ще живем.
Де ми ще живем, ще живем…

* * *

Летіли два птахи й загадали:
Над цими шляхами замріяними,
Над цими лісами засмаглими
Ми пролітали колись…

* * *

Скаче коник молоденький,
І сміється його вершник.

По росі рясній раненько
Залишає слід для сонця,
Щоб побачити ясненьке,
Як їм любо і раденько.
В вольній волі як по долі
Пролетіти, проскакати,
Перший промінь упіймати
І по ньому в небо, в небо
Відлітати, відлітати!

* * *

Ти згадай мене, мій любий,
Берег твій далеко,
Поміж нами очерети
Вічної ріки.
Може, десь у той світанок
Нам зустрінуться лелеки,
Як проходитимемо плаєм,
Як спускатимусь з гори.

* * *

Летіли лелеки
Здалека, здалека
До рідних країв, до осель.
Не можу згадати,
Де сіли лелеки,
Те місце не знайду тепер.

Та зірки підкажуть
І місяць посвіте.
А може, надія марна?
Бо світ завеликий,
А сонце у хмарах,
І так вже сумує душа…

Я там, між зірками
Забуду печалі
Земного, страшного буття…
Ті білі лелеки
Сховались за хмари
І звідти нема вороття…



Алла Крікун

«Летіли два птахи...»

Зліт птаха

Крилами,
Крилами
Над степом, над гаєм
У ті хмари,
У ті хмари,
Що рясним дощем
Укривають, укривають
Всю землю
Від краю
Й до самого краю,
Де ми ще живем.
Де ми ще живем, ще живем…

* * *

Летіли два птахи й загадали:
Над цими шляхами замріяними,
Над цими лісами засмаглими
Ми пролітали колись…

* * *

Скаче коник молоденький,
І сміється його вершник.

По росі рясній раненько
Залишає слід для сонця,
Щоб побачити ясненьке,
Як їм любо і раденько.
В вольній волі як по долі
Пролетіти, проскакати,
Перший промінь упіймати
І по ньому в небо, в небо
Відлітати, відлітати!

* * *

Ти згадай мене, мій любий,
Берег твій далеко,
Поміж нами очерети
Вічної ріки.
Може, десь у той світанок
Нам зустрінуться лелеки,
Як проходитимемо плаєм,
Як спускатимусь з гори.

* * *

Летіли лелеки
Здалека, здалека
До рідних країв, до осель.
Не можу згадати,
Де сіли лелеки,
Те місце не знайду тепер.

Та зірки підкажуть
І місяць посвіте.
А може, надія марна?
Бо світ завеликий,
А сонце у хмарах,
І так вже сумує душа…

Я там, між зірками
Забуду печалі
Земного, страшного буття…
Ті білі лелеки
Сховались за хмари
І звідти нема вороття…



Мария Луценко

Морская подборка

Этот город

Посвящается Одессе, городу моего детства

Этот город не хочет меня далеко отпускать.
Вьется длинным портовым канатом его пуповина.
Он вцепился в плечо, как пугливая старая мать
в уходящего взрослого сына.

Отгоняя врачей, отлучивших от нежной груди,
и упрямой волной, как рукой, под ребро подминая,
шепчет он: «Всё уже позади, всё уже позади.
Мы с тобой всё смогли». А рука от потуг ледяная.

Собирая меня по осколкам от старых любвей,
от истерик столичных, дурных, доводящих до комы,
он ведет на Жевахову, вверх, где растет суховей,
по путям родовым, сквозь тугие свои катакомбы.

Где бы я ни была, и в какую бы глушь не вела
эта злая судьба, он всплывает в мозгу воспаленном
и, раздев годовалую память, раздев догола,
нарекает прабабкиным именем горько-соленым,

что роднит с легендарной блудницей и Девой святой.
Этот город, как смерть. Он стоит на своем непреклонно,
глубиной поднебесной и страшной морской высотой
увлекая младенца назад, в материнское лоно.

Икра

Ты помнишь сон малька
и плеск волны,
и дна подстилку, мягкую от тины?
Наш путь не предвещал тогда вины.
Бесхитростный, оранжево-икриный,
наш мир еще не знал блесны тоски,
а рот – наживки проклятой и лживой,
но развивались хвост и плавники,
и кто-то наверху расставил живо
ловушки: поплавки и невода –
с тех пор пропахла жабра рыбным рынком.
Похоже, не узнают ни вода,
ни ты, ни я, ни новая икринка –
соленый, несмышленый пилигрим,
затерянный в кольце водоворота,
куда стремится времени Гольфстрим,
но нужно плыть с надеждами, что кто-то
пробьется вверх…
И, пойман на живца,
нам выкрикнет из мира из иного,
хватая смерть разодранной губой,
что видит он великого Творца
на льдине, в ожидании улова,
кожух его и валенок рябой.

Одесское

Р. С.

У качелей одно на уме, хоть скрипят о высоком.
Только сядешь, и вмиг рассекретят тебя облака.
Улыбается память, и бурым измазавшись соком,
обдирает о камни орехам зеленым бока.

Здесь впадает река моя в крайности, в райности, в детство,
оставляя пороги, сливается с новой водой.
В этот город впадая, так хочется сразу раздеться,
скинуть сумки, набитые мятой, лежалой бедой,

и по первому, самому древнему зову природы
стать по косточки в море, русалочью верность храня,
и входить так же тихо и нежно в соленые воды,
как однажды входил ты за тайнами жизни в меня.

Куриный бог

Сестре Юле

Когда выходит боль из берегов,
куриный бог – один из тех богов,
кто рядом в трудный миг, по крайней мере.
Хоть наделен куриной слепотой
и немотой, он – первый мой святой.
А тем, кто верит, воздают по вере.

Он мал, но никому не учит мстить
и что-то в жертву миру приносить.
Пусть он для тех, кто мыслит близоруко,
но Бог другой, который там, вдали,
на зов моей беспомощной земли
в ответ пока что не издал ни звука.

А этот теплый маленький комок
найти себя однажды мне помог
в руинах вер, где камня нет на камне…
И потому его я берегу,
что он один лежал на берегу.
И трудно верить в большее пока мне.

О шею трется бога гладкий бок.
Тем совершенней, тем прекрасней Бог,
чем меньше разных колкостей и граней.
И много лет спустя я поняла,
кого волна морская принесла:
куриный бог – божок воспоминаний.

Что видно сквозь невидящий глазок?
Бунгало, неочищенный песок,
похожий не на золото, на сажу.
И, разгребая копи голышей,
счастливые – как сотни малышей –
две девочки-сестры идут по пляжу.

Одна кричит: «Нашла, смотри какой!».
А нынче глянут взрослые с тоской:
– Куриный бог? Смешная… Вот умора!
Он понарошку назван божеством!
А где нашла? – Да там. На Зерновом.
Давным-давно.
В провинции.
У моря.

Вопросы ракушке

Ты не стала помехой в ботинке у рыбака,
не стесалась, как сестры и братья, о голыши,
ты забилась в белесый комочек известняка
и осталась надолго на донце его души,

как насмешка над планом Создателя – в пыль и прах
обратить все отбывшее здесь, на земле, свой срок.
Ты прозрачна, пуста, и тебя твой покинул рак,
и какой ты, скажи, в этой вечности видишь прок?

И зачем мы, ракушка, себя сохраняем так,
чтобы кто-то другой нашу память унес с собой?
Бьется сердце в нагрудном кармане. Звенит пятак.
Но в отбитое ушко не слышен земной прибой.

Киев



Борис Иванюк

«Слабеет звездная узда...»

* * *

Нашествие осы. Желтушный страх.
Оскомина зрачка? челнок на побегушках?
Надкусываю грушу. И оса
заштопывает мякоть груши.

* * *

Смахнули с имени слезу –
И проступил узор латыни.
Так снова слово умертвили
И дань отдали словарю.

Из обверлоченных прорех
летели хлопья карей масти –
и высшим косоглазьем мести,
и обещанием утех.

* * *

Снег снизошел, как первородный вдох,
как долгий звук далекого острога,
как лирика высокого озноба
и как чистописания урок.

* * *

Хочу, как косточка в свистке,
в каком-нибудь хмельном предсердье,
не помня родины и смерти,
болтать на божьем сквозняке.

* * *

Предсердье в охровом нытье,
и эти карие окалины,
и ока черствые окраины,
не размокаемые в вине.

* * *

Просох до нитки. И нутро,
как холм в проплешинах осенних,
как холст, промасленный терпеньем,
весь в желтых пролежнях. Простор
в порезах, терпких, как полотна.
Оторопев от обмолота,
свалялось русое тепло.
Прогоркло лето. И овраг,
осунувшийся от табачных крошек,
стал и кормушкой, и кормежкой.
И оспинкою на полях.

Процежен ветер. Голос слег.
И карей родинкою ока
слежу за родиной. До срока
завязывая узелок.
В нем от мучнистого толчка,
что по привычке вечно слева,
прощаньем наливалось слово,
как промыслом глухое тело,
как восковою спелостью свеча.

* * *

И дождь по вымокшей реке,
И пес, барахтающийся в лае,
И одинокой птицы стая,
И путник в собственном зрачке.

* * *

Клянусь отравленной рукой
Или отъявленной рекой,
Или веревкою нарочной…
Отыщут в звездной мелюзге,
И смысл, утопленный в слезе,
Возвысится в пыли народной…

* * *

Слабеет звездная узда,
Черствеют человечьи книги –
Твои лукавые уста
набормотали земляники.

* * *

Вчера, вечером мартовским,
Я умер от метафоры внематочной.

* * *

И подобрав с краев, как плат, я, без напутствия и платья, –
Туда, где муравейный брат, а не утробные собратья,
Туда, где карий коровай и хоровод родимых пятен,
Туда, в тот непочатый край и необжитые объятья.

Туда, в бескосточковый сад, под небосвод плодовой тверди,
Где земляные земляки не знают смертного усердья,
Туда, где не видать ни зги, и око в охровой облатке,
Туда, в тот близорукий рай – вниз по тесемочке балладной…

* * *

Не до прогулок. Окоем
в постромках весь и в поговорках.
Я пережду, счастливый, на задворках
сей птичий гам в отечестве моем.

* * *

Схоронили в черешневом чреве,
как сулил и судил мне Бог,
чтоб, прельстившись небесною плевой,
я опять в черновик не убёг.

* * *

Утехой тонкой табака
На подлокотнике оврага…
Нет ни оратая, ни врана…

И с тихой ниткой на запястье,
Хлебнув, отправлюсь восвояси,
У Хлебникова молока.

* * *

Уже еще сентябрь.
Огрызок недозрелый.
Уездное житьё.

* * *

О чем в предзимье
древесный слог качелей
в саду оглохшем?

* * *

Под буквою раскидистою в полдень
Я расплету табачную косичку…
Меня найдешь на долголетней полке
Закладкою на титульной страничке
«Поэзии и правды».

* * *

Ослабевают
Утиные узелки…
И днесь ни строчки.

* * *

Февраль, чернила. Чем во сне
между молозивом и словом
обмолвимся? Неужто снова
дождливым выменем весны
или морочливою сливой?

* * *

Затерпнет. Может, к октябрю.
И стихотворная забота
за табаком, за переплетом,
у притолоки поутру
напутствовать неперелетных.

Елец

Сергей Главацкий

«И ты отражаешься в зеркале...»

От начала начал

Я жил столько лет без тебя, что и страшно подумать…
До энной поры первобытной, до энного времени –
Одни Каракумы, во много пластов – Каракумы,
Оазисы в многоэтажной Сахаре – как премии…

И были хамады Меркурия – словно отдушина,
И были Венеры песчаники – словно оскомина,
И каждое солнце – рубин, аквамарин ли, жемчужина –
Мне тиглем казалось – сжигающим, плазменным, доменным.

Пустыни Вселенной исхожены полностью, полно-те!
Позволь мне дотронуться к воздуху, дай же напиться мне… –
Вот в этой острожной моей, убаюканной комнате –
Все ждет тебя – долго, так долго! – сроднясь с небылицами.

Ведь я же погибну, как пить дать – погибну, без глаз твоих,
Без рук твоих, губ твоих, губ твоих – под фейерверками…
Пески переплавились в зеркало, и, пока здравствую,
К нему подхожу я, и ты отражаешься в зеркале…

* * *

Там, где фейерверк наложился на зодиак,
Как отпечаток пальца на твою кожу,
Как самый счастливый день на жизнь,
Нас заметило бестелое око Циклопа –

Остекленевшее небо
С крупинками то ли льдинок, то ли блесток –
И обратилось в стоп-кадр,
Но мы не успели дернуть стоп-кран.
И теперь подснежники –
Будто гремучие колбы тысяч Везувиев –
Светлячками горят,
Закидывают невода с солнечными зайчиками
В тягучие озимые туманы –
В полях мартовских, бесконечных,
Где мы давно уже ходим
На расстоянии вытянутой руки
Друг от друга
И чувствуем в своих объятиях друг друга,
Но из воздуха, а не из плоти,
И ждем, когда от нас отвернется
Мир, мешающий нам видеть
И беречь друг друга,
А если дождемся,
То станет священным
То, что всегда считалось бесстыжим,
И молния станет бить в одно дерево,
Ведь другого просто не будет,
И аисты нас наконец-то услышат.

И никто никогда,
Кроме наших детей,
Не узнает, как я люблю тебя,
Ведь даже чувства такого
Еще не придумали небеса.

* * *

С утра пойдет толченый снег,
Такой, что толком не увидишь,
Каков – ослепший человек,
Каков – в глазу обрюзгший Китеж.

Лото снежинок сменит лед.
Воздушным змеем в Третьем Риме –
Ты в мир отпустишь самолет,
Чтоб он лавировал меж ними.

Не чуя трещин миража,
Не повинуясь отраженьям,
Войдешь в начинку гаража
И станешь собственной мишенью.

И не поймешь, что носишь мор
С собой, что вразнобой – все птицы,
Что я, мой Свет, так и не смог
Принять, что ты – самоубийца.

И станет Змей воздушный сед,
Упавший в Ирий, и, конечно,
Найдя на энной полосе
Тобой растерянную нежность.

Мой солдат

Мой боец, мой солдат, я теряю тебя,
Будто армию, будто победу над злом.
Если ангелы спят, когда демоны спят,
Я тобой прикрываю себя, как крылом.

Я тобой прикрывался, ты этим – жила,
Это был твой суровый солдатский паек.
Моя армия больше не стоит крыла,
О ней грустные песни сирена поет.

Твоего офицера знобит, мой солдат,
И победа над злом далека, за рекой.
Я поднялся на борт, и – уносит вода
Твоего офицера домой, на покой.

* * *

Мне снилось, что ты меня бросила,
И – бросила нехорошо.
Мне снилось, что жить мне до осени.
Хотелось немного еще.

Мне снилось, что ты повела меня
В дурдом, чтобы больше не знать.
Мне снилось, что я, уже каменный,
Ищу тебя с неба глазами на…
на собственных похоронах.

Проснулся: и правда, что бросила.
И правда, что – нехорошо.
Прошу об одном лишь – чтоб осенью
Среди провожающих оземь иль…
иль тех, что за мной бегут – с косами,
Тебя я глазами нашел.

В нашем средневековье

Не пройдет и нескольких кайнозойских сезонов,
не успею отпустить в небо ни одной пустельги,

я вернусь таиться
в ту стеклянную камеру обскура,
рядом с которой в другой такой же камере
таилась ты,
и дожидаться,
когда смогу дотронуться
до твоего сонного утреннего лица
своими руками.

Затем я буду сидеть на самом берегу моря,
которое всего раз за Вечность было неподвижным,

потому что спокойно было нам,
а ему было спокойно с нами,
и пойму, что никогда не покину его,
потому что люди меняются,
а оно остается нам в утешение,
заменой тем людям,
которых уже не узнать.

Потом я вернусь в тот день, когда
реки становились морями
и оттого мне было просто читать твои мысли,
прикоснувшись своим виском к твоему,
и потому никто-никто не поднимет голос
за оставленные на энной скамейке
энные солнечные очки.

И наконец, я промелькну мимо тебя
среди грохота ежей по тверди,
шума виноградной оторопи
и шепота мыслителей,
но мне только на секунду покажется,
что я промелькнул,
а на самом деле мгновение остановилось,
и я взял тебя за руку.

Я вернусь в это время
навсегда
из мира, из которого я,
как вампир,
выпил всю Любовь
ч-е-р-е-з-т-в-о-и-г-л-а-з-а,
и она сохнет во мне,
и мне некому подарить
ее сухой остаток.

Я стану небесным телом
там, в нашем средневековье,
над построенной нами Землей,
чтобы родиться твоим ребенком.

Валерий Юхимов

«Когда бы нам дано предугадать...»

* * *

когда бы вдруг классический рычаг
нашел опору для переворота,
чему своею тенью помешал
затмивший солнце рядовой пехоты,

когда бы наше все не заклеймил,
«поэзия должна быть глуповата»,
на брустверe отеческих могил
развеивает выхлоп экскаватор,

когда бы нам дано предугадать,
в руках с наполненною стоя у буфета,
какие благодать и перемать
сокрыты в простодушной строчке фета,

когда бы вновь восставший аполлон
не требовал сомнительных ответов,
нацеливая в жертву рифму «он» –
восьмидюймовое орудие поэта.

* * *

голый дождь сечет реку до волдырей
и черепицу разносит в хлам,
собаку не выгонишь из дверей,
а я звездячу по клавишам.

в тонких материях заплетаюсь пальцами
и не растопыриваю, на пианино играючи,
если нужно, мы и всевышнему сбацаем,
но пока я просто звездячу по клавишам.

оботрешь руки ветошью и продолжай,
имя свое и звук не оставишь нам,
славься имя иного, не облажай,
пока звездячишь по клавишам.

мои прихожане мало что знают о боге
и не ищут его земного пристанища,
музыка, говорят, разговор надолго,
а я просто звездячу по клавишам.

вечером трудного дня собирается мой народ
пропустить стаканчик, на вашего господа клавшие,
лейтенанты трущоб и бродяги различных пород,
и я им просто звездячу по клавишам.

отпускаю их, let my people go,
не читаю мораль и не езжу им по ушам,
я не занимаюсь чужою игрой,
и просто звездячу по клавишам.

когда же закончится этот бедлам
и в последний путь отправлюсь на кладбище,
и когда накроют крышкою, даже там
я услышу, как звездячат по клавишам.

* * *

тень змеи сливается с ней и вместе
они заползают под камень в приливе зноя.
человек, наперед все знающий об аресте,
изможден и приваливается к нему спиною,
пустыня внемлет молчанию, как благовесту.

он шевелит беззвучно губами, как будто споря,
известно с кем и о чем, пока не проснутся тени,
вот они потянулись цепочкой, неровным строем
и одна из них падает на колени,
хочется пить, но чашу несите другому.

так и пойдет по кругу, не проливаясь,
не иссыхая, мятая алюминиевая фляга,
многие руки звали, но только едва есть
во всей пустыне жаждущих каплю влаги –
губы, чтобы ее касались.

* * *

мельтешенье новоликих куполов в листве платанов
и потертости до отблеска ладоней, потиравших,
кроме камешков могильных с медяком, в твоих карманах
не нашаришь и бумажки завалящей.

не нащупаешь округлость летней бронзы, оброненной
в травы склонов под соцветье тамариска,
лишь согбенные лепниною балконов
подпирают их немолодые одалиски,

изменившие и энгру, и матиссу, на гастролях,
с хором козлорогих олимпийцев блудоватых,
вот и чешутся запавшие бемоли,
утепленные на зиму стекловатой.

тени ходят, не отбрасывая тени, друг сквозь друга,
тянет сыростью, трамвай искрит огнивом,
из тумана высекая дуги
на кольце, припаянном к заливу.

город южной речи, разлагаясь, йодом пахнет
из покоя прощального водорослей на берегу,
пусть его вечерний беобахтер
будет уходящему в долгу.

* * *

умертвив героя, хор с козьей мордой расходится по домам,
на подмостках разбросанные котурны,
инструменты – молоток, клещи и прочий хлам,
грядущий вослед культурной
революции панк-ислам,
гламурный

эврипидор машет с экрана, агора требует «бис!»,
он позирует с юношами праксителю,
мертвые губы, шепнув «зашибись!»
изображают покой спасителя,
подоспевший бриз
сдувает пылинки с кителя.

олимпийцев сгоняют назад в машину, вручив конверт,
ликование прет из туник дифирамбом,
подвернувшийся карфагенский кордебалет
дерут хореем и ямбом,
историю пишет незрячий аэд,
которую слямзил.



Анна Новицкая

«От сегодня к вчера – одна остановка...»

Анна Новицкая родилась в Одессе 16 декабря 1995 года. Она студентка второго курса Одесского национального политехнического университета, будущий культоролог. Свое первое стихотворение она написала в 2008 году. Анна была лауреатом поэтических конкурсов «Пушкинская осень в Одессе», «Моя незалежна Україна» «Каждый может испытать себя». Награждена дипломом Румынского консульства в Одессе за успехи в творческой деятельности.

У нее уже есть свой голос. Голос, умеющий передавать *свое время*. Таким, какое оно есть на самом деле, без наигранного оптимизма.

Игорь Потоцкий

Норвежское лето

У нас с тобой есть поезда и электрички,
Газировка, бутерброд и промокшие спички.
У нас с тобой есть крылья и весла.
Но, может быть, мы никогда не вернемся в Осло.

До нас и после нас – слова, слова, слова,
Мелодия давно покинувших нас дней,
Но в нас живет фиордов синева
И зелень каштанов аллеи Бюгдёй.

Мы, может быть, сюда не вернемся
И не увидим это небо, это солнце...

Как хорошо, что ты не знаешь, как больно поэту
В себе убивать норвежское лето.

* * *

В наши души – пули. Насквозь.
А может быть, просто ветер?..
Мы снова то вместе, то врозь
Доверяем слепо приметам.
Сверху – дождь, а снизу – лужи.
Слева – огонь, а справа – вода.
Этот город – он тоже простужен –
Оседает эхом на провода.
И обреченно сгорает вечер.
На небе звезды – как стразы
Или далекие свечи…
Ночь шепчет что-то бессвязно,
У нее опять не хватает слов,
Неизбежно настанет рассвет,
И мы ощутить сможем вновь
Всю нелепость этих примет.

* * *

От сегодня к вчера – одна остановка,
Одно застывшее мгновение
В заливистом смехе ребенка,
В птичьем полете, страхе падения,
В мягких весенних солнца лучах,
Застрявших в цветных занавесках,
В мягкости шелка на сутулых плечах,
В тяжести старых подвесок.
В мимолетной улыбке, в зигзагах
Вдаль уводящей дороги.
В шелесте старой помятой бумаги,
В приветствии громком с порога.
В трели звонков, звучащих все реже,

В подернутой волною кромке.
Все это будет уже не такое, как прежде.
От сегодня к вчера – одна остановка.

Этот город

Этот город – как нарисованный маслом,
В нем все как будто замедляет ход;
В нем я иду по лужам на красный –
В этом городе я – всего пешеход.

В этом городе я – всего лишь прохожий,
Спешащий вдаль, направо, мимо.
Этот город на хрустальный похожий.
Или он, скорее, из камня и глины?

Этот город – как будто из ваты,
Он из шерсти и полимера.
В нем люди живут в одеждах измятых
Без чувства времени и без веры.

В этом городе все слилось воедино:
Жара, дожди, снега и ненастье.
В этом городе явное – мнимо.
Этот город – нарисованный маслом.

* * *

Ми вже колись і якось тут були,
Вже бачили колись це море.
І вже неважливо, з яких берегів.
Ми, здається, на вічність забули,
Які тут бувають зорі –
Їх в пам'яті зберегли.
Тут хвиля морська біліє,

Мов сивина на скронях,
Звідси птахи відлітають у вирій,
Тут тримається вічність в долонях.
І море це – неначе іпостась,
Неначе сутність невідома,
В якої змінюється масть,
В якої ні відпочинку, ні втоми.
До моря звертаєшся, як до друга.
Тебе манить його кришталевая даль,
І в хвилях тоне твоя туга,
Твій смуток і твоя печаль.

* * *

Навіщо ти зриваєш зорі
Зі свого кишенькового неба?
У небі ж янголів доволі –
Ти їх збідняєш без потреби.
Навіщо тобі зривати сузір'я,
Зсипати їх за небокрай,
Де, згідно народним повір'ям,
Сховався невідомий Рай?
Там сузір'я – жмені,
Миготять, як ліхтарики долі.
А ти небо тримаєш в кишені,
А сонце – на своїй долоні.

Пращур

Твій невідомий бог щоночі
Викрадає з неба сонце
Й ховається у ковдру із сузір'їв.
Ти віриш йому і в нього.
В нього золоті руки і ноги.
Ти ще зовсім не знаєш мого невір'я.

Ти в нього просиш поради,
Правди, відповідей і відради
І зазираєш в його застиглі очі.
Вбачаєш знаки в усьому –
Напівживому й неживому,
Та сам хочеш жити, хочеш щомочі.
Й натягуючи в лука тятиву,
Ти возводиш йому хвалу –
Бо розум, на відміну від зброї, не бреше.
Ти переконаний, що ти у безпеці,
Поки уява в тебе Homo-молодецька,
Бо вірити в когось, тільки не в себе, – легше.



Евгений Голубовский, Евгений Деменок

В поисках формулы духа

Олег Аркадьевич Соколов. Легендарный одесский художник, поэт, искусствовед… Наверное, можно перечислять еще и еще. Олег Соколов действительно стремился к синтезу искусств, к выражению языком графики и живописи, и поэтического слова, и музыки. И наоборот – многие стихотворения Олега Аркадьевича посвящены изобразительному искусству.

Вот и мы решили статью, посвященную творчеству Олега Соколова, сделать синтетической. И каждый написать о своем. Первая часть рассказывает о Соколове-художнике, вторая – о Соколове-поэте и литераторе.

Евгений Голубовский

«Будь собой! Прочие роли уже заняты»

Одесская школа живописи и графики представляется достаточно хорошо изученной. Может быть, потому, что в последние годы действительно вышло несколько книг о Товариществе южнорусских художников во главе с К. Костанди, пристальней вгляделись как в первый, так и во второй одесский авангард. И все же некоторые фигуры, значение которых мне представляется первостепенным, все еще остаются в тени.

Прежде всего, мне кажется, необходимо понять, оценить роль Олега Аркадьевича Соколова, человека, стоявшего на грани двух эпох, опередившего на много лет своих коллег в понимании раз-

вития искусства. До сегодняшнего дня об Олеге Соколове нет ни монографии, ни даже достойных каталогов, хоть выставок у него были десятки.

Мы познакомились в 1956 году после нашумевшей тогда дискуссии в Одесском политехническом институте о современном искусстве. Олег Соколов, Юрий Егоров, Владимир Власов были среди публики, сегодня уже невозможно узнать, кто их пригласил на этот вечер. Если Дину Фрумину, Григория Крижевского прислал партком Союза художников, чтобы они дали отпор пропаганде импрессионизма, кубизма, футуризма, кстати, выполнили они этот наказ весьма неудачно, освистанные студентами, то Соколов, Егоров просто подошли в перерыве, пожали руку, и тогда мы договорились о встречах.

И вот в один из дней поздней осени 1956 года я впервые вошел во двор Строительного переулка и поднялся по лестнице в квартиру Олега Аркадьевича. Она же и мастерская. Первые впечатления: минимализм во всем. Стол, на нем тушь, краски, листы бумаги. Шкаф с книгами. Диван. Два-три стула. Во второй комнате жила мать Олега, в третьей – его сестра Таня с мужем. На всех стенах его живописные и графические миниатюры – площадь стола не позволяла делать большие работы.

Как всегда, подхожу к книжному шкафу. Набор для того времени необычный – Ф. Ницше, Э. По, Ф. Достоевский, О. Уайльд – в дореволюционных изданиях. Из советских изданий – только Александр Грин.

На стене кнопками прикреплен лист с афоризмами Оскара Уайльда:

«Пессимист, оказавшийся перед выбором из двух зол, выбирает оба».

«Учитесь у всех. Не подражайте никому».

«Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему».

«Будь собой! Прочие роли уже заняты».

Цитирую по памяти. Не все. Афоризмов было тринадцать. Олег сказал, что любит это число. Важно другое, мы с этой встречи дружили с Олегом до конца его дней, и я могу свидетельствовать, что Соколов жил по этим правилам, это был его кодекс чести.

Сейчас, после выхода книги Александра Дмитренко об истории Союза художников в Одессе, где перечислены все выставки, отмечены отзывы на них, легче быть точным в хронологии.

Не могло же так случиться, что талантливые художники, выдающиеся мастера, такие, как М. Жук или Т. Фраерман, В. Заузе или Н. Шелюто с середины 30-х годов «пропили» бы свой талант. Конечно, нет. Но общая обстановка в стране, создание огромных «колхозов» под названием Союз писателей, Союз художников и т. д. заставило их отказаться от живописных экспериментов, поисков, даже от лучших традиций Серебряного века.

В одной из статей я писал, что если государство сейчас ввело термин «дети войны», я бы в отношении творческих людей той поры, а быть может, не только творческих, ввел термин «дети страха». И никогда бы никого не стал винить, что, отсидев в застенках НКВД, они не совершали подвиги, а выполняли в меру таланта и добросовестности задачу соцреализма – показывать жизнь в ее процветании…

А затем – Великая Отечественная война. Кто-то на фронте, кто-то в тылу, кто-то в оставленном оккупантам городе. Среди тех, кто был на фронте, – Олег Соколов, до войны студиец-поэт во Дворце пионеров, студент-художник в училище.

Можно сказать, что война сделала его стойким, смелым. Но это не вся правда. Он помнил, что его мать из старинной старообрядческой семьи, что его отец – дворянин. Он не кичился, но гордился этим.

После войны учеба во Львовском художественном институте, а затем возвращение в Одессу…

На несколько областных выставок брали и до 1955 года миниатюры Олега Соколова, в основном иллюстрации к сказкам, близкие по духу к мирискусническим, но «проходимые» в то время. Но даже приблизиться к Союзу не дали – отщепенец.

В одной из своих статей я назвал Олега Соколова «человеком оттепели». Убежден в этом и сегодня.

Наступает 1956 год, «оттепель», пользуясь определением И. Эренбурга. У себя в мастерской начинает возвращаться к самому себе, к свободе, к декоративизму, иронии, но как бы на новом дыхании Теофил Борисович Фраерман. Ему остается жить всего

год, но и до 1957 года он успевает сделать несколько десятков острых, проникнутых ощущением молодости гуашей. Мы их увидим (и то – не все) на его посмертной выставке в том же 1957 году в Одессе. И хоть в предисловии к каталогу (анонимном) художника уже не упрекали в формализме, но по-прежнему звучал упрек в… камерности творчества. И лишь ученик Фраермана, правда, давно уехавший из Одессы, в своем творчестве отошедший и от заветов Фраермана, и от заветов Павла Филонова (а он учился и у того, и у другого), народный художник СССР Е. Кибрик в слове об учителе писал: «Когда до меня доходили слухи, что Теофила Борисовича называют формалистом, я не мог этого понять… он был очень тонким и оригинальным художником, творчество которого отмечено тем пытливым беспокойством, бесконечными исканиями, которые отличают каждого художника, обладающего художественной индивидуальностью».

Но, пожалуй, главное, Т.Б. Фраерман оставил не только гуаши 1956 года, но и учеников – Олега Соколова и Юрия Егорова.

Я не раз писал о прижизненных (часто подпольных, запретных) выставках Олега Соколова. Писал и после его смерти. И думаю, нашел определение, которое может многое сказать о художнике даже тем, кто не знал его (а знала чуть ли не вся городская интеллигенция, особенно научно-техническая, философская, медицинская, музыкальная): Олег Соколов – «человек оттепели». Он воплотил в себе идеалы шестидесятничества, но пришел к пониманию нелепости соцреализма как единственного пути развития культуры, нелепости политической системы, где деятели культуры были винтиками партийного аппарата, еще до смерти вождя всех народов, до речи Хрущева, ошеломившей многих и многих.

Я уже писал, что Олег Соколов прошел войну. А это была школа борьбы с диктатурой фашизма, и победителям казалось: как только кончится кровавая бойня, действительно наступит новая жизнь, люди ощутят себя «братьями и сестрами», как обратился к ним в первой своей речи, в 1941 году, всезнающий и всевидящий бог этого безбожного царства. И конечно, нельзя забывать, что Олегу Соколову просто несказанно повезло. Он не только учился в Одессе, а потом во Львовском художественном институте. У Соколова был Учитель – человек, принадлежавший по праву

и к одесской, и к парижской школе, друживший с Матиссом, Руо, Шагалом, выставлявшийся с ними на одних выставках – Теофил Борисович Фраерман. Ему уже не разрешали преподавать, но Олег ежедневно ходил к Фраерману домой беседовать (и оставил интереснейшие записи об этих разговорах).

Я не утверждал и не утверждаю, что Олег Соколов с конца 50-х годов был лучшим одесским художником. Рядом продолжал творить последний южнорусский мастер, тончайший колорист В. Синицкий, восходили звезды А. Ацманчука и Ю. Егорова. Но их творчество (особенно В. Синицкого) было как бы частным делом, изредка прорываясь на выставки, таилось в мастерских.

Олег Соколов был фигурой общественной. Он ломал догматы у всех на виду. Боролся за право показывать свои работы. И находил поддержку то в Союзе писателей, то в редакции «Комсомольской искры», то в Доме ученых. Но никогда, увы, никогда – в Союзе художников, где «дележ пирога», дававшего сытую и безбедную жизнь заказами от колхозов, заводов, санаториев, гостиниц и т. д., сломил талантливых людей.

А когда у Олега Соколова не было возможности выставляться, он открывал всем (подчеркиваю – всем!) двери своей крошечной квартиры, где жил и работал сам (поэтому формат акварелей, гуашей всегда маленький), где жили его мать, сестра с мужем. И все это – в двухкомнатной квартирке на тогдашней окраине города – в Строительном переулке. И единственная большая работа – антисталинская фреска, написанная на стене комнаты, сохранилась как протест против деяний усатого вождя.

Круг его творчества: от мирискусничества к абстракционизму, от оп-арта к контррельефам и аппликациям на бумаге, к стихоживописи, к музыкоживописи. Он был экспериментатором. Когда-то любимейший поэт Олега Соколова Велимир Хлебников делил людей на изобретателей и приобретателей. Олег Соколов был изобретателем.

Архив Олега Соколова огромен. Не говоря уже о том, что многие его работы украшали дома одесской интеллигенции. Он писал стихи, трактаты, даже воззвания. Да, это именно Олег Соколов вышел к кирхе с плакатом, когда ее собирались уничтожить, и протестовал против снесения старинной решетки вокруг скве-

ра у железнодорожного вокзала. Может, потому, что нет уже Олега Соколова, ее сняли и вместо нее соорудили нечто безвкусное и недостойное города?

Да, это Олег Соколов пришел в «Вечернюю Одессу» со статьей против антисемитизма, услышав с возмущением по одному из «голосов» выступление кого-то из лидеров недоброй памяти московской «Памяти».

Жизнь его была трудной. Постоянный надзор КГБ. Выход он часто находил в водке. Но и после запоя, после больницы, после невразумительных текстов в блокнотах он вновь возвращался в привычную форму, работал, как раб на галерах, каждый день в музее западного и восточного искусства и дома через ночь – до утра – 5-6 миниатюр.

Много читал, особенно в последние годы философскую и научную литературу. Любил музыку, особенно А. Скрябина, дружил с одесскими музыкантами, поэтами и прозаиками, поддерживал молодых, почувствовал огромные перспективы юного Александра Ройтбурда.

А сам ушел от мирискусничества, в которое был влюблен в молодости, от Бердслея и Ропса, занялся синтезом искусств, стараясь найти живописное выражение музыки Скрябина или Прокофьева, Шостаковича или одесского композитора Русинова, увлекся изопоэзией, коллажами – в отдельных листах достигал интересных результатов. Но параллельно писал абстрактные композиции, считая, что это и есть высшее достижение гармонии в искусстве.

И занимался общественной деятельностью – создал Клуб имени Чюрлениса, литовского поэта, художника, композитора.

Первая персональная выставка Олега Соколова состоялась в Союзе писателей, а не в Союзе художников. Все это после смерти «отца народов». А в 1966 году я открывал его персональную выставку в «Комсомольской искре». И каждая выставка – это был шаг вперед, попытка объяснить необъяснимое.

Уже не только разгромные статьи появлялись о его творчестве. Мог бы подавать заявление в Союз художников, но не делал этого. Ему важнее была свобода. Но не осуждал других – радовался успехам Юрия Егорова, Александра Ацманчука, Александра

Фрейдина, поискам Виктора Павлова, Николая Новикова, Валентина Хруща, Станислава Сычева и всегда говорил самому себе:

«Будь собой! Прочие роли уже заняты».

Евгений Деменок

Литературное творчество Олега Соколова

«Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы»
Олег Соколов

Литературное творчество Олега Аркадьевича Соколова – это целый пласт, исследование которого только начинается. Я не знаю в Одессе другого такого художника, чье литературное творчество было бы так тесно связано и сопоставимо по масштабу с собственно художественным творчеством. Виктор Сергеевич Никифоров в своих воспоминаниях об Олеге Соколове писал: «Олег Соколов кроме того еще и поэт. Некоторые, кто его знает, считают, что он даже более велик как поэт, чем как художник».

Это вполне объяснимо – писать стихи Олег Соколов начал в юности, в середине тридцатых, и поэзия всю жизнь была его спутником. В моем архиве есть совсем раннее стихотворение Олега Аркадьевича, «Флорида», написанное черной ручкой на пожелтевшем уже небольшом листочке бумаги и посвященное девушке Клаве, с такими строками:

Мне 18 лет…
И снова на рассвете,
Вновь об Америке
Сомнения томят:
Где ваше слово?
Ходите в берете,
И даже, вот,
Не любите меня…
По-боевому скоро мне одеться,

Подходит мой уже призывный год,
Но клятва, данная когда-то в детстве,
День ото дня все искренней растет.
И мне в лицо ударил
Горький запах,
Дым пороха и гари ветерок,
И как тогда хотел
Удрать на Запад,
Так я теперь
Уеду на Восток.
И если не вернусь в Одессу снова,
Коль умереть случится в том краю,
Скажите так: что он, как Оцеола,
Погиб в бою за Родину свою.

В 1937 году Олег Аркадьевич начинает писать *поэму «Лермонтов в Пятигорске»*, отрывки из которой можно найти в нескольких рукописных сборниках стихотворений, в частности, в сборнике «Железные цветы», куда вошли стихотворения 1937-1945 годов. Первый отрывок, «Рассвет», датирован 1937 годом. Отрывок «На водах» – 1941 годом.

Уже на фронте он начинает писать *поэму «Последний дворянин»*.

«Готовлю оформление казарм к празднику, – пишет он матери в ноябре 1944-го. – Все-таки хоть и грубая в художественном смысле работа, но все же и она дает удовлетворение. Начал читать роман Гончарова «Обрыв». До этого если и читал, то Чехова, то Пушкина. Вообще литературу я забросил, может быть, я расскажу тебе почему, а ты, как мне кажется, согласишься со мной. Говорит радио, покойный вечер, ужин, отбой, ватный матрац, спи спокойно, а вспоминается далекое страшное время, когда из-под самого Ровно мы отступали, мне хорошо было, подо мной был славный конь, лучший в полку, конь был полковника, но он поменялся с моим коньком, так как у меня был тихий чахоточный конек, а полковник был жирный и плохой наездник, его нервный и упрямый конь красавец пугал своей непокорностью, а мне он очень приглянулся. Пехота та, выбиваясь из сил, падала от марша. Потом бои у Коростеня, мины, спишь сквозь сон слышишь вой

снарядов и мин. Но привычка, спал крепко. Даже стихи писал, вернее, свою поэму «Последний дворянин».

Целую дорогую маму, Таню, хороших и близких знакомых.

Олег».

А вот строки о поэзии из письма сестре Татьяне – письмо отправлено из Тбилиси, куда Олег Аркадьевич попал после ранения, и датировано 19.8.44:

«Поэзия. Она убила во мне много хорошего. Вообще поэзия это искусство, ведущее к пропасти душевной, а нередко и к смерти.

Лермонтов. Я был в Пятигорске. Ну и местечко. За мной в долгу пятигорские улицы, цветники, горы. Целую и невредимую встретить после резни мечтает Олег сестру…».

Поэма «Последний дворянин» состоит из трех частей, каждая из которых разбита на главы. Во второй части, названной «Снятие колоколов», есть небольшое стихотворение «Одесса»:

Одесса

Империи последний день,
По городу гуляют офицеры.
Скандалят. Пьют.
Как подобает тем,
В страну родную кто теряет веру.
Она рассеялась, как дым,
Ждут оккупации с рассветом.
Газеты лгут.

Уже в ранних стихах Олега Соколова отчетливо выражено его отношение к советской власти и советской действительности. Поразительно стихотворение «Тост», вошедшее в рукописный сборник «Железные цветы» и датированное 1944 годом:

Тост

Еще одна годовщина
Голода и позора.
(Отпразднуем не как мужчины,
Быть нам такими не скоро)

Подымем тост за здоровье
И славу того человека,
Кто залил Россию кровью
И Грузию сделал Меккой.
Подымемьте тост за отчизну,
За нашу советскую землю.
За осени позднюю тризну,
За совесть, которая дремлет.
Подымемьте тост за бесчестье,
За рабское слово «назад»
Расстрелянных в красной мести,
Которым не взглянем в глаза.
Подымем…
Тоска без причины…
Такая кругом благодать.
За то, чтоб такой годовщины
Не приходилось встречать.

В этот же сборник вошло еще одно стихотворение об Одессе, названное «Родной город»:

Родной город

Одесса. Грохочет прибой,
Акации не отцвели.
Увижусь я вряд ли с тобой,
Тебя в облака увели.
Одесса. Надколотый дом,
Зари разгорелся костер.
Живи, коль мечта о другом,
Я не боюсь. Нож остер.

———————

Как верный раб тебе служить,
Я буду на земле.
Но только после не терпи,
В кромешной адской мгле.

Всю свою жизнь Олег Соколов будет «внутренним эмигрантом», и критика действующего строя будет одним из основных лейтмотивов его творчества. Такие стихи и фразы встречаются во всех его рукописных сборниках и артбуках. Например, в рукописном *сборнике «Горечь позднего меда»*, в который вошли стихотворения 1971-1973 годов, в частности «Дерзость», «Краеугольный камень тот стоит», «Палач», «Имярек», «Женщины из каменного века», «Размышление над рукописями моей жены», «Чердак», «Мечта», написанный на украинском «Сонет». Вот несколько сочных фраз из сборника:

В Одессе нет бригад
Коммунистического труда,
А есть: «Кому нести? Чего? Куда?»

И еще:

У всех сараи как сараи,
Но отставник из КГБ
С глазком устроил дверь.

Та же тема прослеживается в необычном и интересном *сборнике «Славянские хокку»*, созданном в 1972-1974 годы. В нем – около двух сотен трехстиший. Вот несколько хокку:

9. Девица, с именем Антон
Швырнула взглядом на могилу
Неизвестного секретаря обкома.

11. Советский искусствовед
С татуировкой «Слава КПСС».
«Спасибо, что закрыли дверь!»

28. – Одесса всегда хотела иметь Рембрандта,
Так она да, его будет иметь, –
Сказал Олег Аркадьевич Соколов.

35. Под ядерным зонтиком США
Писать бы пьесу…
Чувство вины.

37. Черные «дела» академика Сахарова.
– И не стыдно ему? Мне, простой женщине,
Жене тракториста, и то стыдно за него.

87. Истины высший критерий – практика.
Давай кофе сочиним, да почерней,
Вроде этой ночи.

88. Антисоветские,
Дурно пахнущие материалы.
С подлинным верно.

97. Характерные плоды коммунизма
Упадок городов.
Они превращаются в степи.

116. Пьяный с побитой мордой,
Но с букетом хризантем.
52-я годовщина Октября.

119. Пишет по-русски, но латинскими буквами.
Второй текст написан
Между строк первого текста.

В *«красном» сборнике* – в книжечке «Делегат більшовиків Одеси» записана абсурдистская пьеса «Комсомольцы 20-х годов» с сильно выраженным антисоветским характером; в сборнике собраны стихи 1970-74 годов, в частности «Стихи для философов о том, что рассказывает шум раковины», «Тяжело работать с дураком», «Собираю дожди», «Закоулок на процессе», «Сэр Исаак Ньютон», «Структурная данность», «Краеугольный камень», большое стихотворение, посвященное Герману Гессе.

Знаменитые артбуки Олега Соколова… Это микс искусств – тут и графика, и коллажи, газетные вырезки, стихотворения, мысли и фразы, пьесы… Каждый артбук – целый мир, рассматривая его, погружаешься в ту эпоху коммунистического абсурда, в ту атмосферу, в которой жила вся страна. И поражаешься смелости автора – каждая такая пьеса, стихотворение, даже фраза грозили тогда тюремным сроком.

Вот, например, *сборник «Точка над И»*, созданный в 1969 году. Эпиграфом – цитаты из Ницше и Пастернака, в начале сборника – молитва, а через несколько страниц – запись: «Избавимся от сорняков. Под сорняками я подразумеваю социалистическую идеологию». И подпись – Олег Соколов.

В этом же сборнике – два стихотворения, которые я хочу привести полностью.

Стихи с многоточиями

Искусство вещь нелепейшая… из себя

Так снятся сны о детстве…
Золотыми
Назвать их не мог.
И годы сталинизма,
Бедствий,
Мы жили ими.
Занемог
Отец и слег.
На кухне творчества
Мать.
Замки…
(Мы дети –
Не знаем, что творим.)
Выходим в ночь
За город, как за рамки.
Осенний хлад,
А мы горим, горим.

Из окон порт,
Мерцающий и дымный,
И год 37-й,
Как скопище Малют
Скуратовых…
Позором духа
Обязаны им мы.
Но палачам
Руки не подают…
Мы подавали, восторгались, пели
О дифирамбы од,
Оваций гром…
Не слушали
Как падали капели
Как свечи
Оплывают у икон.
Я – это вы.
Проклятьями заклят.
Оболган и освистан,
И оплеван.
Но не сейчас…
Пусть одуванчики стоят,
И сад в ромашках…
Но даю вам слово.

* * *

Ошибся тот,
Кто длань свою простер
К победе коммунизма!
Зря лавры брошены
В общественный костер.
Нам путь пересекают
Динозавры.

1969

15 июля 1969 года Олегу Аркадьевичу исполнилось 50 лет. С этой датой его поздравили очень многие. А сам он записал в сборнике «Точка над И»: «Стукнуло», как говорят, 50 лет. Осталось еще 23». Он ошибся всего на два года…

Вообще Соколов и мистика – тема для отдельного исследования. В «Безымянном» сборнике, который начинается стихотворением «Я, видимо, отпетый монархист», он пишет о том, что является реинкарнацией великого князя Олега Константиновича Романова:

«Задолго до моего рождения на спиритическом сеансе явился Олег Константинович Романов, заявив, что я рожусь через год и он будет во мне. Это рассказала мать, которая никогда не лгала».

* * *

Я из детства пришел,
Не найдя примирения с родом,
Со своим непокорным народом,
Только накрепко знал: «Хорошо»,
Только знал – хорошо, что минуют невзгоды,
То, что времени посвист ветру сродни,
Что минуют, как марево, тяжелые годы,
И придут благодатные дни.

27.1.88

Олег Аркадьевич никогда не забывал о своем дворянском происхождении. В 1988 году – этот год был особенно плодотворным для художника и поэта – он создает большой рукописный сборник, который иллюстрирует своими замечательными графическими работами. Сборник начинается таким четверостишием:

Я, видимо, отпетый монархист,
И для меня кровавые знамена –
Они как реквием поруганному трону,
Как поздней осени заупокойный свист.

Религиозные мотивы постоянно присутствуют в стихах Олега Соколова. «Бичами исполосован Христос, и время, что уходит под откос», – писал он 7 июня 1972 года. И далее: «Я слышу лязг бичей, Христопродавцев говор…». В стихотворении «Правда о русском солдате» из сборника «Железные цветы», написанном в 1943 году, есть такие строки: «Вы знали крещеную матушку Русь. Так знайте – Русь без креста».

В июле 1970-го Олег Соколов написал такое стихотворение:

В рабстве закоренели мы.
Пусть консерватор по инстинкту
Народ. Пусть благочестье смыл
Вал революции. Но лабиринтом
Плутать не будем. Знаем
Да, мы разрушили культуру.
Мы надругались. Что ж, резная
Ограда для надгробья сдуру
Ломалась. Били мы фарфор,
Жгли храмы. Вырубали рощи.
(Что, может быть, казалось, проще –
Решать наганом разговор.)
…
Христианство проповедовалось
Чистыми и строгими
Апостолами и их последователями.

«Ты знаешь, я сойду с ума, если ты не придешь, – пишет Олег Соколов. – Знаешь, я сделал так много. Потоки нейтронов идут по моему руслу. Я прочел письмена города Майя. Мои ракеты вырвались за пределы земных притяжений. Я понял, что цифры так же прекрасны и поэтичны, как мягкий овал лица камеристки Рубенса. Но если ты не придешь, все это не стоит выеденного яйца.

Вот почему эта серия так мрачна…

Я жду тебя, Господи!»

А вот еще фраза, записанная в 1967 году: «Кто делит мир не с Господом на двух, а с женщиной, – живет напрасно».

* * *

Эти сумерки духа
Наступают не сразу
Околотками дней
И стратегией тьмы
Исподволь затаенно
Не чуя заразу,
Меняя личину
С «эго» на «мы».
Революция выкрестов
На Евангелье чтимом
Плащаницу на простыню
Заменили смеясь
Не безвозвратно, не опалимо
Нас причастила к вечности грязь.
Голубя с проткнутой иглой в голове
Молодежь выпустила на волю.

7.IX.88

Поиски себя, своего места в жизни, смысла самой жизни… Много стихотворений Олега Аркадьевича – об этом:

Сонет-абсурд

Сознание над памятью кружит
Апокрифическою птицей,
А сон смежает рубежи
Как разночтенье образной границы.
Аннигиляция – как молния, как мысль,
Разверзшихся пространств излом и почесть,
И, сквозь туманы различая мыс,
Но не глазами… Для чего же очи?
Из будущего в прошлое пути,
У бесконечности на кромке сядет Фейнман,

Энергия и время у рутин…
О слово раскаленное – «наверно»
…
И может, мысль не так уже и вздорна,
Симметрии рассыпанные зерна.

27.8.73

В 1970 году Олег Соколов написал такое стихотворение:

* * *

Для одних истина – свет, а для других огонь.
Григорий Нисский

Я хотел бы выстроить
Огромный замок,
Высокий замок
На высокой горе.
Увешать его гобеленами,
Да, гобеленами,
Настоящими фламандскими,
Настоящими французскими
И только – XV века…
Пусть их осталось немного,
Совсем немного.
В залах замка
Я развесил бы свои работы,
Все 15 000
Но никого не пустил бы туда
В эту огромную экспозицию,
Занимающую 100 зал;
Потом прошел бы по всем залам,
Светя себе канделябром,
Старым масонским канделябром
Из трех свечей.
Внимательно и бережно

Осмотрев,
Я бы поджег все это,
Труды всей моей жизни.
Я бы даже не сказал:
«Придите и смотрите
На это страшное
Auto da fe,
Смотрите!»
Я бы этого не сказал,
А только молчал
И смотрел.
Вот что бы я сделал,
Если был бы очень богат.

Целый отдельный пласт – *стихи об искусстве и художниках*. В рукописный сборник «Красные корни» (стихи и рисунки 1974 и 1989 годов) вошло стихотворение «Рафаэль», датированное 27 декабря 1974 года. Есть у Олега Соколова несколько стихотворений о Леонардо да Винчи, есть стихи, посвященные человеку, которого он называл своим Учителем, – Теофилу Борисовичу Фраерману. В рукописный *сборник «Серебряный бор»*, созданный в 1975 году, вошли в числе прочих стихотворения «Серебряный бор», «Врубель», «На выставки импрессионистов».

Врубель

Поверженный демон, поверженный,
А может, художник нам хочет сказать,
Хочет сказать,
Что мы безудержны,
Что сломит гроза.
Это есть сила
Это есть страсть
Мы обессилены
Нам не встать.
Над мощью пророчит
Сиреневый свет

О гения росчерк –
Завет.
И крыл опаленных
И демона взгляд.
Забела влюбленно:
Здесь рай весь, здесь ад.
Никто не покинет
Насиженных мест,
Может, в Бекине
Голгофа и крест.
Цыганка разбросит
На картах судьбу
Художника спросят:
«Пишу я в гробу».

На выставки импрессионистов

Вдохнула жизнь сосна Синьяка,
Дерен мне руку подавал,
Анри Руссо испанкой яркой
Нещадно радовал.
Нещадно жег усталость, вялость,
А ты чего-то так боялась…
В плену у живописи я.
Боннар сиял.
Пикассо жег
Кликуш и дохлых недотрог.
Комедианты за столом
Какой душевный бурелом
О рыбы красные Матисса,
Леже – фабричный произвол,
Гогена стон,
Ван-Гога лица,
Сезанн суров и нелюдим,
Как неприступный паладин.
Какие девушки Майоля,
Родена вечный поцелуй.

Да, я сегодня был на воле.
Да, я сегодня не холуй.

Январь 1975

В *сборнике «Точка над И»* есть замечательное стихотворение «Творчество», посвященное Елене Шелестовой:

Раскрывается мир –
Неожидан и сразу –
То ли в форме цветка,
То ли в форме зари.
Что, привычное сердцу,
Что привычное глазу
Вдруг совсем непривычным
Тебя одарит.
И начнутся тогда
Беспокойные ночи,
О, как трудно тогда
Коротаются дни.
Ты идешь напрямик
Сквозь заслон проволочек,
Но всегда ты останешься
Безнадежно один…
Потому что привычное
Сердцу и глазу
Слишком близко.
Тяжелы сознанья лари.
Раскрывается мир –
Неожидан и сразу –
То ли в форме цветка,
То ли в форме зари.

1969

А вот строки из размышлений Олега Аркадьевича об искусстве: «Искусство есть выражение зашифрованной формулы духа. Я учу улавливать пульсацию искусства во всем». В рукописном

сборнике «Световая соната» есть такое стихотворение, датированное 14 августа 1971 года:

Искусство – как свеча в чулане,
Для вас, рожденные рабы,
Чесотки зуд
И скрип арбы
И уж, конечно,
Не взгляд ланий.
(…а звезды
Средь пространств небес
Сверкают истово и рьяно.)
Не с тупостью наперевес
Который год идет Ульянов.
Я ненавижу тусклый мир
Всех ваших новшеств и введений,
Партийно-производственных радений.
С гнильцой изрядной ваш кумир…
Я знаю, не обманешь ты
В своем бессильном наущеньи…
…
Замедленное превращенье
И постулаты суеты.

В сентябре 1979 года Олег Аркадьевич написал небольшое, но очень интересное стихотворение «Реквием футуризму»:

Не представлен к награде
За стихи, что на ветер,
Он погиб в Сталинграде – Маринетти.
За чужой закоулок,
За чужие потребы…
В миг последний сверкнуло
Италии небо,
В миг последний над гарью…
В кружке – спирт на здоровье.
Залиты регалии

Солдатской кровью.
До перевязочного не доползти…
Новая религия – мораль скорости.

В рукописном *сборнике «Красные корни»*, куда вошли стихи, рисунки, статьи 1974, 1989 годов и стихи 1973, 1981, 1988 годов, есть такое стихотворение:

После посещения художественного училища

Какое тусклое мерцанье,
Нет мощных крыл
Огня, дерзанья…
Замшелый мир,
Где благоденствие – кумир.

1973

Интересно, что Олег Аркадьевич не только писал стихи об искусстве, но и наоборот – неоднократно изображал графически поэзию и прозу. У него есть работа «Суть творчества Эдгара По». Или, например, такие работы – «Поэзия Бориса Нечерды», «Поэзия Ильи Сельвинского», «На стихи Булата Окуджавы», «Листья травы. Уолт Уитмен».

«Что касается стихов, то Великий четко подразделяет их на рациональные и чувственные, – писал Виктор Никифоров в воспоминаниях о Соколове. – Он создает серии не только цветомузыки, но и цветопоэзии. Вернее, даже не цвето-, а графо. Такие поэты, как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, их стихи ассоциируются у Соколова с переплетением четких черно-белых конструкций, линий, а такие как Есенин или Лорка – с аморфными цветовыми пятнами».

И действительно – у Олега Аркадьевича множество цветопоэтических, цвето-музыкальных, цвето-философских работ. Например, на выставке его работ, состоявшейся в 2008 году, были представлены такие работы: «Сибелиус» (1975), «Настроение

после Скрябина» (1988), «Ф. Шопен. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Ми Минор», «Пасха (Пасхальные колокола. Рахманинов)» и даже «Пол Маккартни «Питайся дома» (1977).

И, конечно же, Чюрленис. Творчество и идеи Микалоюса Константиноса – Николая Константиновича Чюрлениса сыграли особую роль в жизни Олега Аркадьевича. В начале 60-х Олег Соколов основал клуб «Цвет, музыка, слово» имени Чюрлениса – первое в Одессе общественное объединение, созданное без участия властей. Сестры Чюрлениса, жившие в Литве, были восхищены и поражены, а на научно-техническую конференцию «Свет и музыка», состоявшуюся в Одессе в 1969 году, одним из организаторов которой был клуб, приехали с выступлениями в числе прочих Витаутас Ландсбергис и Булат Галеев.

Хочу привести здесь два стихотворения Олега Соколова, посвященные гениальному литовскому художнику и композитору.

Чюрленису

В громах и молниях пишу
Я твой портрет
Листвы осенней, ветра шум –
Как твой привет
Как твой ответ тот сполох был
Багрянен и жесток
Просветом неба голубым
Вещал восток
О, Чюрленис, эта твердь –
По ней взалкал.
Пусть жемайтийскими крестами смерть
Скорбит пока
Пусть лестниц бесконечный ряд
Уводит в рай.
Твой жертвенник огнем объят.
В закате край.
В закате край и ливня шум,
Как твой привет.

В громах и молниях пишу
Я твой портрет.

* * *

За мишурой житейских благ
Не нам протягивать ладони.
Зари пылающий рейхстаг –
Чюрленис.

Нам бескорыстие – удел.
Души измученные кони
Нас держат столько лет в узде,
Чюрленис.

И если горестно тебе,
И друг участья не обронит,
Не падай духом среди бед –
Чюрленис.

Уходят годы и друзья,
К тому, кто птичьи стаи гонит,
Но быть жестокому нельзя:
Чюрленис.

Кто перед знаменем весны
Свои колени не преклонит?
Твои молитвы и посты,
Чюрленис.

Чюрленис – теплая свеча,
Скорбящей матери ладони.
За многое нам отвечать,
Чюрленис!

Совершенно отдельная страница поэтического творчества Олега Аркадьевича – *подписи к его работам*. К графическим

листам. Некоторые из них уже стали легендарными, как, например, это:

«Я математик». Норберт Винер
Пришел. Кругом царил застой.
А я художник. Сила – в синей
И обреченность в золотой.

А такое четверостишие написано автором на рисунке 1981 года, который хранится в моей коллекции:

Пространство дня – немыслимый барьер,
Но размышление уводит в глубину
Других пространств, решений, мер…
Пределы вечности – в стабильности минут.

На сотнях работ Олега Аркадьевича – его собственные стихи, выдержки из Мандельштама, Лермонтова, Федерико Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, Константина Бальмонта, Беллы Ахмадулиной… Многие листы подписаны сзади. В моей коллекции есть небольшой лист, подписанный и именованный дважды – 24 июля 1959 года Олег Соколов назвал работу «Кошмар», а через двадцать девять лет вновь подписал ее так: «Интересно, доживет ли мое искусство до 8861 года? Этот лист я дорабатывал 30.8.88, тогда и написал стихотворение «Уходят поезда в ночи». P. S. Сколько энергии таится в пространстве души, которая пропадает». Работа названа поновому – «Желтый ангел».

* * *

Несколько стихотворений Олега Аркадьевича были опубликованы в одесских газетах, в основном в «Вечерней Одессе». Пожалуй, самое известно из них – «Дон-Кихоты нужны», посвященное Булату Окуджаве. В начале 60-х Булат Шалвович был в Одессе и встречался с Олегом Соколовым – есть даже их совместная фотография.

Дон-Кихоты нужны,
Дон-Кихоты в чести.
В век двадцатый,
Зимою и летом,
Мы кончаем работу
К пяти иль к шести,
Дон-Кихоты – к рассвету.
Свеча оплывает,
Ты пишешь портрет,
Чтоб сказали:
«Фантазии, враки».
Состояние твое –
Все в том же копье,
В тощей кляче
И борзой собаке.
Каравеллы бегут,
Что с того, что ты – смел?
А до цели… Измучишься
прежде…
Для того чтоб обломки
От тех каравелл
Находили у мыса Надежды.
Дон-Кихоты нужны!..

Конечно, публикации Олега Аркадьевича – лишь верхушка айсберга его творчества. Невозможно, совершенно невозможно было в те времена публиковать настоящие мысли Соколова. И все они остались в рукописях.

Например, в сборнике «Наговор» (1972) Олег Соколов высказывает отрицательное отношение ко вводу советских войск в Чехословакию. Он прекрасно понимал, что это опасно. Ведь за ним пристально наблюдало КГБ, и не только КГБ. Вот, например, выдержка из дневника, который Олег Аркадьевич назвал «Я говорю правду»:

«20.X.63

Звонок из обкома комсомола: «Товарищ Соколов, с вами хотят встретиться рабочие одного завода, как это сделать? <…> Вос-

кресенье, у музея человек 10-12. По лицам вижу – что-то не то. И не рабочие, и не те, кто ко мне обыкновенно приходит. Что-то чуждое, злое… Дома – почему у вас висят иконы? – Я верю в Бога. – Почему на рисунке «Современная девушка» крест? – В моем представлении такая современная девушка. Вопросы свистят как из ведра, и самое худшее, что человек 5 записывают. <…> Через несколько дней один из хлопцев, который особенно усиленно спорил (оказывается, он из ЦК комсомола Киева) был в музее, часа два говорил, запершись в кабинете директора, с парторгом».

Не обращая внимания на подозрения и преследования, будучи вынужденным несколько раз прятаться от высылки или «посадки» в сумасшедшем доме, Олег Соколов продолжал говорить и писать правду.

Много лет Олег Аркадьевич писал одну большую пьесу – пьесу об абсурдности советской действительности.

«Но, все-таки почвой для развития его творчества является абсурдность нашего бытия, – пишет Никифоров. – У Соколова есть *пьеса абсурда*. Двести действий. Каждое действие с «Гамлета» величиной. Пьеса хранится в старинном окованном сундучке».

Действительно, каждое действие этой пьесы записано в отдельной тетрадке. В основном это обычные советские ученические тетрадки в линейку или клеточку. Каждое действие имеет свое название и представляет собой артбук, в котором коллажи, вырезки из советских и зарубежных газет и журналов перемежаются собственно текстом пьесы. В каждом действии – свои герои. Но едино общее настроение – советская действительность как абсурд.

Приведу несколько отрывков. Вот, например, действие под названием «Великий учитель»:

«У входа в театр стоят резервуары абсурда. Нужно помнить, что птица, которая долго поет, не сумеет свить себе гнезда. При театре баня с парной, березовые веники продаются только с афишками. <…> По театру ходит слушок, что жена режиссера имеет любовника-ассенизатора, да это видно и по нарядам.

Голос из ниоткуда: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки».

В это время на сцену выкатывают огромную гаубицу, что-то у нее колдуют, дуло направлено в зал, публика нервничает, но для успокоения публики выходит хор стриженых дворян.

Режиссер: «Пока мы наладим эту пушку, слушайте. Обратите внимание на парторга группы, в конце концов ставшего графом».

А вот отрывок из действия под названием «Марш «Красной субботы»:

«Немного забегая в будущее.

На Западе перед такими домами висит красный фонарь, и дом скромно называют «домом терпимости», у нас с возросшей уличной и школьной проституцией тоже дома с красными фонарями, но на них табличка «Приглашаем дружить».

Молодая проституточка с учебником «Продолжаем дрючить» зубрит: «Любить абстрактно мы любим, но не все умеем – давайте учиться».

Выходит комсорг с повязкой, назидательно: «Политики – командная сила, окончила бы искусствоведческий – ну что бы ты имела, в три раза меньше уборщицы. А здесь самому заву гороно минет делаешь. Только в нашей стране звездное положение женщины».

Далее в пьесе – вырезки из газет с описанием «красных субботников» и фотография Ленина с «бревнышком».

Каждое действие пьесы – особенное. Но каждое – глоток правды и юмора в удушливой атмосфере тогдашней жизни.

«Не знаю, судьба ли мне дописать эту тетрадь, – писал Олег Соколов в своем дневнике 8 октября 1963 года. – Но знаю – будет время, и все написанное мною будет издано. Будет. Ибо я показал, осмыслил ужас этого времени. Осмыслил. И если я сделал лист «Что творится на душе», то я рассказал о многих, всех душах».

Это время пришло.

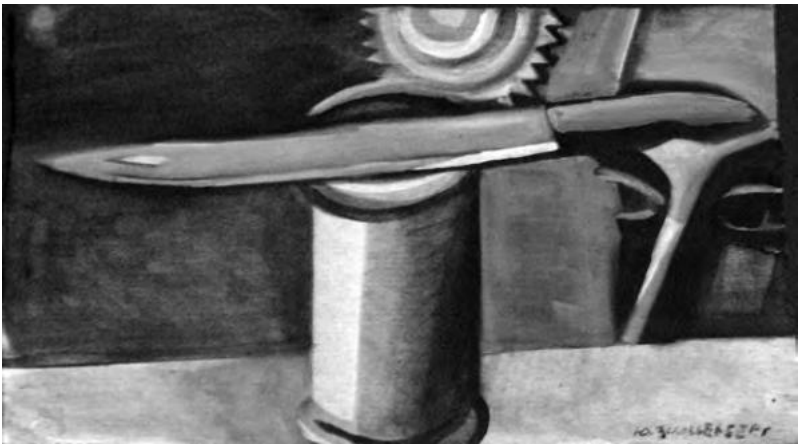
Катя Пименова

Юрий Серебряная Гора

Одесскому скульптору Юрию Зильберберу исполнилось 60 лет. Даже немного странно соотнести эту солидную цифру с самим мастером – образ этого замечательного человека таков: широкая загадочная улыбка, глаза с искорками, какая-то необычайная скромность и потрясающий индивидуализм – в самом прекрасном смысле этого слова. Юрий Давидович всегда так просто и непредсказуемо формулирует свои мысли, точно как в скульптуре – вроде бы просто, а настолько неожиданно, что за нюансами образа, формой, позой, ракурсом целая бездна смысла…

То, что Юрий согласился на эту беседу, – уже большая удача, думала я, когда мы вместе шли по Софиевской улице из Художественного училища им. Грекова, где преподает Юрий Давидович. Шли в сторону мастерской и обсуждали нелюбовь моего героя к какой бы то ни было публичности. Поэтому ли, или по какой иной причине, о нашем одесском выдающемся скульпторе





и художнике написано так мало. Удалось найти несколько заметок о выставке в Киеве в Музее современного искусства Украины в 2010 году, упоминание о выставках в одесских галереях «Тритон», «Философи» и совсем недавней – в центре современного искусства «Аурум».

Даже удивительно, что в последние годы в Одессе Зильберберг известен больше как художник-график. Но ведь он, прежде всего, – скульптор! По его же собственному признанию…

Мы пришли в мастерскую – в ту самую легендарную мастерскую самого Бориса Эдуардса, расположенную в Софиевском переулке (кто-то помнит его как переулок Ляпунова) как раз посредине между Одесским художественным музеем и Научной библиотекой им. Горького. Этот прелестный особнячок, который, как, в общем-то, большинство старых и именитых домов Одессы, находится не в лучшем виде. Но работать в мастерской Эдуардса, пусть даже и совсем не отапливаемой, это так… в данном случае – символично. Ведь жизнь и творчество автора памятников Екатерине II, Бернардацци, Суворову, множеству выдающихся людей (известному, в том числе, и по работе, которая находится сейчас в Одесском художественном музее, – «Шурка», очаровательный мраморный бюст мальчишки в газетной треуголке) до сих пор нуждаются в серьезном внимании историков искусства. Кстати,



единственный предмет, который действительно принадлежал Эдуардсу и до сих пор находится в его мастерской (Юрий Зильберберг занимает одну из трех располагающихся сейчас в доме), – это фигурная подставка под скульптуру, где до войны находился бюст жены хозяина – Бориса Эдуардса. Об этом когда-то упомянули жившие по соседству старушки, как-то заглянувшие в мастерскую… Сам Эдуардс был вынужден эмигрировать в 1919 году, умер он на Мальте в 1924 году. Но на вопрос о том, кто он, всегда отвечал: «Я – одессит!». В конце XIX века по его инициативе прямо на этом месте была создана первая на Юге России бронзолитейная мастерская, где Эдуардс создавал наш памятник Екатерине II!

Не одно поколение скульпторов работало в этой мастерской в разные годы.

Юрий Зильберберг рассказал, что в довоенные годы скульптурный цех производил, по воспоминаниям форматора Александра Шапиро, изваяния Ворошилова, Сталина и Ленина – во дворе были литейки. Эту мастерскую Юрий получил в 1993 году. Но – с тех пор не было заказов. А в советское время…

В Одессе с 1976 по 1992 год существовал Производственный художественно-оформительский комбинат. О нем иногда вспоминают наши художники. Сергей Папроцкий, Николай Овсейко, Людмила Васильева, Александр Лекомцев, Анатолий Пасечный, Борис Лукин, Сергей Ильин и многие-многие другие выполняли в то время заказы на комбинате. Там работал и Юрий Зильберберг. Работа скульпторов была очень тяжелой и оплачивалась невысоко. Но это было хорошее время, когда можно было получить заказ.





Юрий и его коллеги – Алик Перекрестов, Саша Шмуклер, в основном выполняли рельефы, потому что так называемая «круглая» скульптура была ограничена с начала 80-х, считалось, что это затратно.

С перестройкой появились новые возможности. Интересна история скульптурной композиции «Времена года» профилактория «Стройгидравлика», выполненная по проекту Веры Осташовой вместе со скульптором Кимом Литваком. Обнаженные фигуры олицетворяли четыре времени года. Дополненные рельефом, они украшали интерьер зимнего сада на четырнадцатом этаже здания санатория. Их судьба, как и многих произведений скульпторов, оказалась довольно грустной, вспоминает Юрий Зильберберг: «Это была масштабная работа. И если бы все было сделано, как планировалось, этой работой можно было бы гордиться!». Но, как часто бывает, от замысла к воплощению идея претерпевает деформации. «Если бы эта композиция была отлита из нормального материала, с правильным освещением и в соответствующем интерьере…» Юрий называет это неуправляемостью жизни, непредсказуемостью с юмористическим оттенком. Получилось так, что к тому моменту, когда скульптор Юрий Зильберберг набрался опыта и знаний и подошел к возможности всерьез творчески реализоваться, все как раз и закончилось – наступило новое время, скульптурный цех закрыли.



Поэтому Юрию Давидовичу пришлось заняться преподаванием. Сейчас уже более двенадцати лет мастер преподает в Одесском художественном училище, в том самом, в котором учился и сам. Заканчивал Зильберберг свое образование в Дагестанском художественном училище им. Джемала.

Из Грековки его исключили за резкое высказывание. Что именно прозвучало, мне узнать не удалось. Но явно это было что-то не заслуживающее столь радикальных последствий. Юрий вспоминает, что в Дагестане была очень хорошая человеческая атмосфера в училище, в отличие от одесского «концлагеря»… Ему даже предлагали остаться там преподавать. Но хотелось жить и работать в Одессе.

Еще одна интересная веха жизни моего героя – обучение в Одесской международной академии художеств. Это учебное заведение, к сожалению, просуществовало недолго – всего лишь с 1994 по 1996 год. Но, по мнению Юрия Зильберберга, это был очень яркий период в жизни многих одесских художников. И даже по духу Юрий сравнивает академию с Салонами Издебского! Вместе с Ольгой Котовой, Евгением Петровым, Александром Силантьевым они увлеченно учились у Адольфа Лозы, Григория Палатникова, Александра Князика…

Сегодня Зильберберг иногда делает небольшие гипсовые рельефы, скульптуры из дерева – мелкую пластику и графику. Совершенно определенно, что существует целая Вселенная, созданная автором. Это мир, наполненный образами животных и птиц, деревьев и зданий, особенных героев и предметов.

Картины мастер выполняет на оставшейся с советских времен грубой упаковочной бумаге темно-песочного оттенка – гуашью. У работ Зильберберга своя мифология и своя психология. Кажется, что его графика *скульптурна*. Это композиции, выстраивающиеся в лейтмотивы: бездомные животные, свободные птицы, бесприютные люди, старые дома, осиротевшие предметы, грустящие люди, обнаженные женские фигуры… О чем это? Об одиночестве, безысходности,



Сегодня одну из работ Юрия Зильберберга можно увидеть на улице Филатова, 33. Это фонтанчик, выполненный в виде фигуры лежащего человека, непринужденно подпирающего подбородок рукой и поднявшего ноги. Он как бы весело взирает на суетливые Черемушки, возлежа рядом с источником. Композиция сделана в начале 90-х, скульптор – Зильберберг, архитектор – Беликов. Эскиз Юрий сделал еще в конце 70-х годов. Скульптура из кованой меди изначально украшала улицу Филатова. Но со временем, как это часто бывает, что-то перестроили, фонтан перенесли – тем самым разрушив логику замысла авторов. Юрий Давидович говорит: «Спасибо, что не выкинули! Там даже когда-то текла вода. Но когда она стала дорогой – перестала течь…»

Наверное, неудивительно, что не все жители Черемушек хорошо знают это произведение. Ведь сегодня фонтанчик ютится между ограждениями, жилыми домами и новопостроенным бизнес-центром. Но это не беда. Ведь он есть! А это означает, что работа скульптора Зильберберга сохранилось до наших дней… Ведь в Одессе когда-то было много действующих фонтанов. А вдруг?..

несбыточности, предопределенности бытия? Или о синкретичности всего живого, взаимосвязи времен, таинственной вечной гармонии, о способности тщательно наблюдать за жизнью в ее мельчайших и важнейших проявлениях, существующей в каждом из нас?..

Ответ – в работах Юрия Зильберберга. Кстати, близкие друзья называют его Зиль или Зилек. А его фамилия переводится с немецкого как «серебряная гора». Теперь все ясно. И мне безумно хочется процитировать строчки из песни Б. Г.

…Серебро Господа моего, серебро Господа.
Выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской…

Феликс Кохрихт

«Меркнут знаки зодиака…»

Пройдя большую часть жизненного пути, я понял, и нынче могу в этом признаться, что мир для меня делится на тех, кто тут же продолжит строфу Николая Заболоцкого «…Спит животное Собака, дремлет птица Воробей», и на других. Они не хуже и лучше нас, но – другие. Есть еще сходство, но не родство, по Киплингу:





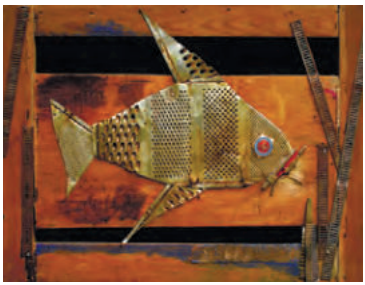














«Мы с тобой одной крови». Речь у певца джунглей идет о зверях их населяющих и человеке-охотнике.

Заболоцкий в своей колыбельной 1929 года, но скорее – метафизической молитве, ощущает родство с малыми сими, с теми, кто живет рядом с нами, и почти такой же, как и мы, но гораздо простодушнее, естественнее и беззащитнее.

Евгений Голубенко – один из немногих наших земляков, входящих в мировую творческую элиту. Он – художник-постановщик фильмов Киры Муратовой, с которой связаны и история, и сегодняшний день киноискусства. Этот семейный союз ознаменован победами на международных фестивалях. Но кроме творчества есть и еще одно объединяющее их начало – стремление помочь и человеку, и животному Собаке, и птице Воробью, и Кошке – существу (не упомянутому Заболоцким, но воспетому Киплингом и Хемингуэем), которое не укладывается ни в научную классификацию, ни в обывательские представления о домашних животных.

На недавней выставке работ Жени во Всемирном клубе одесситов были работы, на которых они сидят на деревьях, жмурятся на солнце в палисадниках на Малой Арнаутской, на террасах заброшенных фонтанских дач… Все это – наши дворовые кошки, к которым мы привыкли, но которых с восхищением и недоумением разглядывают иностранцы: как такая красавица живет у мусорного бака – место ей у камина, на коленях хозяйки…

Разумеется, профессиональные достоинства работ художника, его место в современном искусстве автор этих кратких заметок с выставки вовсе не определяет его жизненной позицией и гуманными устремлениями. Голубенко – мастер, владеющий не только разнообразными жанрами, от классического рисунка и живописи до абстрактных композиций, коллажей, скульптуры. Евгений создает в фильмах Муратовой мир вещей и предметов, интерьеров и натюрмортов – мыслеформы не высказанного в монологах и диалогах ее персонажей, среди которых случаются и кошки, и собаки…

Любопытно, что в объектах (создавая их, Голубенко умудряется пустить в дело все, что его окружает) сквозь пирамиды катушек, комбинации деталей часовых механизмов, хитросплетения проводов проглядывают черты (лица, а то и лики) кошек, рыб,



птиц, а то и домовых… Как бы связующим звеном между мирами живых и сотворенных человеком служат ветки и корни деревьев, фрагменты стволов, сухие цветы…

Признаюсь, особое чувство вызывают у меня холсты и картоны, на которых замер в ожидании неминуемого конца фантомный мир пионерских лагерей – еще недавно наполненный грохотом барабанов, пением горнов, шумом ребятни, отправляющейся на полдник, вечерним постукивание волейбольного мяча… Сегодня по велению Жени Голубенко его оберегают лишь наши воспоминания да коты и кошки – правнуки тех, кого я подкармливал пайковым творогом в пионерлагере работников госучреждений на 10-й станции Большого Фонтана.

Меркнут знаки зодиака. Среди упомянутых в мистерии Заболоцкого есть и одесситка: «дремлет рыба Камбала». Есть она и на одной из работ Голубенко. Есть еще повесть Сергея Рядченко, посвященная нашей ушедшей Скумбрие.

Сережа и Женя – авторы альманаха «Дерибасовская – Ришельевская».

Олег Кудрин

Об одессите Нюме и екатеринбуржце Науме Лазаревиче

Он родился не в Одессе, а чуть северней – в Бершади. Но места эти для нас не чужие: сколько одесситов носят фамилии тамошних местечек – Бершадские, Липовецкие, Чечельницкие, Теплицкие, Шаргородские, Ямпольские, Томашпольские… Во время войны его семье повезло – они успели эвакуироваться. Жили на Урале. Вернувшись, решили не оставаться в разоренном местечке, а переселиться в Одессу. В школу мальчик пошел уже здесь. Учился в ОГУ. Но так сложилось, что по окончании филфака он вынужден был уехать из любимой Одессы. И обосновался опять же на Урале. В Свердловске/Екатеринбурге Наум Лазаревич Лейдерман воспитал множество учеников, создал свою школу литературоведения. При этом никогда не забывал о родном городе, с особой страстью писал об одесских авторах (смотрите, например, http://magazines.russ.ru/authors/l/lejderman/).

23 января 2014 года Лейдерману исполнилось бы 75 лет. Знаю, что в Екатеринбурге отмечали эту дату. Уверен, Одесса и одесситы тоже должны вспомнить об этом замечательном человеке. Прикоснитесь к его духу, витающему в рассказах о нем сына, видного литературоведа Марка Липовецкого (Колорадо), и коллеги, профессора Нины Барковской (Екатеринбург), возглавившей после его ухода «лейдермановскую» кафедру.

Марк Липовецкий: «Отец обожал «считать одесситов»

– Хотя папа с мамой уехали из Одессы в 1962 году (я родился уже в Свердловске в 1964-м), все равно семья оставалась одесской. В Одессе жили практически все родственники, все бабушки.

И каждый год я с братом проводил лето в Одессе. Жили и на улице Баранова, и в Лузановке, и на Манежной… Все это для меня топография знакомая, родная. Так продолжалось примерно до моих 16 лет. А потом родители перевезли обеих бабушек к нам в Свердловск. И мы уже ездили реже: только поженившись, мы с женой в 85-м поехали в Одессу на студенческую конференцию, а потом уже вместе с отцом я ездил на Ахматовскую конференцию во время перестройки, в 1989 году.

Отец, приезжая в Одессу, всегда встречался со своим школьным учителем Виктором Дмитриевичем и его женой, Марком Георгиевичем Соколянским и некоторыми другими сокурсниками и одноклассниками… Он очень гордился, что когда-то жил именно на улице Баранова. Это одно из мест в Одессе, где останавливался Бунин. И отец не раз водил меня «смотреть» к этому дому, когда еще на нем никакой мемориальной доски не было (в 89-м уже была).

Не только в Одессе, но всегда и везде он, безусловно, оставался одесситом, что особенно бросалось в глаза на Урале, где преобладают иные темпераменты и иная манера речи. Когда, например, на лекции (или в любой другой ситуации) отец заводился, у него сразу появлялась одесская интонация.

– Классики, жившие в Одессе, отдельная статья. А кого любил Наум Лазаревич из авторов «одесской школы»?

– У него не было одного любимого автора. Можно сказать, что любимым был тот автор, над которым он работал в данный момент. Отец всегда страшно увлекался биографией, творчеством того, о ком писал, он просто говорил цитатами из произведений этого автора.

Он очень любил Олешу, и глава о нем для университетского учебника о литературе 1920-х годов, который он готовил к печати и который вышел уже после его смерти, – один из последних написанных им текстов. «Зависть» была любимейшей. При этом отец убедительно доказывал, что в этом романе та же система образов, что и в «Трех толстяках». На месте Толстяков – Андрей Бабичев, на месте Суок – Валя (и – убийственная машина Офелия), на месте Просперо и Тибула – Николай Кавалеров и Иван Бабичев. То есть «толстяками» стали бывшие революционеры,

а настоящая революционность принадлежит «лишнему» поэту и скандальному фантазеру. А вот «Ни дня без строчки» отец называл «руинами романа»: считал, что главное в этой книге это постоянные попытки Олеши написать роман и ощутимая невозможность это сделать (то ли в силу алкогольного распада сознания, то ли в силу исторических обстоятельств, а скорее, и того, и другого).

Но все-таки, пожалуй, была у отца одна более сильная постоянная любовь среди одесских авторов. Многие, наверное, удивятся, когда услышат это имя – Валентин Катаев. При всех сложностях его биографии, скверной репутации после негативного отклика о Пастернаке, подписанном письме против Солженицына… Но отец просто обожал Катаева за его мовистскую прозу. Помню, как он анализировал «Траву забвения». На 2-3 листах ватмана нарисовал систему мотивов, образов. Очень сложно выстроенная система, оказывалось, что в этой повести нет ничего случайного. Прекрасная новаторская статья была у отца о «Святом колодце», еще когда, в 73-м году! Многие, прежде всего, значительная часть либеральной интеллигенции, крайне агрессивно встретили «Алмазный мой венец», но отец и к этой вещи относился с симпатией. Для него Катаев был главным наследником одесской школы модернизма, в котором жадная цепкость к плотским деталям (порой переходящая в цинизм) сочеталась с безудержной фантазией, легкостью. Это тот случай, когда художественный текст богаче, умнее автора. Показательно, что о Катаеве и сейчас много дискутируют…

Вообще, знаете… Есть такая привычка, как говорится, «считать евреев». Так вот отец обожал «считать одесситов»: «И Гинзбург наша! И Чуковский наш. И Паустовский тоже наш – первую часть творческой жизни провел в Одессе…». Отец по-особому воспринимал этот город на эмоциональном уровне: особого рода эстетическое пространство, согретое детскими, юношескими воспоминаниями, дружескими связями.

– Кстати, а ваши родители говорили на идиш? Ведь еще совсем недавно это был живой язык.

– Да, отец с мамой между собой иногда говорили на идише. Это был специальный язык для секретов от детей. Мы с братом,

конечно, кое-что постепенно научились понимать, но именно в силу секретности этого языка ничего толком не выучили (кроме особенно популярных в нашей семье ругательств), о чем я сейчас жалею. Отец вспоминал, что со своей бабушкой Миррой, которую он очень любил, они разговаривали только на идише. А с родителями на смеси русского и идиш. Но когда они вернулись из эвакуации и, как я понимаю, некоторое время жили в Бершади (местечко в Винницкой области, где отец родился), там, говорил он, даже дети играли в войнушку на идише.

– Одесскому говору способствует также городской фольклор – одесские песни, анекдоты, байки…

– Из одесских песен отец больше всего любил «Шаланды, полные кефали», то есть, строго говоря, хорошую стилизацию. Дело в том, что любя одесские песни, папа с некоторой брезгливостью относился к блатному или приблатненному фольклору. И максимум, что мог спеть этого рода – «С одесского кичмана сбежали два уркана»… Из репертуара Утесова. Но он действительно очень любил одесские анекдоты, одесский юмор. Как-то, задумавшись, сказал мне: «Я понял, в чем главное свойство одесского юмора». И привел в качестве примера ситуацию, которую он видел своими глазами. В одесском троллейбусе какая-то склока. Все перессорились. Два мужика уже готовы начать драку. Вдруг стоящая рядом бабка говорит им: «Ай, бросьте… Сейчас будет 2-е еврейское кладбище. Там уж и деритесь». Быстрый резкий переход от быта к экзистенциальности – вот что главное.

– Ну, и знаменитая одесская кухня, собравшая все лучшее со столов многих народов…

– О да. И мама на Урале сохранила традиции одесской кухни в блистательной репрезентации. Могу с гордостью сказать, что и моя жена ей наследовала. Любимые блюда – икра из баклажан, фаршированная куриная шейка, мясо с черносливом, а также штрудель, торт наполеон…

– Как часто Наум Лазаревич вспоминал об Одессе, живя так далеко, на Урале?

– Очень часто – разные ситуации, случаи из одесской жизни. Так было всегда. Но в последние годы он говорил о ней *постоянно*. Признаться, меня это даже удивляло: «Ну почему все время

об Одессе?.. Ведь вы же с мамой в Свердловске прожили уже вдвое больше, чем жили в Одессе!».

Часто он вспоминал о школе – у них был любимый учитель Виктор Дмитриевич. Вы, наверное, уже знаете, что папа с мамой учились в раздельных школах. А когда мальчиков и девочек объединили под одной крышей, они с мамой с самого начала сидели за одной партой… Так вот, Виктор Дмитриевич, который, вообще-то, преподавал украинский язык, всех их сумел заинтересовать литературой. Полагаю, эта любовь у отца – от него. И еще в 8-9 классе отец со своим другом Виктором Коваленином (впоследствии отцом знаменитого переводчика с японского Дмитрия Коваленина) хотел писать книгу… Но какую – не детектив, не приключения. А книгу о Чехове, не о ком-нибудь, а именно о Чехове!

Прозвище у любимого учителя было несколько неожиданное – Буратино. В школе учились во вторую смену. Когда отключался свет (в Одессе это было часто), зажигали керосиновую лампу. И у учительской тени на стене был длинный нос. Но его очень любили. Он гонял с ними в футбол, ходил в походы, вообще, как говорил отец, возился, как с родными. А пацаны, насколько я понимаю, были самые разнообразные, включая и совершенную шпану с криминальным будущим. Но их всех объединяла безотцовщина. Плюс матери, работавшие с утра до вечера. У Наума Лазаревича была, счастливое исключение, полная семья. Но его отец тяжело болел, проводя по полгода в больницах, а мать работала в поселке Коминтерн фармацевтом, откуда приезжала в Одессу только на выходные. Так что о папе, в основном, заботилась бабушка. Вот почему то, что делал для него и его одноклассников Виктор Дмитриевич, было так ценно. И Наум Лазаревич пронес благодарность к нему через всю жизнь. Как я уже говорил, всегда, приезжая в Одессу, мы шли в гости к Виктору Дмитриевичу.

– Наум Лейдерман хорошо учился?

– Да, он получил серебряную медаль, что по тем временам означало только один вступительный экзамен в университет. И папа, поступавший на филологический факультет, его сдал вполне успешно. Но когда дело дошло до зачисления, оказалось, что его не приняли. Тогда папин отец (а он уже был очень болен) взял эту медаль, похвальные грамоты за все десять лет (они тогда

чего-то стоили!) и пошел к ректору. Тот перенаправил его к декану. А тот говорит: «Я не могу принять вашего сына!» – «Почему?» – «У нас тут в этом году так много детей Героев Советского Союза, сынов полка…» Но все-таки похвальные грамоты возымели действие, и отца приняли. И он позже рассказывал: «Учился я с этими «детьми Героев Советского Союза». Конечно, все это оказалось полной туфтой. Декан врал на голубом глазу. Все дело было в государственном антисемитизме – процентной норме на евреев. Позже, по окончании университета, вся эта история повторилась… Но я забегаю вперед.

В университете отец со второго курса был комсоргом факультета, и надо сказать, очень любил всю эту работу. Дело было в самый разгар «оттепели» (они с мамой поступили в ОГУ в 1956-м), и отцу казалось, что можно все сделать весело и интересно. Когда я расспрашивал его о том времени, он мне часто говорил: «Нам тогда казалось, что больше не будет сволочей». Комсомольская работа для него означала, прежде всего, «самодеятельность». Вместе с ныне известным литературоведом Марком Георгиевичем Соколянским они создали театр студенческих миниатюр. Отец гордился тем, что организовывал настоящие огромные концерты (кто занимался этим, представляет, чего это стоит). Вообще, он вполне мог бы стать продюсером, в нем была эта жилка. Он и в Свердловске устраивал студенческие КВНы, до старости лет с удовольствием играл в скетчах и вообще обожал, когда можно было, как он любил говорить с совершенно особой интонацией, повалять дурака. При этом совершенно не терпел халтуры. Все экспромты, повторял он, должны быть тщательно отрепетированы. Помню, как в детстве решил сделать кукольный спектакль, усадил папу, маму, бабушку и стал разыгрывать, читая текст по книжке. Папа возмутился: «Так ты, что же, наизусть не выучил?». Встал и ушел. Мне было лет 6.

– Такая раскованность, окрыленность – последствие оттепели?

– Художественная самодеятельность в те годы – элемент самораскрытия общества, политически острые шутки – непременно. В 1958 году отец ездил на целину комиссаром студенческого отряда. Работал, устраивал представления, организовывал кон-

церты. Он, притом, что всегда был яростным антисталинистом, очень дорожил комсомольской молодостью. Но потом сменилось поколение, реальность была уже совсем другая… И папа никогда не мог понять моего ироничного отношения к комсомолу, говорил: «Но это же все можно сделать интересно!».

При этом он был круглым отличником. Диплом «Человек на войне» (центральные персонажи – молодые Юрий Бондарев и Григорий Бакланов) – даже сейчас читается как очень интересная, яркая, темпераментная работа. Но на кафедре отца не оставили, в аспирантуру не позвали, а он хотел заниматься наукой. Единственное, что ему предложили, – быть руководителем студенческого клуба. Он проработал на этой должности год, но это было совсем не то, чем он хотел заниматься. А почему они с мамой уехали именно в Свердловск? Дело в том, что отец по окончании университета размножил свой диплом и разослал его в толстые журналы. И вот пришел ответ из журнала «Урал». Писала ему завотделом критики Нина Андреевна Полозкова. Сказала, что работа интересная, но слишком большая. Если сократить, то они могут напечатать, а пока-де не хотите ли написать для нас рецензию? И он стал писать для «Урала». Кроме того, в Свердловске жил папин дядя с семьей. К тому же, об Урале у отца были теплые воспоминания, поскольку в эвакуацию они жили в Карабаше Челябинской области (в экологическом отношении жутком месте, но отец помнил – и даже написал об этом – теплые камни). Так отец с мамой уехали из Одессы. Из-за процентной нормы.

А в Свердловске они с мамой легко нашли интересные работы. Маму, по образованию химика, сразу взяли в научно-исследовательский институт. Отец практически сразу начал работать преподавателем – сначала в крупнейшем и весьма богатом уралмашевском ПТУ, где между делом написал десяток методичек, затем в СГПИ (ныне УрГПУ), где он одновременно учился в заочной аспирантуре. Параллельно с преподаванием и аспирантурой он интенсивно сотрудничал с журналом «Урал», где появились его первые большие критические статьи, сразу привлекшие к нему внимание. Именно со Свердловском-Екатеринбургом оказалась связана вся научная – и не только! – биография Наума Лазаревича. Здесь он написал две диссертации, более семидесяти книг

и три сотни статей. Именно здесь он в 1982 году создал кафедру современной русской литературы, вокруг которой выросла целая научная школа, был создан ученый совет, под его руководством были написаны и успешно защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций. Здесь родились и мы с братом Ильей – тоже, кстати, доктором наук, только медицинских. В Свердловске-Екатеринбурге отец стал настоящей знаменитостью. Его выпускники были повсюду, его постоянно тянули на театральные прогоны, к его мнению прислушивались, его цитировали, на его публичные лекции было не пробиться. Конечно, были и недоброжелатели. Помню, мы с женой учились на филфаке, и когда появилось знаменитое письмо Натана Эйдельмана, укорявшего Виктора Астафьева за антисемитизм, нам рассказывали, как наш преподаватель во время обсуждения этого письма сказал: «Один из московских Лейдерманов написал письмо Астафьеву…» (хотя Астафьева отец как раз очень любил). Поэтому когда отец отнес в «Урал» мою первую критическую статью (мне было семнадцать лет), разумеется, написанную под его руководством, – он предложил: «А давай ты будешь Липовецким. Одного Лейдермана городу вполне достаточно». Липовецкий – это фамилия папиной мамы, и он очень горевал, что она исчезнет. Так я стал Липовецким.

– А во время вашей учебы он вспоминал что-то, так сказать, в педагогических целях?

– Однажды рассказал: пацаны подбрасывали на лестнице паренька. От полноты чувств и для взаимного удовольствия. И не смогли поймать. Тот упал на ступеньки и убился…

– Какой ужас! И какую же мораль извлек Наум Лазаревич из этого случая?

– Ту, что «школа – смертельно опасное место». Когда на ограниченной территории собирается такое количество детей подросткового возраста, может произойти все что угодно. Конечно же, повод для такого рассказа был сильный. Я прошелся – вместе с одноклассниками – из одного окна класса в другое по внешнему (правда, широкому и прочному) карнизу на высоте пятого этажа. Тогда в моем дневнике появилась историческая запись: «Вел себя с опасностью для жизни!», а отец пошел в мою школу читать лекцию о ценности жизни.

– Жизнь и смерть… Как ваш отец относился к этим понятиям? Был ли он верующим?

– Отец не был религиозным человеком. И нас с братом воспитал так же. Он смотрел на религию как историк культуры – как на систему мифов в их трансформациях. Всякая религиозная ритуальность отца раздражала и даже отпугивала. При этом он всем интересовался. Как христианством, так и иудаизмом. Впрочем, лучше всего он знал греческую и римскую мифологию, поскольку многие годы преподавал античную литературу (студенты даже называли его «Зевс-громовержец»). Но в вопросе веры у отца была последовательная и честная позиция: человек должен сам брать на себя ответственность за жизнь и смерть, не перекладывая ее на «высшие силы». Я помню, как, прочитав какого-то из русских религиозных мыслителей начала века, он с разочарованием протянул: «Так это все у него от страха смерти, а я-то думал…». Его такая аргументация не устраивала, его главным мотивом было – успеть сделать как можно больше. Прежде всего – написать все, что задумано. Даже когда у него пошел поток тромбов (от которого он и умер), и его увезли в реанимацию, он, едва придя в себя, попросил маму принести ему блокнот и ручку – ему нужно было записать какую-то новую, только что пришедшую в голову мысль. Мама принесла – но тромбы пошли снова…

Нина Барковская: «Был генератором идей, будто у него моторчик в голове»

– Я познакомилась с Лейдерманом в 1981 году, когда пришла работать в педагогический институт.

До этого я только изредка видела Наума Лазаревича и слышала о нем от мамы, которая преподавала классическую литературу в пединституте. В начале 1980-х гг. еще была единая кафедра литературы. Но вскоре Наум Лазаревич защитил докторскую диссертацию, и в 1985 году по его инициативе была создана кафедра современной русской литературы, которую до сих пор все зовут «лейдермановской».

– Как Лейдерман относился к одесским авторам? Были ли у него «любимчики»?

– Он много писал о Бабеле, о Катаеве. Лекция о Бабеле была блестящая. Да, мне кажется, что его Наум Лазаревич любил больше всех. Но эта любовь не была слепой. Глубокий ученый, Наум Лазаревич не просто восхищался, а анализировал текст, обнаруживая то, что скрыто при поверхностном чтении. «Одесские рассказы», по его мнению, это трагическая история. А то многие привыкли видеть в них легкое чтение, в Бене Крике – весельчака, предшественника Остапа Бендера.

– Какие одесские качества чувствовались в личности Лейдермана?

– Потрясающее жизнелюбие! Он очень многое любил в жизни. Спорт! Прекрасно играл в волейбол, блестяще плавал. А еще любил петь. У него был прекрасный слух. Во время застолий играл роль тамады. И мы под его руководством пели всей кафедрой. Он очень любил романсы. Пел, конечно, и одесские песни. Не скажу, что какие-то особенно редкие. Такие, чтобы все могли подпевать, – «Шаланды, полные кефали», например. Любил и умел рассказывать анекдоты. В том числе одесские, еврейские. В Новый год Лейдерман был у нас лучшим Дедом Морозом, настоящим – с бородой из ваты. И на Дне первокурсника любил выступать. Был остроумен. И когда создавалась кафедра, именно он настоял на том, чтобы назвать ее «…современной русской литературы». А не «…литературы XX века». Сказал: «Зачем? Все равно век скоро кончится…».

– Был ли у Наума Лазаревича южный, одесский акцент?

– Когда читал лекции, делал доклады, акцента не было. Но если хотел – акцент появлялся, он его очень хорошо изображал. А также говорил отдельные слова и фразы на идиш, на украинском. Все к месту, все по ситуации. По человеческому типу он слегка напоминал Жванецкого… Заветная идея Лейдермана – развивать межнациональные контакты, исследовать взаимодействие культур.

Он был всесторонне одаренным человеком. Хорошо рисовал. Однажды на какой-то праздник очень быстро, просто у нас на глазах сделал шаржи на всех членов кафедры. Моментально!

– Какие у него были слабости?

– Любил поесть и других накормить. Говорил: «Вот почему я такой добрый…». А он действительно был добрый. Не добренький, а именно добрый. «…А потому такой добрый, что борща сегодня навернул». Лиля Иосифовна, его жена, замечательно готовит. У них в семье вообще – потрясающее хлебосольство.

– А отношение к семье?

– Не знаю, насколько это национальное качество… Но Наум Лазаревич был удивительно семейным человеком. Как он любил жену, детей, внуков… Когда родилась внучка, Наум Лазаревич был так счастлив – чуть не до потолка прыгал. Ведь до этого все мальчики в семье были… Он же с женой был знаком со школы. Она, судя по его рассказам, была круглая отличница, а он не так чтобы хулиган, но и не пай-мальчик. Потом вот они создали семью. И всегда были вместе, воспитали двух замечательных сыновей – докторов наук. Он и кафедру воспринимал как семью, и был по характеру вожаком, даже предводителем.

– Как вам кажется, кто из родственников оказал на него наибольшее влияние в детстве?

– Лейдерман много рассказывал о бабушке. Она только на идиш говорила, по-русски ни слова не знала. Да, удивительно, но о родителях он мало говорил, все – о той бабушке, о ее мудрости… А на праздники Лейдерман никогда не говорил: «Живите богато!», «Живите спокойно!». Нет, всегда желал: «Живите весело!». И сам Наум Лазаревич был генератором идей. Будто какой-то моторчик в голове. Но он же не просто предлагал, он все делал, ходил по инстанциям, пробивал. Сколько после него осталось! И научно-исследовательского центра «Словесник» без Лейдермана тоже никогда бы не было, и журнала «Филологический класс», и ежегодного сборника научных статей, да и кафедры: сейчас больше половины наших преподавателей – его ученики.

– Любил ли Лейдерман природу Урала? Или стремился к морю, в Одессу?

– Во время войны, в эвакуации, Наум Лазаревич с мамой был в Челябинской области, в Карабаше. Если честно, это один из самых индустриальных и экологически грязных городков на Урале. Но даже о нем Наум Лазаревич всегда вспоминал.

Он очень любил природу, в том числе уральскую. Грибы собирать обожал. Но и к морю всегда ездил с радостью. К сожалению, не очень часто получалось. Помню, нам дали профсоюзные путевки в Архипо-Осиповку (побережье Северного Кавказа). Наум Лазаревич замечательно плавал. По дороге с пляжа мог купить домашнего вина, выпить пару стаканчиков. Да, аскетом не был. Странно, но как мне казалось, в Одессу он не очень любил ездить. Слишком большая часть жизни – мужской, человеческой – прошла уже здесь, на Урале. Уральцы – люди не очень ласковые. Их зовут «бурундуками» (не мы сами себя так называем, а со стороны говорят). Потому что очень сдержанные, закрытые люди. А Наум Лазаревич был другим: открытый, доброжелательный – быстро увлекался. Хотя нередко потом разочаровывался.

– Какие еще привязанности были у него?

– Настоящий «собачник». Как и я. Принципиальный, убежденный. У него был эрдельтерьер Нора. А кошек не любил. Помню его фразу: «Когда я вижу кошку, мне хочется загнать ее на дерево». Не со зла, конечно, а так – от живости характера.

– Чувствовалась ли в Лейдермане религиозность?

– Он всегда говорил: «Я – русский еврей», – делая одинаковое ударение на оба слова. В последние годы Лейдерман интересовался метафизическими вопросами. Любил давать темы для дипломов, связанные с сакральной символикой, но, скорее, надконфессиональной: «В разных местах Земного шара ученые люди думают об одном и том же». У Вернадского есть ноосфера, а Наум Лазаревич употреблял другое слово – «пневматосфера», то есть сфера духа, некое единое ментальное пространство, где идеи «носятся в воздухе».

Статья из готовящейся к печати энциклопедии «Екатеринбург литературный»

Авторы – Н.В. Барковская и Е.К. Созина

Лейдерман Наум Лазаревич (23.01.1939, г. Бершадь Винницк. обл., Украина – 6.09.2010, Екат.), критик, литературовед. Чл. СП СССР (1981). Окончил Одесский гос. ун-т (1961), с 1964 раб. в Сверд. гос. пед. ин-те (с 1994 – Урал. гос. пед. ун-т). Д-р филол. н. (1984), проф., в 1985 г.

возглавил новообразованную каф. сов. лит-ры в УрГПУ (ныне каф. современной русской лит-ры), которой руководил более 20 лет. Под руководством Л. защищено 16 канд. и 4 докт. диссертации. Отличник народного образования (1990), заслуженный деятель науки РФ (2000), академик Межд. академии наук пед. образования (1999), почетный проф. Урал. гос. пед. ун-та (2008). Автор более 300 научных трудов, из них более 70 книг. Печатался в США, Германии, Италии, Польше, Чехии, Болгарии, Украине. Создал функциональную теорию жанра в кн. «Движение времени и законы жанра» (1982) и «Теория жанра» (2010) Л. предложил новую концепцию истории русской лит-ры XX в., которую разрабатывал с 1980-х гг., но особенно активно начиная с 90-х. Результатом этих исследований стал цикл учебников и монографий. Написанный в соавт. с М.Н. Липовецким двухтомный труд «Современная русская литература. 1950-1990-е гг.» выдержал 6 изд. в центральных изд-вах, является основным учебным пособием для филологических факультетов ун-тов. После смерти Л. вышел подготовленный им к печати 2-тт. учебник по истории русской литературы 1920-х гг. (М., 2012). Выдвинул концепцию «постреализма» («Постреализм: теор. очерк», 2005). С 1962 активно выступал как лит. критик, печатался в «Литературном обозрении», «Вопросах литературы», «Новом мире», «Октябре», «Звезде» и др. лит. ж. Постоянный автор ж. «Урал», дважды (1985, 2004) становился лаур. пр. «Урала» за лучшую лит.-критич. статью. Среди авторов, о которых Н. Л. писал особенно часто: И. Бабель, В. Катаев, Ю. Олеша, О. Мандельштам, В. Шаламов, К. Симонов, Ю. Трифонов, В. Шукшин, А. Солженицын.

Белла Верникова

Одесский текст: от Осипа Рабиновича к Юшкевичу и Жаботинскому*

О заседаниях ЛАО писал в газете «Одесские новости» молодой журналист Владимир Жаботинский, состоявший действительным членом общества с 1902 г. Привожу несколько названий его статей: «В литературно-артистическом обществе» (6, 13 февраля 1902); «Перелом журналистики / Изложение реферата, читанного в Лит.-артист. Клубе 20 марта» (22 марта 1903); «Вскользь. О Литературно-артист. обществе» (10 октября 1903). В мемуарах поэта и переводчика Александра Биска приведено воспоминание о выступлении В. Жаботинского на заседании ЛАО, когда общество помещалось в бывшем дворце князя Гагарина.

В написанной в эмиграции, вышедшей в Париже в 1936 г. и вторым изданием в Нью-Йорке в 1947 г. повести В. Жаботинского «Пятеро» на титульном листе к фамилии автора добавлен одесский псевдоним начала 20-го века – ALTALENA (в переводе с итальянского – *качели*):

В. Жаботинский (ALTALENA). Пятеро / Иллюстрации худ. Mad'a. Париж: Книгоиздательство «ARS», 1936.

Иллюстрации к первому изданию, воссоздающие облик города, сделал эмигрировавший после революции, живший в Берлине и Париже одесский художник Михаил Дризо (Mad), о нем в журнале «Мигдаль» рассказала Ольга Барковская: «Мад, он же Михаил Александрович Дризо, родился в 1887 году в семье одесского врача. Еще студентом юридического факультета Новороссийского университета он начал публиковать свои рисунки в одесских газетах и журналах. Ко времени окончания университета Дризо

* Окончание. Начало в кн. 56.

приобрел опыт карикатуриста, псевдоним Мад (МАД, MAD) – и популярность. В итоге вместо респектабельной карьеры юриста он выбрал ненадежную судьбу газетчика. С тех пор рисунки Мада регулярно появлялись на страницах одесской прессы вплоть до конца 1919 года…».

В Одессу книга В. Жаботинского «Пятеро» пришла в начале 21 в. как значительный одесский текст русской литературы. Что отметил Евгений Голубовский в предисловии к первому одесскому изданию:

«И роман «Пятеро» приходит спустя шестьдесят пять лет на «золотую полку» русской литературы, одесского мифа живым романом, ставшим не историей литературы, а современной литературой».

Следует сказать, что Владимир Жаботинский в тексте именует «Пятеро» повестью, вот ее финал: «Потешный был город; но и смех – тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уж давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и вообще повесть кончена». Но изданная на Западе, где нет жанра «повесть», книга получила жанровое определение «роман».

3-я глава повести «Пятеро», посвященная ЛАО, называется «В литературке», ее фрагмент позволяет ощутить атмосферу времени и мемориальный характер здания Одесского литературного музея:

В конце 19-го в., не окончив гимназии, Владимир Жаботинский при содействии одесского писателя и драматурга Александра Федорова становится зарубежным корреспондентом одесских газет, о чем имеется воспоминание в «Повести моих дней»: «В эти дни в Одессе жил Александр Федоров, известный русский поэт. Он увидел перевод «Ворона», пригласил меня к себе, ободрил меня и представил редактору газеты «Одесский листок». Я спросил последнего: «Стали бы вы публиковать мои корреспонденции из-за границы?» И получил ответ: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей». В. Жаботинский едет сначала в Берн, через полгода переезжает в Рим, где слушает лекции на юридическом факультете Бернского и Римского университетов. С ноября 1898 г. по март 1900 г.

в «Одесском листке» печатались корреспонденции В. Жаботинского из Италии, среди них очерк «Римское гетто». В мемуарах он отметил, что пребывание в Италии способствовало становлению его сионистских убеждений: «Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение».

С марта 1900 г. Владимир Жаботинский был зарубежным корреспондентом газеты «Одесские новости». По август 1901 г. здесь печатались его корреспонденции из Италии под общим заголовком «Рим», за подписью ALTALENA и с указанием «от наш. коррес.» Вернувшись в Одессу летом 1901 г., он продолжает работать в «Одесских новостях», где в 1901-1903 гг. под псевдонимом ALTALENA вел колонку фельетона «Вскользь» и публиковал театральные рецензии за подписью А, Алт., Alt.

О легкости стиля и занимательности рубрики В. Жаботинского «Вскользь» в «Одесских новостях» 1901-1903 гг. можно судить по фрагменту его фельетона «О криминалистах»:

«Анекдот, за правдивость которого не ручаюсь.

Паола Ломброзо, дочь своего отца, приехала в Вену и остановилась в гостинице. Смотрит – пропал саквояж. Паола Ломброзо вызвала к себе хозяина гостиницы и сказала:

– Распорядитесь об аресте номерного Фрица.

– Почему?

– Потому что номерной Фриц – тип врожденной преступности. У него квадратная челюсть и висячие мочки ушей. Лицевой угол еще симптоматичнее. В строении затылка, правда, замечается уклонение от преступного типа в сторону нормальности, но это – ничто перед возмутительностью лицевого угла – чуть ли не шестьдесят градусов! Позовите полицию!

Хозяин не пожелал.

Паола Ломброзо начала волноваться.

Номерной Фриц обиделся и забушевал во все лопатки своего преступного темперамента, причем Паола Ломброзо констатировала у него подвижность ушных раковин и с новым пылом потребовала:

– Полицию сюда!

И вдруг оказалось, что саквояж был просто забыт на вокзале…».

Как пишет Е.М. Голубовский в предисловии к одесскому изданию книги «Пятеро», под псевдонимом «Альталена» Владимир Жаботинский публикует в «Одессих новостях» сотни эссе – тогда их называли фельетонами.

В. Жаботинский, как и другие литераторы-евреи, работавшие в русской журналистике на рубеже веков, полностью отождествлял себя с русской и европейской культурой и в то же время соответствовал уровню читательских ожиданий. В Одессе значительное число читателей городских газет составляли евреи, как отошедшие от еврейства, так и проявляющие интерес к состоянию еврейского вопроса в России.

Начальный период литературной деятельности Владимира Евгеньевича Жаботинского как русского писателя представлен в одесских и общерусских изданиях первого десятилетия 20-го века: в шедших в одесском городском театре двух его пьесах «Кровь» и «Ладно» (одна из них 1901 г. издания: Altalena. Министр Гамм (Кровь). В 3-х картинах. На сюжет «Sangue», dramma sociale di R. Lombardo. Од.: Типография «Одесских новостей», 1901); в публикации перевода стихотворения «Ворон» Эдгара По в одесском сборнике «Наши вечера» (1903) и его перепечатках в нескольких выпусках популярного российского сборника «Чтец-Декламатор»; в сборнике новелл «В студенческой богеме» (Вл. Жаботинский. В студенческой богеме: Новеллы. Од.: С.В. Можаровский [1903]).

Наряду с деятельностью русского литератора Владимир Жаботинский в первые годы 20-го века принимает участие в еврейской общественной жизни Одессы. В августе 1903 г. В. Жаботинский был послан делегатом от одесского сионистского кружка «Эрец-Исроель», которым руководил Соломон (Шломо) Давидович Зальцман, известный издатель, на 6-й сионистский конгресс в Базеле и освещал ход конгресса в «Одесских новостях» в статьях с подзаголовком «От нашего корреспондента» (15, 19, 20, 23 августа 1903 г.). После конгресса он совершил поездку по Италии, давшую материал для «Очерков одного «счастливого» гетто».

Если в рубрике «Вскользь» В. Жаботинский представил традиционный для одесской журналистики тип легкого фельетона, скользящего по поверхности явлений и событий, то другая традиция одесской прессы – освещение состояния русского еврейства и еврейской общины Одессы – находит продолжение в его сионистских статьях в той же газете «Одесские новости» 1902-1903 гг., подписанных фамилией или инициалами, см. напр.:

- [О сионизме] // ОН. 8 сентября 1902.
- Накануне конгресса. Базель 9/22 августа / От нашего корреспондента // ОН. 15 августа 1903.
- Базельские впечатления. 6 Конгресс сионистов / От нашего корреспондента // ОН. 19 августа 1903.
- Базельские впечатления. «Мизрахи» / От нашего корреспондента // ОН. 20 августа 1903.
- Базельские впечатления. Герцль и Neinsager'ы // ОН. 23 августа 1903.
- Палестина // ОН. 5 декабря 1903.
- К покушению на Макса Нордау // ОН. 9 декабря 1903.
- Вторая услуга / Голос сиониста // ОН. 16 декабря 1903.

Еще до кишиневского погрома 1903 г. В. Жаботинский писал в «Одесских новостях» о сионизме, участвовал в организации еврейской самообороны в Одессе, выступал в еврейском просветительском обществе «Беседа» с докладом, развивающим идеи «Автоэмансипации» Л. Пинскера, о чем в мемуарах «Книга жизни» вспоминает С.М. Дубнов:

«Был вечер 7 апреля 1903 года, второй вечер православной Пасхи. Из-за праздников газеты уже второй день не выходили, и мы не знали, что делается на свете. Узнали мы только кое-что от живых газет в этот вечер, когда публика собралась в клубе «Беседа», чтобы выслушать доклад юного сиониста, одесского «вундеркинда» В. Жаботинского, писавшего под псевдонимом Альталена шаловливые фельетоны в одесских газетах. То была одна из первых агитационных речей даровитого оратора, впоследствии вождя сионистов-максималистов. Речь представляла собою красивый фельетон на тему «Автоэмансипации» Пинскера… Молодой агитатор имел успех у публики, но на меня эта односторонняя трактовка нашей исторической проблемы произвела

удручающее впечатление: много ли нужно, чтобы внушить колеблющейся еврейской молодежи страх перед собственною национальною тенью?.. Во время перерыва, когда я ходил по соседнему залу, я услышал среди возбужденной публики тревожную весть: сегодня прибыли в Одессу беженцы из близкого Кишинева и рассказали, что там идет кровавый погром».

В. Жаботинский как корреспондент газеты «Одесские новости» был направлен в Кишинев для передачи пожертвований, полученных редакцией газеты в помощь пострадавшим от погрома, там он познакомился с Хаимом Нахманом Бяликом и российскими деятелями сионистского движения. Вскоре он перевел с иврита на русский язык поэму Бялика о погроме, перевод был впервые напечатан в Одессе в 1906 г. (Х.Н. Бялик. Сказание о Немирове. [Перевод В. Жаботинского]. Од.: Кадима, 1906). Этот перевод, вышедший в Петербурге двумя изданиями в 1911 и 1912 гг. (Х.Н. Бялик. Песни и поэмы / Авториз. пер. с евр. и введ. Вл. Жаботинского. СПб.: тип. Акц. общ. типографск. дела, 1911), принес Хаиму Нахману Бялику широкую известность в русской литературной среде. О чем пишет сотрудник Одесского литмузея Анна Мисюк в предисловии к изданной в Одессе в 2000 г. книге поэзии Х.Н. Бялика в переводах В. Жаботинского.

В посмертном очерке об отце Ари Жаботинского, сына Владимира Жаботинского и Анны Гальпериной (родился в Одессе в 1910 г.), напечатанном в сборнике «Еврейский мир» (Нью-Йорк, 1944) за подписью И. Гальперин, перечислены статьи и книги В.Е. Жаботинского, изданные в эмиграции на русском языке, и упоминаются лекции, прочитанные по-русски:

«Жаботинский и вне России не порывал с русским языком и русским еврейством в эмиграции (для советской России его имя, как, впрочем, вообще все, что связано с юдаизмом и сионизмом, было – и остается и сейчас – табу). Роль «Рассвета», выходившего в Берлине, а потом в Париже, общеизвестна. В Париже вышли на русском языке «Слово о полку», повесть «Пятеро» (1936), три сборника – «Рассказы», «Causeries» и «Стихи» (1930). В Берлине С.Д. Зальцман издал «Фельетоны», «Чужбину» – напечатанную еще в Петербурге в 1908 году, но конфискованную тогда властями. Там же появился «Самсон Назорей» (1928).

Много фельетонов Жаботинский поместил в парижских «Последних новостях». Нередко он выступал в Париже на русском языке на общие темы – «Бунт стариков», «Кризис пролетариата», «Робот» и т. п. Даже в Нью-Йорке незадолго до его смерти состоялась его лекция на русском языке – «О грядущем Европы».

Подмеченное в мемуарах Дубнова сходство В. Жаботинского и Л. Пинскера выражалось не только в стремлении видеть евреев народом, живущим в своей стране, но и видеть их гордым народом. В петербургском еженедельнике «Русский еврей» 1880 г. Л. Пинскер писал: «Нам нужно просто относиться с уважением к своему племени как к народности, которая не имеет причин краснеть в ряду других национальностей». В середине 1930-х гг. в Германии вышла двумя изданиями на немецком языке брошюра Л. Пинскера «Автоэмансипация» с предисловием Иосифа Клаузнера «Гордый еврей». Тот же мотив присущ поэме Хаима Нахмана Бялика о погроме, переведенной Владимиром Жаботинским, см. мои минималистские стихи «О чем мечтали классики», опубликованные в 2006 г. в петербургском литературном интернет-журнале «Сетевая Словесность»:

Бялик мечтал о гордом еврее
и чтобы с иврита на русский
его переводил Жаботинский.

В последние десятилетия 19-го века Одесса укрепляет позиции крупнейшего в России центра еврейской литературы, где возрождался современный литературный и разговорный иврит. Исследователь и переводчик Х.Н. Бялика с иврита на английский язык Э. Спайсхандлер в статье «Одесса как литературный центр ивритской литературы» (англ.) выдвигает следующие критерии, позволяющие рассматривать город как литературный центр: наличие группы известных писателей, разделяющих общую литературную идеологию; сопутствующий им круг писателей, испытывающих влияние ведущей группы и признающих это влияние; ряд периодических изданий; одно или несколько издательств, открытых для этих писателей. И демонстрирует, что Одесса являлась центром ивритской литературы в период с 1881 по 1921 г.

В соответствии с указанными критериями можно считать, что Одесса с 1880-х гг. по первое десятилетие 20-го века являлась также центром русско-еврейской литературы, включавшей в свой жанровый состав прозу и поэзию (в терминах 19 в. – беллетристику), публицистику, в том числе литературную критику, иудаику и еврейскую историю. Возникновение термина «русско-еврейская литература» и становление этого феномена в ряду литератур с дефис-идентичностью (см. напр. китайско-американскую и японо-американскую литературы) в начале 1880-х годов было обусловлено процессом ассимиляции и аккультурации еврейского населения России – забвением еврейских языков иврита и идиш в среде образованных русских евреев и их отходом от насущных социальных и культурных проблем еврейской жизни. Как показано в моей диссертации и в статье «Русско-еврейская литература: трактовки и классификации», в ноябре 1879 г. в печатном органе русских евреев, петербургской газете «Рассвет», было опубликовано письмо одесского писателя Моше Лилиенблюма с предложением «создать русско-еврейскую литературу, которая будет знакомить молодых образованных евреев, не знающих иврит и идиш, со славным и горестным прошлым еврейского народа, чтобы приблизить их к страждущей еврейской массе». Напечатанная в том же номере «Рассвета» редакционная статья «Необходимость создания русско-еврейской литературы» поддержала обращение М. Лилиенблюма и в 1880-х годах интенсивно осуществляется становление русско-еврейской литературы, определяются ее цели, задачи, основные идейные и эстетические установки, видовой и жанровый состав, круг авторов, социальный статус и образовательный уровень читателей.

Притом, что в конце 19 – начале 20-го вв. происходит энциклопедическая фиксация термина «русско-еврейская литература» в Брокгаузе, в Большой энциклопедии, в Еврейской энциклопедии, критик русско-еврейского ежемесячного журнала «Восход» М.Н. Лазарев в публикации 1885 г. отметил условный характер ее отделения от русской литературы, вызванный «уродливым развитием русского еврейства», имея в виду правовое неравноправие русских евреев, способствовавшее многолетней антиеврейской клевете в российской прессе, вплоть до кровавого навета

и физической расправы погромов. В 1881-1982 гг., когда кровавое безумие еврейских погромов захватило Юго-Запад России, в петербургских газетах «Рассвет» и «Русский еврей» печатается хроника событий и публицистические статьи глубоко потрясенных происходящим писателей, среди них инициаторы создания русско-еврейской литературы публицисты М. Лилиенблюм, Л. Пинскер, С. Дубнов.

Произведения русско-еврейской литературы, созданные жившими в Одессе писателями, составляют забытый в советское время и возвращаемый современными исследователями компонент одесского текста. Что отметила в отзыве на мою диссертацию профессор Еврейского университета в Иерусалиме, изучающая творчество Владимира Набокова в контексте двойных идентичностей Леона Токер: «В дополнение к интересу, который представляет диссертация в исследовании мультикультурализма, двойной идентичности (дефис-идентичностей), истории сионизма и истории идей (например, период понимания еврейской «ассимиляции» не как стирание еврейской идентичности, но как открытость к проблемам страны в целом), она [диссертация Б. Верниковой] также участвует в процессе восстановления исторического и культурного наследия в России и Украине. Русско-еврейская литература, созданная в Одессе, получает признание в качестве важной части этого наследия».

Предложенная редакторами и корреспондентами в первых органах русских евреев «Рассвет» и «Сион», выходивших в Одессе в начале 1860 гг., двойная направленность русско-еврейских изданий сохранялась и в конце 19-го века. Один из создателей русско-еврейской литературы С.М. Дубнов считал основной задачей своей исторической работы «усиление национального сознания в еврее и установление правильных понятий о еврействе в уме нееврея».

В 1880-90-е гг. в Одессе жили, активно работали и печатались в российской периодике русско-еврейские публицисты Л.С. Пинскер, М.Л. Лилиенблюм, С.М. Дубнов, М.Г. Моргулис, Бен-Ами, связанные дружбой и литературно-общественными интересами с одесскими еврейскими писателями Менделе Мойхер-Сфоримом, И.Х. Равницким, Ахад-ха-Амом, Х.Н. Бяликом, И. Клаузнером.

Выступая в Одессе на юбилее М. Лилиенблюма в 1903 г., Ахад-ха-Ам соотносил современную публицистику с библейской традицией: «Роль публициста заключается в том, чтобы обнаруживать отрицательные стороны, раскрывать недостатки, изъяны общественной жизни и указывать на заблуждения и ложные шаги. Так понимали свою публицистическую задачу наши пророки».

В одесской городской печати состоялся литературный дебют писателей-беллетристов Н.О. Пружанского, Д.Я. Айзмана, С.С. Юшкевича, Л.О. Кармена, Н.М. Осиповича, чье творчество современники относили как к русско-еврейской, так и к русской литературе. В Одессе прошли детство и юность дебютировавших в городской прессе и причастных к русско-еврейской литературе Владимира Жаботинского и историка еврейства Юлия Гессена, инициатора создания фундаментального собрания русской иудаики – Еврейской энциклопедии (1908-1915).

К благотворительным и одновременно просветительским организациям в Одессе относились: «Общество распространения просвещения между евреями в России» (Одесское отделение ОПЕ основано в 1867 г. при участии О. Рабиновича, Л. Пинскера, Е. Соловейчика и др., возобновило работу в 1878 г. при участии М. Моргулиса, Бен-Ами и др.); в 1897-1898 г. при нем действовала историко-литературная комиссия в составе: М.Г. Моргулис, С.М. Дубнов, Менделе Мойхер-Сфорим, Ахад-ха-Ам, Я.Л. Сакер; «Общество вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине» (основано в 1890 г. под председательством Л.С. Пинскера, в работе участвовали М.Л. Лилиенблюм, М.Г. Моргулис, Бен-Ами, Ахад-ха-Ам); «Еврейское общество «Беседа» (создано в 1863 г.); «Общество взаимного вспомоществования приказчиков евреев в г. Одессе» и открытая при нем в 1875 г. библиотека, в формировании еврейского отдела которой в 1890-е гг. и в составлении каталога 1903 г. участвовали Ахад-ха-Ам, С.М. Дубнов, И.Х. Равницкий.

Жившие в Одессе литераторы, популяризаторы еврейской истории и литературы М.И. Базилевский, Л.М. Шахрай, С.С. Пен и др. стали авторами одесской историко-биографической серии «Наша старина» («Еврейская старина»). Как отмечает В. Кельнер, кроме Петербурга мощным русско-еврейским книгоиздательским

центром на рубеже 19-20 вв. была Одесса: «Многочисленное еврейское население города с его тяготением к русской культуре в сочетании с прочными национальными корнями породило уникальную культурную традицию. Провинциальный город на Украине стал наряду с Петербургом колыбелью новой русско-еврейской культуры. …в городе существовало несколько крупных издательств, специализировавшихся на выпуске еврейской книги на русском языке. Крупнейшим из них было предприятие Я.Х. Шермана. В качестве издателя книжный магазин Шермана выступил в 1893 г. с исторической работой Л.М. Шахрая «Маккавеи». Эта брошюра открыла серию «Наша старина». Всего с 1893 г. по 1900 г. в этой серии вышло в свет не менее 30-ти научно-популярных брошюр по еврейской истории».

Заметный вклад в издание русско-еврейской литературы в Одессе внесли другие издательства и типографии, среди них: Издательство С.Д. Зальцмана, оно же – Издательство кружка «Эрец-Исроель» (Базарная, 95); Издательство, типография и книжный склад «Мория» (Большая Арнаутская, 42), Книгоиздательство М.С. Козмана. На обложках брошюр серии «Наша старина», «Еврейская старина» и других изданий русской иудаики, вышедших в Одессе в дореволюционное время и хранящихся в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме, значатся также: Издательство Ахиасаф; Издательство Кадима; Типография и типолитография Гальперина и Швейцера; Русская типогр. Исаковича (угол Дерибасовской и Гаванной, соб. дом № 10); Типогр. Г.М. Левинсона, она же – «Тип. Торг. дома Г.М. Левинсон» (Ришельевская, 17); Типогр. Л. Нитче; Одесское отделение Общества распространения просвещения между евреями в России; Типогр. «Труд»; Тип. А. Шульце (Ланжероновская ул., д. Карузо № 36); Типогр. Л.О. Трецек и Н.Д. Слоущ; Тип.-Лит. Дыхно; Тип. штаба Одес. воен. окр.; Тип. газеты «Одесские новости»; Тип. Г. Бекеля; Типолитогр. Гурвич и Крохмаль; Типолитогр. «Универсаль»; Тип. Хакаловского; Тип. Б.М. Шапиро; Типолитогр. М.С. Гринберга и др.

Деятельным центром неформального общения русско-еврейских писателей был одесский литературный кружок Дубнова и Менделе Мойхер-Сфорима, которому посвящена глава из первого тома «Книги жизни» С. Дубнова «Наш литературный кружок

в Одессе». Проживший в Одессе тринадцать лет и плодотворно работавший в эти годы как публицист и историк, Семен Маркович Дубнов в мемуарном очерке, написанном после смерти Соломона Моисеевича Абрамовича-Менделе и напечатанном в эмигрантском еврейском сборнике «Сафрут» в берлинском издательстве С. Зальцмана с подробным упоминанием одесской топонимики, приводит эпизоды литературных споров и дружеского общения писателей, некоторые из которых стали классиками, а имена других незаслуженно забыты:

«То было поздней осенью 1890 года. Я только что переехал из Петербурга в Одессу… Из моей квартиры на том конце Базарной улицы, который примыкает к приморскому парку, – я отправился на другой конец, где улица, перерезывая Старый Базар, уходит в бедные кварталы, около «Толчка», и приближается к Молдаванке. Здесь, в старом большом доме, рядом с солдатскими казармами, занимала тогда целый этаж известная реформированная Талмуд-Тора, о которой писал еще гуманист Пирогов. Этажом выше была расположена квартира заведующего этим училищем, Соломона Моисеевича Абрамовича… Скоро у нас образовался маленький литературный кружок. Первоначально туда вошли, кроме нас двоих, старые одесские приятели Менделе – Бен-Ами и Равницкий, а позже к нему примкнули еще некоторые писатели и представители интеллигенции. В наших собраниях горячо дебатировались преимущественно литературные вопросы, а нередко и проблемы философии и религии. Но весною 1891 года нас больше волновали политические дела. Это было в пасхальные дни рокового года, в дни изгнания евреев из Москвы… Поэтически-грустное лето последовало за той бурною весною. Я поселился в немецкой колонии Люстдорф, на чудном берегу Черного моря, в двух часах езды от Одессы. Недалеко от меня поселился Шолом-Алейхем, который тогда вернулся в Одессу из-за границы, куда «бежал» после своего финансового банкротства в Киеве; он жил в пригородной даче на Большом Фонтане и по дороге в Люстдорф. Посреди лета к нам приехал и С.Г. Фруг, мой старый петербургский приятель, которого полиция лишила права жительства в столице, и он все лето скитался между Одессою и Люстдорфом. Рядом с нами поселился Бен-Ами. «Дедушка»

[Абрамович-Менделе] со своим верным спутником Равницким нередко наезжали к нам из города, забирая по пути «внука», Шолом-Алейхема. Помню одну прекрасную летнюю ночь после такой прогулки, во дворе моей дачи. Мы все сидели в беседке при свете августовских звезд и пели народные песни. Фруг прелестно спел «хасидскую» песню… В состояние настоящего экстаза привела нас хасидская мелодия без слов, спетая Бен-Ами».

Здесь стоит пояснить, что на нашей памяти Большой Фонтан и Люстдорф уже не были пригородами, а входили в городскую черту. Эмоциональное воздействие одесской топонимики нашло выражение и в моем стихотворении, написанном в середине 1990-х гг. в Иерусалиме при чтении мемуаров Бен-Ами (Марк Яковлевич Рабинович), когда я собирала материалы для своей диссертации. Сегодня фрагменты воспоминаний Бен-Ами с моей подачи напечатаны в 13-м номере альманаха «Мория», а стихотворение «Флигель в Авчинниковском переулке» с цитатой из Бен-Ами и посвящением Евгению Михайловичу Голубовскому вошло в сборник стихов одесских поэтов «Глаголы настоящего времени» и представлено на сайте «Первый одесский портал»:

Флигель в Авчинниковском переулке

Е. Голубовскому

Детский сиротский еврейский приют
В семидесятых, но прошлого века.
Господи, где тот немытый калека,
К бедным и чистым его не берут.

Адрес знакомый и дом-инвалид,
В семидесятых моих рядом школа.
Мальчик еврейский, любитель футбола
Мячик гоняет, доволен на вид.

Собственно, как сообщает в строке
Автор, из нищего выбившись в люди,

Не было жизни в сиротском приюте,
Той, что приносит дары в узелке.
Собственно, сказано слогом иным –
«Собственно жизни, того, что одухотворяет
и волнует душу ребенка, здесь не было и в помине» –
и это заденет, и отошлет от сиротских видений
к собственным будням и страхам дневным.

Господи, что тебе чья-то судьба
При мириадах уже отлетевших,
Горько болевших и сладко поевших,
И в униженьи взрастивших хлеба.

Вот и понятен двойной псевдоним,
Выбранный гордо из местных наречий.
Легче ему, Бен-Ами не один,
Ладно, поплачь по иным, что далече.

В этом стихотворении, помимо прочего, выражено мироощущение нерелигиозного, или светского человека, как говорят в Израиле (здесь принята дихотомия: религиозный – светский) по отношению к Богу. Мое стихотворение характеризует ту форму секуляризации, которая складывалась в начале 20-го в. как в библейской критике и герменевтике, так и в умонастроениях, зафиксированных в выступлении Ахад-ха-Ама с рефератом о Моисее в одесском еврейском клубе «Беседа», о чем привожу фрагмент статьи С.М. Дубнова памяти Менделе:

«Библия была для него [Менделе Мойхер-Сфорима] святыней. Он допускал некоторые умеренные гипотезы библейской критики и сам часто делился со мною своими оригинальными толкованиями библейского текста, близкими к воззрениям критической школы. Но допуская библейскую критику как источник остроумных догадок, о которых можно вести частную беседу, он в ужасе отступал перед ее решительными выводами, проповедуемыми публично. Особенно возмущал его вывод о мифическом элементе в личности Моисея. Был такой случай. Весною 1903 года Ахад-Гаам [Ахад-ха-Ам] читал в еврейском клубе «Беседа» реферат о Моисее.

Он ясно развил ту мысль, что нам вовсе неважно знать, существовал ли Моисей или нет, потому что реальный Моисей есть именно тот, который живет в народной легенде, в умах сотен поколений как действенная историческая сила; тот же Моисей, который создается в лабораториях ученых критиков, есть реальность лишь для небольшой группы археологов, исследователей… После реферата, во время перерыва, я подошел к Менделе и увидел его задумчиво сидящим где-то в углу большого зала, по которому шумно двигалась публика. Я спросил его, что он думает о реферате. Он взглянул на меня и сердито сказал: «В Торе сказано, что место погребения Моисея никому не известно, а я сейчас открыл это место: Моисей только что похоронен в клубе «Беседа» руками Ахад-Гаама». Только оскорбленное религиозное чувство могло продиктовать эти суровые слова. Я старался ему доказать, что он не вник в основную мысль доклада, что референт, напротив, провозгласил традиционного Моисея реальностью, как живой образ, сотканный с народным сознанием, и что это во всяком случае важный корректив к крайним выводам библейской критики. Но Менделе и слушать не хотел: он не допускал даже условного сомнения в подлинности библейского Моисея как личности, жившей в действительности, а не только в народных представлениях, и видел в подобных рассуждениях подкоп под дорогую ему святыню».

Воспоминания С.М. Дубнова фиксируют основной мотив изучения городского литературного текста – воздействие города на писателей и воздействие писателей на город. Воздействие города проявляется и в наличии центров литературного общения, в начале 20 века в Одессе к ним относились Литературно-артистическое общество ЛАО, редакция газеты «Одесские новости», еврейский клуб «Беседа», кружок Дубнова-Менделе и др. Одним из участников ЛАО, его действительным членом с 1900 г. был писатель и журналист, сотрудник петербургского «Рассвета» в 1880-е годы Григорий Лифшиц. О его выступлениях в «Литературке» вспоминает уехавший в эмиграцию поэт и переводчик Рильке Александр Биск, отец французского поэта Алена Боске, в мемуарах, напечатанных в сборнике Одесского литературного музея: «он стал говорить и говорил блестяще. Это был присяжный оратор Литературки еврейский писатель Гершон бен Гершон, в миру

Григорий Григорьевич Лившиц (Лифшиц. – **Б. В.**). Не было четверга, на котором бы он не выступал. Он мог говорить о чем угодно, и всегда интересно. Конечно, он был против модернистских течений и однажды в ответ на упрек в своей отсталости возразил: «Но, господа, ведь книги – не яйца, которые надо подавать на стол каждый день свежие». Известный конферансье Алексеев, Алеша Лившиц – его сын».

А. Биск называет Григория Лифшица еврейским писателем, видимо, потому, что тот работал в русско-еврейской прессе, хотя очевидно, что постоянные выступления в городском литературно-артистическом обществе на общие темы (к примеру, о модернизме в литературе), свидетельствуют о причастности Г. Лифшица к русской литературной жизни. Григорий Лифшиц имеет непосредственное отношение к значительному феномену одесского текста русской литературы – трехтомному собранию сочинений Осипа Рабиновича, изданному в 1880-е гг. в Петербурге и Одессе при поддержке Одесского еврейского общества «Труд» и способствовавшему формированию русско-еврейской литературы. Критик «Одесского вестника» 1880-х гг. Сергей Иванович Сычевский в статьях, рецензирующих это издание, подчеркнув заслуги писателя в деле защиты российского еврейства, характеризует Осипа Рабиновича как талантливого беллетриста, внесшего заметный вклад в русскую литературу.

Как сказано в моей статье «Русско-еврейская литература: трактовки и классификации», предисловие составителя трехтомника О. Рабиновича одесского публициста Михаила Моргулиса было одним из ранних текстов, содержащих кодификацию русско-еврейской литературы. «Подход Моргулиса был развит Григорием Лифшицем, сотрудником петербургского «Рассвета», печатавшим статьи и беллетристику под псевдонимами Гершонбен-Гершон, Г.-б.-Г., Г. Л., Л-цъ, – его рецензия на 1-й том сочинений О. Рабиновича озаглавлена «Пионер русско-еврейской литературы». Критик относит творчество Осипа Рабиновича к раннему периоду русско-еврейской литературы, включая в корпус произведений этой литературы и его прозу, которая соответствовала поставленной перед писателями задаче – знакомить молодых еврейских читателей с прошлым и настоящим русского еврейства…

Следует сказать, что Осип Рабинович и Илья Оршанский не считали себя русско-еврейскими писателями, так как подобных определений не существовало при их жизни. Рабинович печатал свою прозу еврейской тематики в общерусских литературных журналах и воспринимался критиками как русский писатель».

В упомянутой статье критика «Восхода» М. Лазарева отмечалось, что отделение русско-еврейской литературы от русской было искусственным, вызванным неравноправным положением русского еврейства. Но это отделение произошло, русско-еврейская литература, возникшая в 1880-е гг., включала в свой жанровый состав злободневную публицистику по еврейскому вопросу, еврейскую историю и иудаику, поэзию и прозу; публиковалась в дореволюционных русско-еврейских газетах и журналах, издавалась в еврейских издательствах, нашла своих кодификаторов и классификаторов. Так, С. Дубнов классифицировал русско-еврейскую литературу как одну из трех ветвей еврейской литературы, выходившей в России на трех языках – иврите, идиш и русском. 1880-ми – началом 1920-х гг. определяются хронологические рамки реального и плодотворного существования русско-еврейской литературы, «функционально связанной с печатными органами русских евреев. С их закрытием русско-еврейская литература сходит на нет, становясь на исходе XX века предметом исследований и отвлеченных построений» [автоцитата].

В то же время процессы аккультурации русского еврейства привели к тому, что художественное творчество писателей-евреев, работавших в русской литературе, становилось все заметнее, как было с одесскими прозаиком и драматургом С.С. Юшкевичем, получившим как русский писатель широкую всероссийскую известность в предреволюционное десятилетие. Значительность произведений Семена Юшкевича и принадлежность их к одесскому тексту русской литературы признавалась его современниками. Как отмечено в моей статье в нью-йоркском журнале «Слово/Word»: «В некрологе, опубликованном в парижской газете видным писателем русской эмиграции Борисом Константиновичем Зайцевым, также забытым в советское время, подчеркнута органичность таланта С.С. Юшкевича, обусловленная его одесским бэкграундом». Далее приведен текст Бориса Зайцева:

«Я много лет знал покойного Семена Соломоновича, но впервые его «почувствовал» как следует и, быть может, понял, лет десять назад, в Москве, – мы встречались довольно часто в пестром и шумном предреволюционном кафе Бома… Да, Юшкевич был писатель «региональный». Лучшее в его писании связано именно с русским югом, с Одессой, с ее живым, нервным, говорливым и бурливым народом. Юшкевич, будучи евреем, нередко будто бы евреев задевал в своем писании, давал так называемые «отрицательные типы» («Леон Дрей») и даже, кажется, в еврейских кругах это ему ставили в некий минус. Если стоять на этой точке зрения, то следовало бы нашего Гоголя совсем заклевать – уж кажется, ни одного порядочного русского на сцене не показал. Конечно, у Юшкевича была сатира (и, кстати, он как раз Гоголя очень ценил и сам весьма тяготел к гротеску) – но подо всем этим, конечно, пламенная, кровная, органическая любовь к своему народу. Юшкевич был органический писатель, в этом его главная сила, он достигает наибольшего тогда, когда живописует художнически – любимых им людей Одессы, когда дает неподражаемый их язык, трепет и нервность, и неправильность этого языка, и их облики, сплошь живые.

Вот потому, что он был такой кровный и настоящий, ему пришлось столь трудно за границей, в том Париже, который он знал с молодости, – но где нет Одессы. В одном небольшом его очерке, уже здесь, в эмиграции, трогательно и ярко изображена тоска двух одесситов по Одессе. Все тут хорошо, а там лучше, и акации, и море, и Фанкони… Если угодно, это древний плач на реках вавилонских. Возможно, что в каждой еврейской душе есть тоска по Земле обетованной и горечь безродинности. Для Юшкевича жизнь так сложилась, что на склоне лет солнечная и веселая, разноязычно-пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и его плач стал еще пронзительней».

В моей статье в журнале «Слово/Word» отмечено, что наряду с отдельными изданиями С. Юшкевич публиковал свою прозу еврейской тематики и проблематики в петербургских сборниках товарищества «Знание», где «в 1903-1905 гг. вместе с Семеном Юшкевичем печатались лучшие русские писатели – А. Чехов («Вишневый сад»), И. Бунин («Чернозем», «Памяти Чехова», стихи), М. Горький («Дачники»), А. Куприн («Поединок»)».

Исаак Бабель с начала своей писательской карьеры также считал себя русским писателем, что видно из рассмотренных в этой статье очерка «Мои листки. Одесса» и воспоминаний сына К. Паустовского о создании Бабелем и Паустовским в 1921 г. устава клуба одесских литераторов под девизом «Литераторы, назад к литературе!». И.Э. Бабель, К.Г. Паустовский, а также С.С. Юшкевич представлены в современных словарях русских писателей, начиная с изданного в 1990 г. в Москве двухтомного биобиблиографического словаря «Русские писатели» (под редакцией П.А. Николаева).

Пишущие по-русски поэты и прозаики живут сегодня в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья, в связи с чем возникают новые определения литературной идентичности, как в моем эссе, содержащем отклик на рецензию Феликса Гойхмана о книге стихов «Звук и слово», изданной в Иерусалиме:

«К писателям, начинающим литературную работу в одной стране и продолжающим ее в другой, применимо несколько локально-культурных определений. Мы с Феликсом Гойхманом, являясь израильскими писателями, работающими на русском языке, или, в глазах одесских читателей, одесскими поэтами, пребывающими в дальнем зарубежье, остаемся русскими поэтами по языку и культурной традиции. Это означает, что базовые культурные модели и направляющие образцы получены нами из русской поэзии, а не из германоязычной немецкой и английской или романоязычной итальянской и французской поэзии, где подобные модели также присутствуют».

Как показано в данной статье, я отношу свою поэзию и эссеистику к одесскому тексту русской литературы, соответственно, ко мне применимы различные определения – русский писатель, одесский писатель, израильский писатель, пишущий по-русски. Так, в изданный в 2013 г. сборник стихов одесских поэтов «Глаголы настоящего времени», который собирался и обсуждался в социальной сети Фейсбук, поскольку его авторы живут в разных странах, вошли мои стихи, написанные в Израиле, в том числе приведенное выше стихотворение с одесской топонимикой «Флигель в Авчинниковском переулке».

В опубликованном в 2002-2003 гг. в израильской газете «Вести» и одесском альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» эссе

«Разговор с автоответчиком» я привожу фрагмент рецензии из газеты «Московские ведомости» на роман Осипа Рабиновича «Калейдоскоп», первая часть которого вышла в петербургском ежемесячном журнале «Русское Слово» (1860, № 6). В газетной рецензии 1860 г. воссоздан уровень читательских ожиданий тех лет при чтении прозы, героями которой были евреи низкого социального происхождения:

«– Ах, Боже мой! неужели вы это говорите о романе г. Рабиновича? – слышится нам голос какой-нибудь дамы, читающей романы, или кавалера, приходящего в азарт от одного имени еврея. – Помилуйте, что за общество! Что за личности вывел автор в своем романе! Какие-то шарманщики, кукольные комедианты, содержатели сельских трактиров, а героинею своего романа сделал девчонку, чуть не канатную плясунью, какую-то ломаку, да еще вдобавок все главные лица – жиды да жидовки! Полноте, не смешите… Да это просто грязь, одна грязь, фи!.. скверно даже подумать, только плюнешь да перекрестишься! Помилуйте, такую сволочь набрать для романа? Понимаете ли, для романа? Ведь роман в некотором роде поэзия, а поэзия, вам известно, чем должна отличаться? Поэзия должна отличаться изящностью; в ней все должно блистать, просто блистать красотою, поражать, так сказать, благородством, величием образов, дышать в некотором роде ароматом…»

К началу 20-го века происходящие в российском обществе изменения сословной, национальной и профессиональной иерархии влияют на литературу, способствуют ее стилистическому и содержательному разнообразию. Как пишет Димитрий Сегал в предисловии к изданному в Еврейском университете в Иерусалиме с комментариями Владимира Хазана двухтомному собранию сочинений жившего в Париже поэта-эмигранта Довида Кнута:

«Эволюцию эту можно описать одним словом: обогащение. Декаденты и символисты были теми, кто начал это обогащение, это движение вширь и вглубь, это расширение границ русской культуры. В сущности, начал это движение, по большому счету, еще Лев Толстой, как это и ни звучит парадоксально… Превращение русского языка под пером Толстого-проповедника в принципиально новый стилевой и коммуникационный инструмент

открыло дорогу к необычайному расширению понятия стилевой литературной нормы. …процесс проникновения еврейских тем, мотивов и, особенно, языковых употреблений в русскую литературу, в том числе и поэзию, был настолько массивным и активным, что затронул самые массовые, с одной стороны, и самые престижные, с другой, литературные структуры. Газетная публицистика в 10-е годы вся находилась под влиянием таких авторов, как Влас Дорошевич, чей стиль впитал особенности южнорусской речи… Более того, даже стилистические находки молодого В. Маяковского во многом были основаны на том же «южнорусском» говорке: «Иду – красивый, двадцатидвухлетний!».

Действительно, героем самого модернистского романа 20-го века («Улисс» Дж. Джойса) становится еврей Леопольд Блум, а «низкий» мотив «девчонки, канатной плясуньи» Осипа Рабиновича в одесской литературе разрабатывает Юрий Олеша, создав в повести-сказке «Три толстяка» юную циркачку Суок.

Иерусалим

Капитан «Фонтана»



Этого звания вполне достоин Валерий Хаит, отметивший хотя и не круглый, но весьма весомый юбилей. Обе составляющих этого словосочетания соответствуют его биографии. Он был капитаном легендарной одесской команды КВН 60-х годов, а впоследствии на базе этого «экипажа» создал и провел сквозь годы и штормы «Клуб одесских джентльменов» и популярнейшую телепрограмму «Джентльмен-шоу». Вместе с соратниками был автором муниципального театра «Ришелье».

Главной среди затей Хаита стал журнал «Фонтан». На его страницах встречаются классики юмора и авторы, взращенные заботливым редактором до такой степени, что становятся лауреатами и призерами.

Валерий составил и отредактировал том «Одесский юмор», который вышел в одном из самых крутых московских издательств, а затем развил успех – увидел свет фундаментальный сборник «Большой фонтан одесского юмора», сформированный на основе материалов – из опять же «Фонтана».

Поскольку альманах «Дерибасовская – Ришельевская» читают не только в Одессе, напомним,что в нашем городе фонтан – не только гидротехническое сооружение. Фонтан (с большой буквы) – часть культовой топонимики Южной Пальмиры, обобщенное название части побережья от Аркадии до Люстдорфа. Он воспет в книгах, байках и песнях,

среди которых самая известная та, что звучит в старом фильме «Два бойца» – про Костю моряка.

Есть Малый, Средний и Большой Фонтаны, связанные трамвайным маршрутом и нашими воспоминаниями. Есть знаменитые фонтанские помидоры, бойкие фонтанские девчата… Семнадцать лет выходит журнал «Фонтан» – одесский и по форме, и по содержанию, и по умолчанию.

О своем детстве и юности В. Хаит рассказывает в стихах и историях, и мы охотно их печатаем, а на страницах «Фонтана» можно встретить наших авторов. У нас вообще много общего: Всемирный клуб одесситов, в котором В. Хаит – вице-президент, принял участие в кампании по созданию в Одессе памятника Исааку Бабелю и в Международных литературных фестивалях.

Редколлегия альманаха желает Валерию Хаиту того же, чего и себе.

Олег Губарь

Нечто об Анне Панкеевой

Пролог

Стихи Анны Панкеевой я нашел когда-то в одном из дамских альбомов. Подобные штуки – вполне тривиальный повседневный атрибут всякой гимназистки и институтки. Альбомчики эти, как правило, зарубежного производства, довольно изящны, обычно размером 9 на 18, 11 на 18, 13 на 20 сантиметров и т. п. Заключены в бархатные, сафьяновые, реже кожаные переплеты с золотым обрезом. Случается, переплет отделан деликатными накладными металлическими украшениями, тиснением по коже, иногда оттиснуто имя владелицы.





До той поры, пока уделом юных прелестниц было домашнее воспитание, стихи в альбом обыкновенно записывали родственницы-сверстницы либо дети вхожих в дом родительских друзей и приятелей. Впоследствии на альбомных страничках появляются автографы чуть ни целого гимназического или пансионного класса. Нередко владелицы выписывали сюда любимые стихи, случалось, и собственного производства.

Предложенный на продажу альбомчик оказался мне не по карману (там были любопытные автографы, например, одесского градоначальника П.А. Зеленого, известных думцев), подпись «Ан. Панк.» – ни о чем тогда не говорила, и я предпочел приобрести продававшийся «в наборе» портсигар с изображением небезызвестного линкора «Императрица Мария», причем именной. Принадлежал он старшему помощнику командира этого корабля капитану 1-го (в момент катастрофы – 2-го) ранга Анатолию Вячеславовичу Городыскому. А. В. эмигрировал из Одессы в 1920-м, оставив здесь часть личных документов и вещей. И, как мы увидим ниже, его связывал с Панкеевой другой крайне интересный человек, тоже флотский офицер, П.И. де Лаваль. Обнаружив эту связь, я понял, почему на руках у Городыского оказалась ниточка, связывающая двух его погибших друзей.

Поскольку покупка была относительно дорогостоящей, постольку мне легко позволили переписать понравившиеся стихи. Прошло несколько лет, я стал заниматься историей 1-го городского кладбища, персоналиями, в том числе семейством Панкеевых, консультировался с авторитетным специалистом С.З. Лущиком, который и рассказал мне о том, что Анна писала хорошие стихи и проч. Откровенно говоря, почувствовал серьезность собственной промашки – соблазнился раритетным флотским портсигаром с любопытнейшей историей. Альбом оказался куда более важным, но откуда ж мне было знать: через мои руки прошли десятки подобных альбомчиков разных кисейных барышень. Кроме того, и собственные записи затерялись, отыскал их лишь частично. Поезд ушел, печаль осталась…

Эмоции

Стереотипные в общем эти «памятные книжицы» все же разнятся, непредсказуемо выказывая индивидуальность. За однообразными салонными буколическими сюжетами порой проступают живые лица и голоса. На страницах иной раз встречается вполне профессиональная графика: пейзажные зарисовки, портреты и шаржи, гораздо реже – хорошие рифмованные строки.

Поэтические опыты Анны Панкеевой интуитивно показались мне достойными внимания, хотя я не специалист и не могу оценить их профессионально. Лично для меня здесь видится уникальный случай, воскрешающий лица необщее выражение, приносящий ощущение присутствия автора, как бы его непосредственного касания. Словно бы ты и впрямь извлек из тайника и нетерпеливо откупорил бодлеровский флакон.

Не стану комментировать стихи, но хочу прокомментировать рельефную судьбу Панкеевой.

Общая информация

Анна Константиновна Панкеева (1884-1906) – старшая сестра одного из самых известных пациентов Зигмунда Фрейда («Человек-Волк»), Сергея Панкеева, выпускника Императорского Новороссийского университета, художника-любителя (учился у выдающегося живописца-одессита Г.С. Головкова), скончавшегося в эмиграции. Их отец Константин Матвеевич Панкеев – дворянин, потомственный почетный гражданин, титулярный советник, алешковский 2-й гильдии купец, крупный землевладелец, одесский домовладелец (улица Маразлиевская, дом № 20, архитектор Л.Л. Влодек, 1890-е гг., памятник архитектуры), авторитетный гласный Одесской городской думы, издатель, почетный член Одесского городского попечительства детских приютов, человек широко образованный и либеральный, владелец весьма популярного в художественной среде имения Васильевка.

Панкеевы – старинный купеческий род, обосновавшийся на Юге еще в годы младенчества Одессы. Потап Панкеев с немалым семейством значится в перечне купцов, по городу Одессе состоящих, уже в ведомости от 31 января 1800 года. В феврале 1833-го одесская 3-й гильдии купчи-

ха, вдова Татьяна Панкеева просит разрешения открыть гостиницу в 1-й части Одессы. В «Одесском вестнике» (1842) упоминается алешковский 3-й гильдии купеческий сын Иосиф Панкеев, награжденный серебряной медалью с надписью «За усердие» «за особое содействие при тушении пожаров». В той же газете фиксируется сообщение о производстве в коллежские асессоры контролера Екатеринославской казенной палаты титулярного советника Панкеева с 29 декабря 1863 года.



Портрет Анны Панкеевой
работы Н.Д. Кузнецова

В 1892 году К.М. Панкеев продал свое обширное имение близ Херсона, а взамен приобрел в Одессе солидный дом в самом фешенебельном районе, с фасадом, обращенным к Александровскому парку, и привлекательное имение Васильевка. Оба этих объекта вскоре сделались особыми социокультурными местами города и региона. Здесь постоянно бывали представители интеллектуальной элиты, в том числе из центральных губерний и обеих столиц: преподаватели, ученые, думцы, художники, финансисты, земские деятели и т. д. Анна и Сергей росли в кругу просвещенных, как нынче принято говорить, продвинутых людей и сами получили великолепное образование. В мемуарах Сергей неоднократно пишет о том, что разносторонние дарования сестры нескончаемо превозносили как словесники, так и естественники.

Вместе с тем в насыщенном яркими талантами роду Панкеевых в разные годы отчетливо проявлялись признаки психических расстройств –



разного генезиса депрессии и случаи суицида. В этом смысле не стали исключением Константин Матвеевич и его дети. Модель психологического сознания дожившего до преклонных лет Сергея обстоятельно изложена в трудах Зигмунда Фрейда. Что касается покончившей с собой Анны, читатель сможет составить внятную картину по прилагаемой информации.



Вид дома в поместье Панкеевых Васильевка (современные снимки)

Априори хочу лишь указать на очевидную яркую индивидуальность этой противоречивой, но, несомненно, очень одаренной девушки, вызывавшей восхищение и даже поклонение далеко не последних современников. Довольно представить здесь явно восторженный портрет Анны, выполненный одним из лучших представителей южнорусской художественной школы, знаменитым живописцем Николаем Дмитриевичем Кузнецовым (1850-1929).

Анна Панкеева в текстах Зигмунда Фрейда (З. Ф.) и Сергея Панкеева (С. П.)

З. Ф.: «Он (Сергей. – **О. Г.**) не единственный ребенок в семье; у него есть сестра, которая на два года старше него. Этой бойкой, сообразительной и не по годам распущенной девочке суждено сыграть важную роль в его жизни».

С. П.: «Вскоре после приезда мисс Овен (то есть Оуэн. – **О. Г.**) родители отправились в путешествие за границу, а меня и сестру Аню оставили на попечение няни и английской гувернантки. Аня была на два с половиной года старше меня, и мисс Овен явно уделяла ей больше внимания, чем мне. Надзор за няней и мисс Овен родители поручили нашей бабушке по материнской линии, но она, к сожалению, не справилась со своими обязанностями. Хотя бабушка замечала, что мисс Овен плохо на меня влияет, она так и не решилась уволить ее до возвращения родителей. Их приезд все откладывался, так что нам пришлось несколько месяцев терпеть выходки мисс Овен, которая была настоящей психопаткой, да еще и часто выпивала…»

З. Ф.: «То лето он провел с английской гувернанткой, которая оказалась особой сумасбродной и вздорной, да еще и пьяницей. Мать решила, что характер у ребенка испортился по вине англичанки. Он, дескать, озлобился из-за того, что она дурно с ним обращалась. Проницательная бабушка (со стороны матери. – **О. Г.**), которая провела лето с детьми, была уверена в том, что ребенок стал таким раздражительным из-за раздоров между англичанкой и няней (полуграмотная старая крестьянка, заботливая и нежная. – **О. Г.**). Англичанка не раз называла няню ведьмой и выставляла ее



из детской; малыш всегда открыто заступался за свою любимицу и злился на гувернантку. Как бы то ни было, вскоре после возвращения родителей англичанку уволили, хотя характер ребенка от этого ничуть не исправился».

С. П.: «В отличие от меня, Аня хорошо ладила с мисс Овен, и казалось, ей даже нравилось, что мисс Овен надо мной издевается. По примеру мисс Овен она тоже стала надо мной подтрунивать…» (То есть Аня отождествляла себя с англичанкой; далее сложились и другие ролевые игры. – **О. Г.**)

З. Ф.: «Насколько он (Сергей. – **О. Г.**) помнит, оттуда (из «первого поместья». – **О. Г.**) они уехали, когда ему было пять лет. Судя по его рассказам, он тогда был очень пугливым ребенком, и сестра, зная об этом, над ним издевалась. На картинке в одной их детской книжке был изображен волк, стоящий на задних лапах в угрожающей позе. При виде этой картинки он всегда громко кричал от страха, ему чудилось, что волк сейчас схватит его и съест. А сестра нарочно подстраивала все так, чтобы ему постоянно попадалась на глаза эта картинка, и потешалась, глядя, как он пугается».

С. П.: «В малолетстве Аня была озорной, как мальчишка. Я не мог понять, почему она не играет в куклы…

Этот период «бури и натиска» у Ани завершился еще в то время, когда мы жили в первом поместье. Мало-помалу она успокоилась, остепенилась и увлеклась чтением. Со мной она тоже стала обращаться иначе. Теперь она наслаждалась ролью старшей сестры, которая наставляет младшего брата. Она учила меня определять время по часам и говорила, что земля круглая».

З. Ф.: «Все разом прояснилось, стоило лишь пациенту припомнить, что «в первом поместье, когда он был еще совсем маленьким», сестра подстрекала его к сексуальным шалостям. Сначала он вспомнил, как однажды в уборной, куда они часто ходили вместе, она стала его подбивать: «Давай покажем друг другу попки!», и первая подала ему пример. Впоследствии выяснились более существенные подробности совращения, а заодно удалось уточнить, где и когда именно это случилось. Все произошло весной, когда отец был в отъезде; дети возились на полу, пока мать занималась делами в соседней комнате. Вдруг сестра схватила его за пенис и принялась его теребить, рассказывая, словно в оправдание, немыслимые истории про няню: дескать, няня проделывает такое со всеми, например, с садовником, которого она переворачивает вверх тормашками и хватает за гениталии…

Саму историю с совращением он точно не выдумал. В ее достоверности убеждает один врезавшийся ему в память рассказ, который он услышал уже в зрелом возрасте. Однажды он разговаривал с кузеном, который был старше его на десять лет, и когда зашла речь о сестре, тот сказал, что хорошо помнит, какой она была дерзкой и сладострастной девчонкой. По его словам, будучи четырех или пяти лет от роду, она как-то раз уселась к нему на колени и, расстегнув ему штаны, норовила схватить его за пенис».

С. П.: «Вскоре после переезда в Одессу родители наняли нам новую гувернантку, на сей раз француженку…

Аня быстро поняла, что мадемуазель старается целиком подчинить нас себе, и научилась не поддаваться ее влиянию. Мадемуазель ее за это не попрекала, но, чтобы отвести душу, с особым рвением взялась за мое воспитание…

В Масленицу нас с сестрой пригласили на детский праздничный маскарад, на который Аня хотела явиться в мальчишеском наряде. Не помню, сколько ей тогда было лет, но как бы то ни было, мадемуазель утверждала, что в таком возрасте девушке уже положено заботиться о своей репутации».

З. Ф.: Я хотел бы ненадолго отвлечься от детских переживаний своего пациента и рассказать о том, что представляла собой его сестра, как она росла, как сложилась ее жизнь и какое влияние она на него оказала. Она была на два года старше него и всегда



затмевала его своими успехами. Девчонка-сорванец превратилась со временем в необыкновенно способную девушку, отличавшуюся острым умом и трезвостью суждений, во время учебы она отдавала предпочтение естественным наукам, хотя и ***сочиняла стихи, которые высоко ценил отец*** (подчеркнуто мной. – **О. Г.**). По уму она намного превосходила всех своих многочисленных первых поклонников и любила над ними потешаться».

С. П.: «Герр Ридель явно восхищался Анной и считал, что она не по годам умна, и хотя ей было в то время от силы шестнадцать лет, он в нее влюбился. Вот тут-то герру Риделю и изменило его хваленое самообладание. Будучи здравомыслящим человеком, он должен был понимать, что рассчитывать на взаимность ему не приходится. Анна уважала его как ученого и мыслителя, но ни о какой любви не могло быть и речи. Тем не менее, герр Ридель признался ей в любви, за что и поплатился».

З. Ф.: «Но после того, как ей исполнилось двадцать лет, она все чаще впадала в уныние, жаловалась на то, что недостаточно хороша собой, и стала нелюдимой…

Когда ему (Сергею. – **О. Г.**) исполнилось четырнадцать лет, сестра стала относиться к нему лучше; у нее был такой же склад ума, они вместе перечили родителям, так что в результате стали чуть ли не лучшими друзьями. В период полового созревания, когда его лихорадило от сексуального возбуждения, он даже пытался склонить ее к физической близости. Когда она мягко, но решительно ему отказала, он тут же переметнулся от нее к крестьянской девочке из домашней прислуги, которую звали так же, как его сестру. Этот поступок имел решающее значение

для его предпочтений при выборе гетеросексуального объекта… Если такие объекты любви заменяли ему недоступную сестру, то нельзя не признать, что решающее влияние на выбор объекта в его случае оказало стремление унизить сестру, лишить ее интеллектуального превосходства, которое его когда-то так удручало…»



С. П.: «Зиму 1905-1906 гг. я провел за границей. После того как я сдал вступительные экзамены и был зачислен в университет, мы с матерью и Анной отправились в Берлин…

Мать с Анной и ее компаньонкой провели всю зиму в санатории под Берлином, а я, воспользовавшись продолжительными заграничными каникулами, совершил две ознакомительные поездки по Европе. Осенью 1905 года я побывал в Италии, а на следующий год в феврале съездил в Париж и Лондон…

Мать с сестрой и двумя дамами вскоре переехали из Германии в Милан, где уже пятнадцать лет жил младший брат матери Василий, а затем отправились в Ливорно…

Мать задержалась в Италии, а сестра в середине августа вернулась вместе с компаньонкой в Россию. Анна ненадолго заехала домой и затем отправилась на Кавказ в поместье (вблизи Пятигорска. – **О. Г.**) тети Ксении, старшей сестры матери. За те две недели, что она провела со мной в нашем поместье, я не заметил в ее поведении ничего необычного. Меня удивило лишь то, что она уговаривала меня поехать вместе с ней на Кавказ, хотя знала, что я зачислен на юридический факультет Одесского университета, в котором на днях должны были начаться занятия. Когда я напомнил об этом Анне, она перестала меня упрашивать, но взяла с меня слово, что я напишу ей через неделю после



отъезда. Эта просьба тоже показалась мне немного странной, но я не придал ей особого значения.

Я посадил Анну и ее компаньонку на корабль, который отплывал в Новороссийск. Прощание было трогательным. Когда пароход отвалил от причала, Анна вышла на корму и все махала мне рукой, пока не исчезла вдали. Я еще долго стоял на пристани и смотрел, как корабль выходит из гавани и уплывает в открытое море.

Ровно через неделю после отъезда Анны я, как и обещал, послал ей письмо. Спустя две или три недели до нас дошло известие о том, что Анна тяжело заболела, а вскоре нам сообщили о ее смерти.

Потом мы узнали, что Анна приняла яд, и два дня молча терпела сильную боль. Только после того, как боль стала невыносимой, она попросила послать за врачом. Врачу она призналась, что выпила ртуть, и показала ему пузырек с этикеткой, на которой был изображен предостерегающий знак – череп с перекрещенными костями. По всей видимости, она взяла этот пузырек из своей домашней лаборатории, в которой проводила естественнонаучные опыты. После покушения на самоубийство у нее вновь пробудилась жажда жизни. Очевидно, порой нужно соприкоснуться

со смертью, чтобы вернуть себе вкус к жизни. Поначалу врачам казалось, что Анну удалось спасти, и они даже объявили, что ее жизни уже ничего не угрожает. Однако через две недели она умерла от паралича сердца.

Сестру похоронили в семейном склепе на Старом кладбище в Одессе. Мать тогда еще отдыхала за границей, и отец решил послать ей печальное известие с нарочным, а поскольку она получила его уже после погребения, единственными близкими родственниками Анны, которые присутствовали на похоронах, оказались мы с отцом. В порту, куда мы приехали вдвоем, чтобы забрать и перевезти на Старое кладбище доставленный на пароходе гроб с телом Анны, нас уже ожидали многие знакомые. Собралась там и целая толпа зевак.

В день похорон я словно впал в ступор, и мне казалось, что все происходит не наяву, а в каком-то дурном сне…»

З. Ф.: «Когда пациент получил известие о смерти сестры, он, по его признанию, нисколько не опечалился. Он натужно изображал скорбь, а сам тем временем хладнокровно радовался тому, что теперь остался единственным наследником родительского состояния…





Можно было, конечно, допустить, что неизжитая ревность вкупе с бессознательной инцестуозной влюбленностью помешала ему выразить боль утраты после смерти любимицы всей семьи, но я не был расположен мириться с тем, что он не отыскал замену для бурного проявления скорби, от которого в свое время удержался. В конце концов, выяснилось, что такой заменой послужило для него другое сильное переживание, которому он долго не мог найти объяснение.

Спустя несколько месяцев после смерти сестры он сам отправился в те места, где она умерла, отыскал там могилу великого поэта (памятник на месте дуэли Лермонтова. – **О. Г.**), который был тогда его кумиром. И склонился над ней, обливаясь горючими слезами. Его самого это удивило, поскольку он отдавал себе отчет в том, что с момента смерти его обожаемого поэта сменилось уже без малого два поколения. И только после того, как он вспомнил, что ***отец любил сравнивать стихи умершей сестры с творениями великого поэта*** (подчеркнуто мной. – **О. Г.**), он все понял. Еще одним намеком на истинный смысл его реакции в тот момент, когда он якобы решил поклониться праху поэта, послужила одна допущенная им в ходе рассказа ошибка (оговорка. – **О. Г.**),

на которую я тут же обратил внимание. Все это время он твердил, что его сестра застрелилась (дуэль Лермонтова. – **О. Г.**), а потом вынужден был признать, что на самом деле она приняла яд».

С. П.: «Когда мы были детьми, взрослые часто говорили, что Ане надо было родиться мальчиком, а мне девочкой. Она была волевой и целеустремленной натурой, всегда держалась независимо и никогда не поддавалась влиянию своих гувернанток. С возрастом у нее стали проявляться женские черты. Но она явно была к этому не готова и страдала от болезненного чувства ущербности. Анна привыкла сравнивать свою внешность с тем классическим идеалом красоты, которым она восхищалась. Она почему-то вбила себе в голову, что ей недостает женского обаяния. Кроме того, ей казалось, что она не нравится мужчинам, поэтому замуж ее могут взять только ради денег.

Скорее всего, беда ее была в том, что она, вопреки здравому смыслу, тщетно пыталась подавить в себе женственность. Разумеется, сама она не сознавала, что с ней творится».

Финал

Если представленные осколки в сочетании с прилагаемыми стихами сложились в мозаику, буду считать поставленную задачу выполненной. Что касается оценки стихов А.К. Панкеевой, доверяю ее специалистам, поэтам и любителям поэзии. Это, собственно говоря, всё, что она оставила по нашу сторону. Семейная усыпальница Панкеевых на Старом городском кладбище уничтожена вместе со всем погостом в середине 1930-х годов. Я счел возможным и даже необходимым предварить недавно изданную монографию об истории этого некрополя следующей поэтической миниатюрой (1905) ***Анны Панкеевой***:

Они пришли, от мала до велика,
туда, где стынут плющ и павилика*,
где ноздреватый каменный забор
и ангелы стоят как на подбор.

* Так в оригинале.

Я тоже здесь, бредущая аллеей
встречать зарю кровавей и алее.
Да сколько верст осталось мне всего…
И мой уход не значит ничего.

Где мой предел, еще не вижу ясно.
Меж тем, гравет дорожки беспристрастно
прервется. Не останутся следы,
но я останусь с Господом на ты.

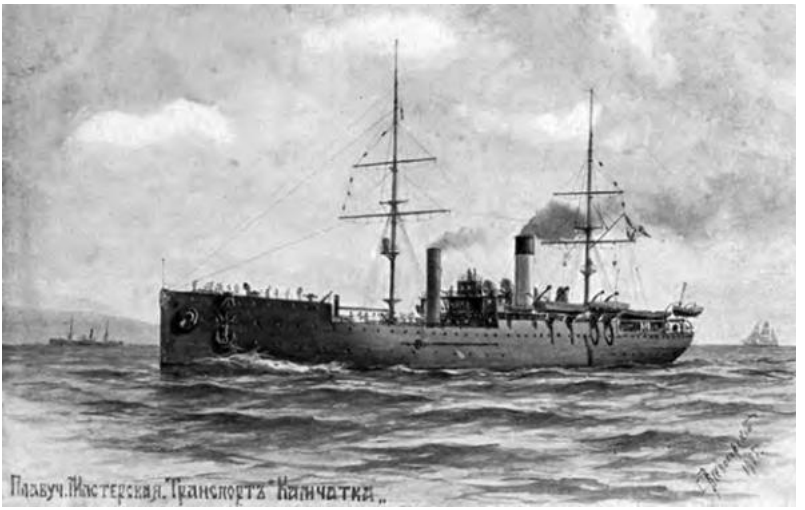
Теперь – подборка сохранившихся стихов, хороших и разных.

Памяти мичмана Павла де Лаваля

…Вот портсигар, забытый впопыхах
на столике в гостиной – уж не Вами ль?
Здесь самый воздух допьяна пропах
мадерой, котильоном и словами,
прекраснее которых в мире нет…
Ни Вас, ни мира больше не осталось,
слова иные хлещут из газет:
Цусима, пораженье, «Петропавловск»…

Комментарий

Мичман Павел Иосифович де Лаваль, представитель старинного аристократического рода, был товарищем Городыского по Морскому корпусу, где 6 мая 1902 года их вместе произвели в мичманы. Как и где они познакомились с Панкеевой, пока не знаю – Анна много ездила по России и Европе. Биография и героическая гибель де Лаваля – потрясающий сюжет. В ходе сражения при Цусиме он, вахтенный начальник, находился на плавучей ремонтной мастерской «Камчатка». Поврежденная в дневном бою, она кренилась на правый борт. Увидев брошенный всеми на произвол судьбы погибающий флагманский броненосец «Суворов», плавучая мастерская бросилась его



«Камчатка»

защищать. Сказывают, японские моряки посмеивались, когда старое корыто открыло огонь из четырех имевшихся в его распоряжении 47-мм пушечек – по сути, тех же сорокапяток времен Великой Отечественной. Сперва обалдевший от подобной наглости противник жестоко расправился с «Камчаткой»: в живых осталось всего 11 членов экипажа и 13 мастеровых. Вместе с кораблем погибли все 16 офицеров, 4 кондуктора, 239 нижних чинов и 68 мастеровых. В их числе – вахтенный офицер мичман де Лаваль.

Вот вам и портсигар… Не тот ли это портсигар погибшего мичмана, который остался в гостиной Панкеевых, перешел к его товарищу, а позднее был декорирован морской атрибутикой, запечатлевшей еще одну чудовищную драму?..

* * *

Волчонок в клетке, рот в крови,
Вгрызаясь в прутья, ищет волю.
Стою у клетки vis-à-vis,
Ведь это хищник и не боле,

Ему и клетка суждена,
И смерть от раскаленной пули…
Так отчего ж я так больна,
Как будто в сердце нож воткнули,

Как будто это я в плену
У дикарей в партикулярном,
И я кровавую слюну
Глотаю в ужасе кошмарном?

Да, это я. Мой серый брат,
Мы в клетку ввергнуты на муку,
Но нам Господь протянет в ад
Гвоздем пронизанную руку.

* * *

Забросивши в чулан дагерротипы
И отменив девичества мечты,
Я вышла в сад, где пчелы любят липы
И где порхают белые цветы.

Стоял июль. Недвижен желтый воздух.
Как банный жар, он злобен был и сух.
Он по ночам глотал большие звезды,
А по утрам вылизывал росу.

Я шла вослед за светло-серой тенью,
Сочилась жизнь, перетиралась нить.
Как славно уходить без сожаленья,
Как страшно без возврата уходить…

Прощаю всех, и этим душным утром
Я путь пройду от дома до беды,
Лишь заблестят засохшим перламутром
На камнях стен улиточьи следы.

* * *

Когда-нибудь, во время оно,
Старушка в тальме с бирюзой
На лавку примостится сонно
Под засыхающей лозой,
Всплакнет над розой безуханной,
И вдоль морщин пойдет слеза.
Она звалась когда-то Анной,
Но это помнит лишь лоза.

Васильевка

Под моим окном зеленый пруд,
Где русалки водят хороводы,
Где о берег плещущие воды
Ни часов не знают, ни минут.

Тянется дорожка из камней
От ротонды в поисках прохлады…
Здесь когда-то жители Эллады
Омывали вспененных коней.

На стене драконов суета,
Маленьких, хвостатых, безобидных.
К вечеру с небес, почти не видных,
Сходит на поляну Красота.

На беседке плюща борода,
Чай пахучий сладок, словно детство…
Этот мир достался мне в наследство,
Я – его хозяйка навсегда.

В кафешантане

Стою на краю и веселую песню пою
о вечной любви, а вы жизнь угадайте мою,
а вы угадайте, скажите – какого числа
душа повернулась и тихо со сцены ушла.

Мой голос, мое наказанье, моя кладовая,
я черное платье под белую шаль надеваю.
А белое платье висит в шифоньерной тиши
для самой красивой, для самой заблудшей души.

А вы угадайте, скажите – какого числа
душа перестала искать дорогого тепла.
Тепло все дороже, и с каждым потерянным днем
мне все холоднее под рампы смертельным огнем.

Я знаю куплеты, к которым не нужно припева,
послушайте для настроения и обогрева.
Еще – угадайте, скажите, какого числа
пришла непогода, и значит, погода ушла.

Мой слушатель, самый единственный, поторопись –
я белое платье надену на свой бенефис.
А сверху наброшу покорную черную шаль
на память о песнях, которых нисколько не жаль.

Элегия

Я подарю тебе венок из лилий,
холодных лилий в день отъезда,
и, вероятно, стану на колени,
хоть и не место.

Упругие, податливые стебли,
переплетаясь в очередь по кругу,

едва сомкнув узор, уже устали,
как мы в объятиях друг друга.

На воздухе им дышится тревожно,
их родина – прохладный сумрак пруда.
А впрочем, для прощания неважно
знать, кто ты и откуда.

Обманчивая искренность соцветий,
без запаха. Нагая статуэтка.
Пустая форма. Но велик создатель
такого слепка.

Моей дражайшей N –
девице, посетовавшей на робость поручика NN

Мой друг, не нужно так трагично:
Вам совершенно не идет.
Вы мне шепнули истерично:
– Анет, поручик – идиот!

– Он идиот? В каком же смысле?
Он Мышкин или Дон-Кихот?
На Ваших шашней шатком коромысле –
Быть может, это только тонкий ход?

Быть может, Вашу разомкнуть девичесть
Нужна вода, а вовсе не вино?
Чтоб медленно, но тем вернее, вычесть
Из суммы тела лишнее звено?

Колыбельная

Темнеет. Изморось. Похоже,
воскресный день стекает с крыш.
Мне надлежит его итожить,
а ты, Сергей, еще малыш.

Вот с отдаленной колокольни
в низины топкие, в леса
перетекают своевольно
и затихают голоса.

Я повторяю монотонно:
мы не пойдем туда с тобой,
где плачет зверь неугомонно
водой протяжной и немой.

Дремли, забудься этой песней,
угомонись же, сорванец.
Я знаю, завтра день воскреснет,
и мы проснемся, наконец.

Фото Натальи Евстратовой

Татьяна Щурова

Активные архивы



В последние годы Интернет «по-хозяйски» стал выполнять многие привычные функции библиотек. Кого-то это своеобразное «книжное бистро» вполне устраивает. Но экономя таким образом время, мы, как правило, получаем поверхностную информацию, зачастую еще и поданную с неточностями. Неудивительно поэтому, что все чаще исследователи вновь возвращаются в читальные залы, тем более что в сетях не всегда зафиксированы редкие источники.

Одесскую национальную научную библиотеку имени М. Горького недаром называют книжной сокровищницей Украины – в ней действительно накоплены редкие издания, имеющиеся далеко не во всех собраниях в нашей стране и за рубежом. Не теряют своей актуальности, например, одесские газеты и журналы конца XIX – начала XX вв., а также книжки того времени, порой скромные по размеру брошюры, которые сейчас, как говорится, на вес золота.






Обратимся к редчайшим одесским изданиям, касающимся творчества одной из самых эксцентричных женщин и актрис Сары Бернар (1844-1923). Александр Дерибас в год ее смерти напечатал в одесской периодике очерк «Сара Бернар в Одессе», где отмечал, что «прекрасная, тонкая, умная артистка, отдавшая всю

свою жизнь театру», все-таки часто бывала жертвой рекламы, в которой превалировали ее фантазии и капризы.

В Одессу С. Бернар приезжала в ноябре 1881 года. Толпы горожан встречали ее на вокзале, но спектакли были приняты, в основном, холодно. Увесистый булыжник (потом покрытый лаком) хранился в доме артистки, напоминая ей, что от зрителей можно получить не только восторженные крики «браво!».



К приезду Сары Бернар в Одессе в 1881 г. вышел биографический очерк, составленный на основе материала Франциска Сарсе, биографа и ярого поклонника артистки. Этот беллетризованный рассказ кратко, но емко повествует о необычайной работоспособности Бернар, которая действительно в турне по Европе того 1881 года дала 160 спектаклей за 180 дней.

«Божественная Сара» обладала многими талантами. Она успешно бралась за кисть и резец, описывала свое путешествие на воздушном шаре, была драматургом и автором романа; грациозна на лошади, отличалась замечательным искусством одеваться и… спала в гробу, в котором лежал матрас, «набитый засохшими цветами









и старыми письмами». Она вдохновляла поэтов, художников, общественных деятелей, в числе которых значится и наш известный одесский городской голова Г.Г. Маразли.







Личность Сары Бернар продолжала волновать одесситов. В 1903 году в Одессе выходит ее очерк «Нравственное влияние театра» в переводе с английского. Это сочинение еще раз подтверждает незаурядность артистки и ее преданность сценическому искусству. Ее размышления о театре, кажется, написаны нашим

современником: «…Влияние театра неоспоримо. Это влияние существовало во все времена и, по моему мнению, всегда было благодетельным. Иначе и быть не может, ибо театр дает возможность наглядно изучить эволюцию человеческой души… Театр – это храм всех искусств, украшающих жизнь, и в этом его сила… Искусство дает радость жизни. Знание уничтожает страх смерти. Радость дает здоровье, а здоровье рождает благоволение. Знание и искусство суть благодетельные источники жизни. Театр – средоточие всех искусств. Долг искусства дать нравственный урок…».



Примером вдохновенного служения другому виду искусства – музыке – может служить имя Гуго Римана (1849-1919). Много лет мы с благодарностью пользуемся его «Музыкальным словарем», составленным в 1882 году и вышедшим в расширенном виде в русском переводе в 1901 г., сделанном с 5-го немецкого издания. До сих пор словарь Римана на своих 1531 странице отвечает на трудные вопросы по теории и истории музыки, ответы на которые не найти в других справочниках.

В фондах ОННБ нашлась брошюра «Гуго Риман» (Одесса, 1897), подготовленная в серии «Биографии музыкальных деятелей»




Г. Риманъ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ.

Переводъ съ 5-го нѣмецк. изданія

XIV отдѣлъ

Б. Юргенсона,

828

дополненный русскимъ отдѣломъ, составленнымъ при сотрудничествѣ П. Бессарина, В. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юргенсона и др.

Переводъ и всѣ дополненія подъ редакціей

Ю. Энгеля.

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛІОТЕКИ

№

19 г.

П. ЮРГЕНСОНА.

МОСКВА ЛЕЙПЦИГЪ.

и вышедшая как приложение к газете «Театр», издававшейся в нашем городе с 1895 по 1902 гг. Поклонимся светлой памяти присяжного поверенного, титулярного советника Георгия Сегаля, издателя ежедневной (!) городской газеты, посвященной искусству, театру, музыке и спорту.

Брошюру А. Чарновой о Г. Римане не найти в сетях, о ней мало кто знает сегодня. Благодаря ей можно узнать о многогранной деятельности музыканта.

Гуго Риман – немецкий музыковед, создатель одной из крупнейших школ теоретического музыкознания. Он был профессором Лейпцигского университета, известны также его композиторская и дирижерская деятельность. Риман оставил огромное количество трудов и учебников по истории, теории, эстетике и педагогике музыки. Он владел и композиторским пером, оставил пьесы для фортепиано и произведения камерной музыки. Его поэтическая натура рождала стихотворные строки, полные глубоких чувств. Его ученые труды украшали страницы лучших европейских журналов и газет.

Мы сняли с полки несколько редких одесских изданий. Они до сих пор актуальны и служат исследователям и всем, кто любит искусство.

Феликс Кохрихт

Здесь Шагал Ренуар

Решился на каламбур: по этой земле шагали еще и Моне, и Матисс, и Модильяни, и Пикассо, и Дерен, и Сутин… Они провели в самом южном регионе Франции, Провансе – в полях цветущей лаванды, в оливковых рощах, на виноградниках, в горных деревушках и в приморских городах – лучшие дни, месяцы, годы.



Замок Гримальди в Кань-сюр-Мере



Мастерская Ренуара

Об этом написаны книги, сняты фильмы – все это можно найти в Интернете, но нам посчастливилось побывать в этих местах, где комфорт курортов Лазурного Берега сменяется круто вздымающимися тропами, ведущими к замкам вельмож Средневековья и мастерским, где создавались полотна, украшающие музеи мира.

Мы были здесь в разгар знойного лета и сполна вкусили и освежающей прохлады волн Средиземноморья, и укусов палящего солнца, накаляющего стены и мостовые старинных деревенек.

Поселились в Кань-сюр-Мере, бывшем рыбацком поселке, а ныне городе, расположенном между столицами Ривьеры – Ниццей и Каннами. Отсюда сподручнее всего было совершать вылазки в места, связанные с жизнью великих художников. Сыграло роль и то, что именно здесь провел счастливые годы Огюст Ренуар, с которого у нас много лет назад началось знакомство с искусством Нового времени.

В Кане – две доминанты, и обе расположены на возвышенностях: замок князей Гримальди и дом Ренуара. Они занимают



Ницца. В музее Шагала

командные высоты друг против друга, и добраться к ним не так уж и легко, особенно в знойный день. Как это ни странно, но к главным туристическим достопримечательностям города не проложены регулярные автобусные маршруты, что делает поход к ним весьма трудным, ибо решиться на такое могут лишь завзятые «ходуны» – поклонники истории и искусства. А еще – прованской кухни.

Мне – респект, а Тане – честь.
Чтобы выпить и поесть в замке княжеском Гримальди,
Перли в гору пехом мы, словно войско Гарибальди.
Дураков не встретишь больше – немцы ехали на «Порше».

В 1907 Ренуар, уже будучи знаменитым и скопившим достаточно средств, побывал в домене (общине) де Колет, что над Канем, и влюбился в оливковую рощу, где и построил дом.

Он прожил здесь всего три года, но они были плодотворным и полным умиротворения. Этому способствовали и роскошный сад, и вековые оливы, и особенный свет неба и моря Прованса, который запечатлен на полотнах Ренуара и других живописцев, работавших в этих краях. Именно здесь он создал, пожалуй, единственную скульптуру – бронзовая Венера притаилась в саду. Натурщицами были местные крестьянки – их правнучки и сегодня пригожи и румяны.



Сен-Поль-де-Ванс когда-то был крепостью

В 1910 году он пишет полотно «Пейзаж в Колете». На первом плане – старые деревья, под ними берут уроки рисования местные ребятишки, которых сюда привозят из окрестных школ.

Кода мы напечатали снимки, то увидели, что сегодняшние дети, а также и туристы, присевшие на скамейку в тени, – словно сошли с картин Ренуара…

В 1960 году дом художника был приобретен муниципалитетом у его наследников и стал музеем. Практически весь минувший год здесь шла реконструкция, и лишь за день до отъезда он открылся, и нам посчастливилось сюда попасть.

В Кане недалеко от пляжа проводятся ярмарки, где есть и ряды с антиквариатом. Разумеется, мало надежд встретить на развале подлинные раритеты, не говоря уже о неизвестных работах (хотя бы карандашных почеркушках) живших здесь мастеров. Но все же безумная надежда остается, фантазия играет:

Вот вам манса из Прованса.
Несу с воскресного базара обнаженку Ренуара.
В Одессу сделаю звонок: пусть приезжает Деменок.

Из Каня мы отправились в Сен-Поль-де-Ванс. Столь длинное имя, да еще (опять же) с тремя тире, принадлежит старинному городку, расположенному на скале, увенчанной башнями и окаймленной крепостными стенами. Взобраться сюда потруднее, чем к дому Ренуара, и приходится удивляться тому, что именно Сен-Поль выбрали местом встреч прославленные мастера конца XIX и начала XX веков упомянутые выше, да и современные художники облюбовали это намоленное великими предшественниками место. Они не только живут здесь, но и дарят городку свои работы – в основном скульптурные композиции, а их графику и живопись предлагают многочисленные галереи со столичными ценами. Случается, что в окнах выставлены работы великих – графика Матисса, Брака, Пикассо, но особое внимание знатоков привлекают цветные офорты Шагала.



Этот конь из подков посвящен Марку Шагалу

О нем – чуть позже, а пока мы бредем по крутой вымощенной еще римскими булыжниками улочке и останавливаемся передохнуть на маленькой площади с фонтаном, где под перезвон гитары бродячего музыканта набрасываемся на мороженое. В одном из погребков хранятся изысканные прованские вина и настойки, и среди них – пастис, напиток сродни абсенту, но тоньше и сложнее по вкусу. Мы приобрели бутылку и дома распили ее с друзьями…

Сен-Поль-де-Ванс, конечно, не Париж,
Но он – Прованс, от погребов до крыш.
Я здесь купил отменнейший пастис,
И это здорово повысит мой престис.
(Ван Гог любил абсент, пастис любил Матисс.)











Местные хмельные напитки заслуживают особого разговора, как и лавандовый мед, как и прованское масло. Именно оно, а не усредненное оливковое, особо ценится гурманами… Кстати, именно на нем в добрые старые времена творили изыски одесской кухни наши бабушки.

На прованском чистом масле здесь готовят рататуй.
Коли выпил на ночь пива – спи и с рифмой не балуй.

(Рататуй – овощное рагу, или, как у нас говорят, – «соус».)

И еще о том, что нас порадовало. Если во французских городах не встретишь на улицах кошек, то в горных деревушках, во владениях знати они – естественная составляющая пейзажа и общества и ведут себя с достоинством, а то и высокомерно.

Коты боятся высоты, но все же поселились в замке.
Кот – гений чистой красоты, а люди тянут лямку.
Хозяин вкалывал весь день, а кот забрался на плетень.
Потом пописал в ямку.

…По лестнице, запечатленной на холсте Сутина, спускаемся к местному кладбищу, на котором похоронен Шагал. С гор спланировали фиолетовые сумерки, на аллеях – ни души, чуть шумят кипарисы. Мы знаем, что наш великий земляк покоится здесь, обходим кладбище несколько раз, но художник словно прячется от нас…

Позже мы узнали от местных жителей, что так иногда случается – может быть, Марк Захарович хочет, чтобы его помнили живым.

В Сен-Поле долго жил Шагал: гулял, дышал и рисовал.
В одной из местных галерей эстамп, на нем – седой еврей
С женою верною своей
летит меж окон и дверей с эскортом птиц и лошадей.
(Все, как бывает у людей.)

Когда Шагал умер, местные жители скинулись и перед воротами, ведущими к собору и замку, установили фигуру Черного коня из тысяч подков – скульптор мне не известен.

В Ницце нам повезло веще раз – удалось, отстояв под знойным солнцем Юга длиннющую очередь, попасть в Дом-музей Шагала. В те дни на выставку работ из знаменитой Библейской серии сюда из многих стран съезжались не только почитатели творчества Мастера, искусствоведы, галеристы, но и духовные лица – представители разных конфессий. Не на симпозиум, не на диспут о творчестве Шагала – замереть перед холстом с одним из вечных сюжетов, тихонько посидеть на скамейке, размышляя…

Мир божий прекрасен, мир божий опасен,
мир божий бывает ужасен…
И если надежда устала, уснула под грузом амбиций…
Есть жаркая Ницца и тени граница,
и аура зала, где нынче хранится
Библейская притча Шагала.

…В следующий раз мы отправимся с вами в Антиб – там расположен музей Пикассо, и в другие города Лазурного Берега, в частности в Монте-Карло, и узнаем, что же находится перед входом в тамошнее знаменитое казино.

Завершим же сегодняшние заметки констатацией: фактов:

1. Здесь, сколько ни листаешь прессу,
ни слова нету за Одессу.
Здесь негры-грузчики в порту,
Бульвар Французский – весь в цвету.

2. Каждый честный гражданин должен съездить
на Ривьеру –
ну хотя бы – для примеру.

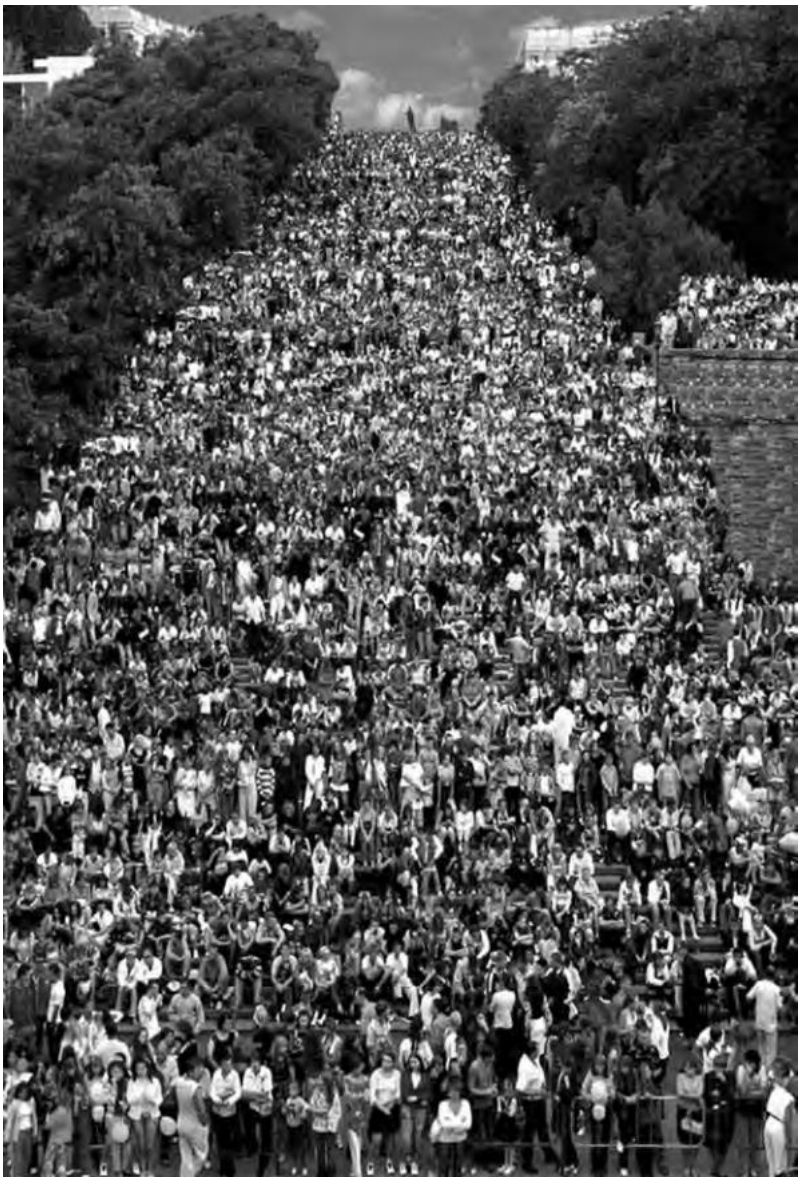
Фото автора и Татьяны Вербицкой

Иван Липтуга

Не потерять ценность Одессы

Двадцать первый век, новейшие технологии за последние десятилетия изменили мир до неузнаваемости и во многом уравняли шансы людей во всех странах и на всех континентах. Конкуренция вышла за рамки борьбы между крупными мегаполисами западного мира и позволила выйти на арену глобальной туристической конкуренции всем, даже маленьким деревушкам. Желание, знания и инвестиции приводят к успеху самые неожиданные уголки планеты и, как показывает практика, природные ресурсы все реже играют в этом главную роль. В пустынях строят горнолыжные курорты,







появляются новые удивительные отели в пещерах или на вершинах гор, а туристические операторы продают туры в космос. Туризм стал самой быстрорастущей отраслью в мире и вырос в десятки раз за последние пару десятилетий. Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) зафиксировала в прошлом году более миллиарда туристов, и эта цифра неуклонно растет каждый год. Очевидно то, что туризм и культура стали движущей силой цивилизации, и эта тенденция продолжит развитие во всем мире. В последние годы туризм в Украине также развивался достаточно быстрыми темпами. Строились новые аэропорты, отели, курорты, парки, рестораны и торгово-развлекательные комплексы. Учитывая такие международные события, как Евро-2012, Украину начали посещать все больше и больше туристов.





Но внезапно Украина оказалась в этом глобальном тренде аутсайдером и пострадавшей страной. Такой же, какими когда-то оказались Ирак, Египет, Сирия и многие другие страны, которые очутились на стыке геополитических и экономических интересов.

Вроде бы мы были готовы – и долго рассуждали о «дне», к которому приближались все двадцать три года, но никто не ожидал, что оно, это дно, приблизится так быстро и врежется в нас своим самым острым углом. Дно оказалось не столько экономическим, сколько нравственным. События последних месяцев во всей Украине и майские события в Одессе перевернули у многих в сознании представление о наших согражданах. Мирные лозунги из «Прэй фор Юкрейн» вдруг превратились в «Чемодан-вокзал-Рассея», а проевропейские протесты с ленточками и розочками в милицейских щитах в считанные дни обернулись братоубийственной войной. Как все-таки легко и быстро можно разрушить мир и вместе с ним все, что строилось и создавалось кем-то по крупицам!





На восстановление всегда нужно больше сил и времени, чем на разрушение. Но те, кто разрушает, к сожалению, мыслят иными категориями. Как ни странно это слышать в наше время, но это все те же категории Интернационала, впервые спетые под Марсельезу французскими революционерами еще в восемнадцатом веке, а затем переведенные нашим земляком Аркадием Яковлиевичем Коцом на русский язык…

…Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем!

Как показывает мировая практика, геополитические разборки могут затянуть нестабильность и противостояние на годы и даже десятилетия. Первостепенной задачей власти и общества должно быть восстановление баланса и стабильности








It's nice, but
I ♥ Odessa











в стране. Совершенно не хочется стать двадцать пятым поколением, строящим счастливое будущее, закладывая себя в фундамент. Хочется жить здесь и сейчас, радоваться каждому новому дню, любить и гордиться своим городом и страной.

Одесситы всех эпох без лишней скромности гордились своей уникальностью. Многонациональное смешение кровей и южный темперамент сделали наш город особенным. Толерантность и терпимость друг к другу, о которой последнее время многие так нелестно отзываются, характер, образ мыслей и менталитет одесситов легли в основу уникального и привлекательного мифа Одессы, который зарождался в обыкновенных одесских дворах, определявших повседневность одесситов разных религий и национальностей. В них возникли одесский язык как смешение славянских и многих иных наречий, одесская кухня как соединение рецептов и способов приготовления пищи народов Средиземноморья, Европы и Азии, одесский стиль как синтез различных направлений культуры и моды.

По словам цензора К. Зеленецкого, жившего в Одессе в XIX веке, жизнь в Одессе представляет все удобства и выгоды провинциального города в соединении со многими преимуществами столиц.





Важно не потерять эту ценность Одессы, которая притягивает и вдохновляет людей со всего мира. Это общая задача всех нас, тех, кто любит наш город и хочет видеть его, как и прежде, богатым, процветающим, творческим, веселым и толерантным.

Михаил Пойзнер

Прощай, оружие…

…В свое время дядя Сеня с Картамышевской – старый одесский поездной вор – поучал меня: «Никогда не ходи без оружия. Держи его «с умом»… А то, не дай Бог, всегда будешь «ходить на босу ногу». На языке поездных воров (не путать с ворами вокзальными) это означало – украсть из купе тяжелый чемодан, в котором ничего ценного не окажется… Короче, рисковать жизнью ни за что…

И я, кажется, всегда хотел иметь оружие. Хоть какое. Особенно если ты воевал, если пережил все и выжил… Законно, не законно – это уже другое дело. У жизни законы свои…

Я же конца 25-го года. На 22 июня 41-го призыву в армию не подлежал. Еще и школу не окончил. А вот оборону Одессы помню хорошо. И где какая баррикада, и Пересыпь затопленную, и перепуганные толпы, и грабеж магазинов. И потом – «новый румынский порядок», и как евреев «сдавали»…

Жили мы тогда на Пишоновской. В первый год оккупации, в самую голодуху, ходили аж за Дальник – собирали картошку, семечки, колосья… Где сейчас корпуса Высшей мореходки, там были огороды, еще и после войны тоже. Как-то кормились. А зимой – совсем плохо. В конце 42-го даже чуть-чуть подвязался «помогать» в пекарне на Пересыпи. Как говорили при румынах: «Где харчи, там и торчи». До сих пор никто ничего нового так и не придумал.

Помню на Дидрихсона, где еще недавно было общежитие автодорожного техникума, стояла румынская часть. Эти румыны все время мелькали перед глазами, мелькали и тащили все под-

ряд… А в конце марта 44-го появились немцы, даже проходили колонной на нашей улице. Мы прятались кто где – на чердаках или в щели, вырытой на случай бомбежки. В конце двора был лаз в катакомбы – сначала вертикальная штольня высотой метра два, потом своды из ракушечника и разветвленные ходы. В 47-м этот вход завалили, а тогда здесь спасались всем двором. Если бы нас нашли, то сразу же могли расстрелять дворника. 2 апреля 44-го наш дворник, опасаясь за свою жизнь, выскочил на улицу и заорал: «Партизаны, партизаны!..». На наше счастье проезжающие на машинах немцы из-за шума моторов ничего не расслышали… После войны этот дворник жил у нас как ни в чем не бывало. Даже глаза не опускал…

А если по правде, то к чему я мог быть готов в 16 лет? Да толком ни к чему. Вот только в школе серьезно занимался художественной самодеятельностью. Даже представлял себя большим артистом. Ну как в фильме «Музыкальная история» с Сергеем Лемешевым. Там из простого таксиста получился солист Большого театра! Что-то, конечно, я мог – все же мы в школе немного проходили и сценическую речь, и сценические движения, и актерское мастерство. И все-таки вырос же я в Одессе!

Весной 43-го на Ланжероновской открылся очередной театр. И, конечно, начали с современной пьесы на военную тему. Знакомые посоветовали показаться там. А вдруг? С первого же просмотра предложили роль молодого немецкого офицера. Очевидно, на такое решение подтолкнула моя внешность – крепкий, белесый, высокий. На вид можно было дать лет 20, даже 22. Премьера прошла с успехом. А жили мы тогда какое-то время у моей крестной на Комсомольской, между Тираспольской и Большой Арнаутской. Крестная болела, пришлось разрываться между Пишоновской и Комсомольской. На радостях сразу же после спектакля, не переодеваясь, пошел на Комсомольскую. Хотел обрадовать маму. В башке же ветер, туман и фантазия. Шел через весь город, через румынские патрули. Тогда немцев в Одессе было очень мало. Румыны, очевидно, подходить как-то не рискнули. Я – наглаженный немец, в форме, фуражка с кокардой, начищенные сапоги, на левом боку кобура с «пистолетом». Одним словом, орел немецкий… По дороге представлял, как мама охнет, как бросится

на шею… Тут вспомнил, что в нашем дворе, в «еврейской квартире», поселились какие-то сволочи со Слободки. Эти новенькие все вынюхивали и высматривали. Я настолько вошел в роль, что решил на пару минут заскочить и заодно посмотреть им в глаза. Небрежно толкнул ногой их дверь. Держась за кобуру, на ломаном русском языке пояснил, что, мол, как-то аккуратней живите, мол, сбавьте обороты – иначе будем разговаривать в другом месте и на другие темы… У них задрожали и руки, и ноги, и все остальное.

Мама открыла дверь и чуть не упала в обморок. Быстро стянула с меня эту проклятую форму, сложила все в мешок и… выпустила через черный ход. Кто-кто, а она понимала, что этой мальчишеской выходкой я подвергаю всех смертельной опасности. Ну, как-то обошлось, но на этом «театральная история» не окончилась.

Дальше – больше. Сразу же после освобождения Одессы, в начале мая 44-го, меня призвали в армию. И почти сразу же на фронт. Уже в августе началась Ясско-Кишиневская операция, освобождение Бессарабии, Молдавии и «разборки» с Румынией.

Хотел и попал в разведку. Сначала в батальонную, потом в полковую. Я довольно быстро вошел в курс дела. После формирования в нашем батальоне было что-то 300 человек. Но уже после первых боев осталось, может быть, чуть больше половины. Страшно…

Мы уточняли, где там танки, где пулеметные гнезда, где маскировка, сколько живой силы, где минные поля. Командир наш, хотя и молодой старший лейтенант, был уже стреляным разведчиком. А разведка, что «тихая», что «демонстративная» – это всегда между жизнью и смертью. «Демонстративная» так вообще – вызывают огонь на себя, чтобы засечь позиции противника. Туда, в основном, кидали штрафников. А «тихая» – это «тихая», и задания – специальные, и рейды глубокие…

22 августа 44-го, как только мы переправились через Днестровский лиман, тут же попали в засаду. Я получил ранение в бедро и левую ногу, но все-таки успел вытащить раненного командира из-под огня, сумел дотянуть к своим. Потом оказалось, что мой старший лейтенант – родной племянник нашего командира полка! И когда такое было?! Ко мне в госпиталь явился сам ко-

мандир полка: «Спасибо тебе, одессит! Я представил тебя к медали «За отвагу». Пока в дивизии утвердят, пока туда-сюда, получи от меня трофейный «Вальтер»! Считай, это твое наградное оружие». Получилось, что пистолет этот как бы наградной, но выдан без должного оформления. Так я оказался при личном оружии, а в голове навсегда застряли слова старого вора дяди Сени.

…После ранения и госпиталей уже в январе 45-го вернулся в Одессу с инвалидностью. Так что много повоевать не получилось. Потом еще очень долго тянул левую ногу. И даже сейчас, видишь, добре прихрамываю.

Так вот. Еще в конце 44-го в госпитале бывший штрафник-уголовник, между прочим, советовал: «Имей за привычку – когда заходишь на стремную квартиру, всегда старайся незаметно вешать пистолет на вешалку, а сверху на него – кепку. При тебе пушки нет, но она хорошо есть!». Тогда в голове прямо стукнуло: «Так то те же самые слова дяди Сени, только другими словами!».

Все это как-то запало в душу. И «Вальтер» мой я отпускал от себя максимум так на шаг.

…У моей мамы была родная сестра. Был у нее муж, дядя Яша, было двое детей. Дядя Яша ушел на фронт и погиб где-то под Харьковом. Еще в августе 41-го тетка с детьми эвакуировалась в Бухару. Что хорошего могло ее ожидать в Одессе с детьми от мужа-еврея? Соседи тут же бы «помогли» румынам разобраться в ситуации. И вот в августе 45-го пришлось ехать за ними в ту самую Бухару.

Добирался поездом до Ташкента что-то пару недель, оттуда – на перекладных до Бухары. Я был спокоен – мой «Вальтер» со мной, и сам я уже кое-что прошел…

Ну что? Чемоданов, конечно, никаких нет и близко. Быстро сбил деревянные каркасы, обтянул их фиброй, пристроил ручки, петли, пуговицы. Чем тебе не чемоданы? Собрал барахло, посуду, примус, тряпки всякие… Еще на базаре за две пары офицерских сапог выменял чуть гороха, чуть концентратов из пшенки и гречки, чуть американской тушенки.

Подогнали обычные товарняки. Мужики быстро смастерили нары в два-три яруса. Едем… На железной дороге – аврал. И понятно – войска двигаются на войну с Японией. Поезд наш очень часто

и надолго останавливался в чистом поле – пропускали военные эшелоны. А как ели? Я возил за собой два кирпича – ставил эти кирпичи, разводил огонь и разогревал там кашу, чай, тушенку. На полустанках менял ташкентский лук и чеснок на хлеб, картошку и, если очень повезет, на сало. На станциях проще – хоть можно кипяток добыть… Так двигались до Москвы больше месяца.

В поезде «Москва – Одесса» уже легче – и вода горячая, и порядка больше, и пассажиры другие. В Одессу возвращались и бедные, и богатые. Офицеры ехали к новому месту службы. По вагонам уже шныряли поездные воры, они «работали» в паре с немыми. Те давали наколку на «тяжелых» пассажиров, особенно на богатых евреев, возвращающихся из эвакуации. Жертв высматривали еще на вокзале, при посадке в вагоны.

Наверное, опытный воровской взгляд сразу же обратил внимание на наши чемоданы – пузатые и подозрительные. Мы же ехали еще из Ташкента, как говорили тогда, с «5-го Украинского фронта». Еще и в купейном вагоне…

Сначала в наше купе заглянул один немой, что-то пытался объяснить на пальцах. Думаю, он быстро осмотрелся – странные чемоданы, одна женщина, дети малые, какой-то хромоногий парень. Дело верное! Потом в купе ворвались двое с ножами: «Деньги, золото, бриллианты – на стол!». Дети заревели…

Никто не обратил внимания на мою кепку, одиноко «сидящую» на вешалке-крючке. Мне бы только дотянуться до нее! Я начал испуганно трястись, медленно продвигаясь к вешалке. «Вальтер» уже у меня в руках. Воры побросали ножи. Я поставил их на колени, демонстративно расстегнул чемодан: «Смотрите, какие у нас «бриллианты»! Сволочи, не попадайтесь больше на глаза!». И тут выручил «Вальтер», и тут «Вальтер» понял меня без слов…

…После войны в Одессе пришлось крутиться – кругом разруха, кругом голодуха, кругом обида и злость. А где работать? Сначала свели с евреями, которые делали кожу. Оборачивал куски кожи вокруг себя и проносил через проходную. Дальше – на толчок, на Косарку. Еще научился шить валенки для крестьян. Что тут? Купил трофейный ножной «Зингер», он брал любую толщину. Изношенные шинели красил черной краской, сушил, потом кроил «под валенки». Уголки вырезал из кирзовых сумок. А чем наклеи-

вать? Так доставал в порту пластинки каучука, разводил в бензине – вот тебе и клей. И опять – на толчок. И опять – Косарка… Так крутился ради куска хлеба. Время такое было…

Потом занялся «левой» водкой. Занялся тем, что кормило. И вот, кажется, летом 46-го заскочил в один дом на Комитетской на разговор с деловыми людьми. Кто мог знать, что за этой квартирой уже наблюдают бандиты. Настоящие бандиты! Когда собралось человек десять, в основном пожилых людей, в дверь постучали. В квартиру ворвались два вооруженных мужика. Начался грабеж – шмонали по карманам, отбирали деньги, ценности, хлебные карточки. Трусили всех, перекидывали шкафы и кровати. Все дрожали от страха. Бандиты расслабились, подальше спрятали пистолеты. Начали докапываться, где основная выручка от той «левой» водки. Никто меня, хромого, не брал в учет. Да и был я пешкой, всего лишь, как теперь говорят, реализатором товара. Что дали – то продали! Кто мог разглядеть во мне полкового разведчика с медалью «За отвагу»?! Я стоял в нескольких шагах от вешалки, от моего «Вальтера», прикрытого промасленной кепкой. Когда скомандовали выходить на улицу по одному, потянулся за своей кепкой… Мгновенно в руках оказался «Вальтер», давно снятый с предохранителя. Дальше все в обратном порядке – уложил бандитов на пол, отобрал пистолеты и награбленное. Чтобы навсегда забыли этот адрес, оставил им что-то на мелкие и средние расходы. Потом, правда, мы разошлись с миром. Никто не хотел умирать…

А через какое-то время на эту же квартиру нагрянула уже милиция. Все повторилось. Обыск, поиски оружия, липовых накладных, денег, ценностей. Перерыли все. Что-то, конечно, нашли, но опять никто не догадался заглянуть на вешалку, под мою кепку… Оружия нет – значит, обычные спекулянты, а я – так вообще никто и ничто…

А вот продолжение еще той военной «театральной истории».

Как раз напротив того дома на Комсомольской был толчок. Такой разбросанный и мало управляемый толчок. Здесь я частенько «перекидывал» или менял что-то на что-то. А на что дальше жить? Как-то уже в марте 47-го выскочил сюда с барахлом, без документов. Меня быстро засекли переодетые оперативники.

Слово за слово, я доверительно усмехнулся (все-таки когда-то учился на артиста): «Вы что, ребята! Я – фронтовик с ранениями и наградами! И живу здесь напротив… Какие еще нужны документы?!». Тогда они: «А! Напротив живешь? Ну тогда пошли к тебе домой…». Уже по ходу дошло, что дома могут найти мой «Вальтер», и тогда конец… Улучив момент, скользнул в черный ход – тот самый черный ход, через который меня выталкивала мама после «театрального дебюта». Оперативники подняли шум, пошли по квартирам – кто такой? Откуда? Так они дошли до тех соседей, которых я «взял на испуг» в 43-м. Те в два голоса подтвердили: «Как же! Он же сотрудничал с немцами (!), даже носил немецкую форму! Он же… он же…».

Пока разбирались, пока сличали… Пришлось доказывать, что я – не я… И наоборот. Выручил военком тогда Ворошиловского района полковник Фишман. Он-то меня помнил и по фронту, и по разведке, и вообще. В ноябре 45-го он же вручал мне запоздавшую медаль «За отвагу». А так – мог загреметь на всю катушку. И даже больше…

А потом жизнь сама все стерла.

Женился, пошли дети. Пора уже было отходить от грубых дел. Да и сама жизнь поправилась. Отменили карточную систему, хлеба – сколько хочешь. И на улицах как-то поспокойнее, люди улыбаются чаще…

А что с «Вальтером»? Я понимал, что все равно придется с ним расстаться. Но все равно сдавать не хотел. Вот так боролся с собой, пока 20 августа 49-го не забросил его подальше в море на Ланжероне. Всё. Та страница жизни перевернута.

Пошел на «Радиалку», где отпахал аж до 95-го года. Пока здоровье тянуло… И все равно еще много лет ходил на Ланжерон, на то место – поначалу с сыном, потом с внуками, потом сам плелся… Бросишь один камень, бросишь другой. И вообще… Смотришь, как расходятся круги по воде. Точно так же расходилась и пропадала моя жизнь, опять расходилась и опять пропадала…

Уже молчи, старый дурак… Что, тебе мало всего?!

А до сих пор и ночью, и днем перед глазами тот «Вальтер» – мой заступник, моя справедливость.

Наиль Муратов

Хитрая Катька

К пяти годам у Катьки проснулось чувство юмора, что поначалу ни у кого не вызвало беспокойства. Таисии, испытывавшей законную гордость за дочь, даже нравилось рассказывать подругам о ее милых шалостях.

Старшую сестру Катьки зовут Нонна. Совсем недавно ей исполнилось шестнадцать, и она оказалась первой жертвой специфического чувства юмора младшей сестры. Нонна – девушка с поистине золотым характером, к тому же весьма привлекательная внешне. Так уж получилось, что на ее плечи легла большая часть забот о Катьке, поскольку Таисия, сократив декретный отпуск, вышла на работу, остававшуюся единственным источником дохода в семье. Мужа она выгнала из дому лет десять назад по причине, известной лишь им двоим, да и тайну отцовства младшей дочери раскрывать не собиралась. Каждый день в обед, дождавшись возвращения Нонны из школы, Таисия убегала в свой офис, а когда возвращалась, Катька уже сладко спала. Неудивительно, что постоянно видя рядом старшую сестру, девочка начала называть ее мамой. Несмотря на обилие домашних обязанностей, Нонна хорошо учится. Отчасти это объясняется бескорыстной помощью подруг-одноклассниц, обожающих общаться с Катькой, но главным образом – собственной организованностью. Поскольку жизнь юной «мамы» протекала исключительно в школе, дома и на детской площадке, отношения ее с парнями не заходили дальше дружеского общения. Даже в выпускном классе, когда у большинства подруг завелись постоянные привязанности, Нонна снисходительно смотрела на сверстников, считая себя взрослой. Впрочем, она и выглядела старше своих шестнадцати, отчего

многие мальчики просто боялись к ней подходить. Но однажды, когда до окончания школы оставалось меньше месяца, в жизни Нонны произошло весьма примечательное событие. Отправившись вместе с Катькой в кино, в фойе кинотеатра она едва не столкнулась с беспечно двигавшимся наперерез парнем лет двадцати. Он начал было извиняться, но неожиданно умолк, а потом без всякой связи с предыдущим произнес убито:

– Вы так красивы!

Нонна, не привыкшая к подобным признаниям, собралась скромно отвести взгляд, но, заглянув случайно в глаза незнакомца, застыла, потерявшись в лабиринте его загадочных мыслей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в дело не вмешалась Катька. Потянув сестру за руку, девочка сделала шаг в сторону буфета.

– Ты же обещала купить мне пирожное! – возмущенно заявила она.

Увлекаемая напористой Катькой, девушка нерешительно направилась в дальний угол фойе. Никогда еще она не была так зла на сестренку, зато та, получив обещанный эклер, мигом пришла в хорошее настроение. Веселое щебетание Катьки вызывало у Нонны раздражение.

– Давай-ка ты, ешь быстрее! – строго распорядилась она. – Сеанс скоро начнется.

– Успеем! – благодушно отозвалась Катька, откусывая очередной кусок пирожного. – Хлеб дороже зрелищ!

Нонна, взглянув с неодобрением на вымазанную кремом веснушчатую физиономию, открыла сумочку и принялась искать влажную салфетку. Но привести сестренку в порядок не успела, поскольку с приятным удивлением обнаружила возле столика все того же парня, сумевшего, по всей видимости, перебороть первоначальное смущение.

– Можно я присяду за ваш столик? – вежливо поинтересовался он.

– Присаживайся! – по-хозяйски распорядилась Катька, не собиравшаяся, судя по всему, отдавать инициативу сестре. – Можешь взять мне еще одно пирожное. Лучше эклер!

– О'кей! – с готовностью согласился парень, а затем обратился к Нонне: – А вам?

– Нет-нет, покупать ничего не нужно! – решительно отказалась она. – Кате хватит и одного пирожного, а я вообще не ем сладкого!

Тут Нонна спохватилась, что ее рассерженный тон может обидеть незнакомца, а этого ей совсем не хотелось.

– Но вы можете просто сесть за наш столик, если желаете, – обворожительно улыбнувшись, предложила она.

– Здорово! – обрадовался парень. – Но я, пожалуй, все же сбегаю за пирожным. Очень уж хочется понравиться вашей очаровательной сестренке.

– Ты мне уже понравился! – доверительно сообщила Катька, в ясных глазках которой можно было отчетливо разглядеть очертания еще одного пирожного. Подумав, она добавила: – И маме тоже!

– Вы пришли с мамой? – озадаченный незнакомец начал озираться по сторонам, и Катька, удивленная его близорукостью, указала пальчиком на Нонну.

– Да вот же она, моя мама!

– Мама? – удрученно переспросил незнакомец. На парня было жалко смотреть: приглянувшаяся ему девушка неожиданно оказалась молодой матерью. – Так вы замужем!

– Нет, не замужем! – вновь вмешалась в разговор Катька, не оставляя Нонне шансов вмешаться в разговор. Внезапно в голове девочки родилась еще одна замечательная идея, и она с хитрой улыбкой спросила: – А у тебя есть жена?

– Нет, – хмуро ответил парень. – Я пока не собираюсь жениться.

– Зря! – с сожалением произнесла Катька, мигом подсчитавшая, какого количества пирожных она лишается. – Мама у меня очень хорошая.

– Не сомневаюсь! – холодно отозвался ее собеседник.

– Послушайте! – Нонна поспешила, пока не поздно, внести ясность:

– Вы все неправильно поняли! Катя – моя сестра, а не дочь.

– Да, конечно, – торопливо согласился незнакомец. – Я все понимаю, не сомневайтесь. Извините, ради бога!

Сухо попрощавшись, он направился прочь и спустя минуту скрылся в зрительном зале. Нонна перевела взгляд на Катьку. Безмятежный вид сестренки окончательно взбесил девушку.

– Спасибо! – с чувством произнесла она.

– Ничего-то он не понял! – расстроилась Катька. – Вот бестолковый!

– Знаешь что, не сваливай с больной головы на здоровую! Теперь иди и расхлебывай кашу, которую ты заварила! – зловеще произнесла Нонна.

Почувствовав, что старшая сестра не шутит, девочка безропотно отправилась выполнять приказ.

Парня, так и не успевшего купить ей эклер, Катька нашла без труда, поскольку просторное помещение было заполнено не более чем на четверть. Судя по выражению лица, незнакомец пока не оправился от полученного удара.

– Да пошутила я! Она мне вовсе не мама! – без тени смущения заявила смышленая девочка.

– А кто? – живо встрепенулся парень.

– Почем мне знать! – доверительно сообщила Катька, но, заметив недоумение незнакомца, заразительно рассмеялась: – Опять пошутила! Да ты не сомневайся, Нонна – моя старшая сестренка, мы с ней все время вместе. А ты что, влюбился в нее?

– Нет, что ты! – испуганно возразил незнакомец. – Но мне, конечно, хочется познакомиться с твоей сестрой. Она – удивительная девушка!

– Ну, тогда пошли, раз хочется! – рассудительно заметила Катька.

Ухватив смущенного парня за руку, она направилась к столику, за которым томилась Нонна. В отсутствие младшей сестры старшая внезапно осознала, что не имела права отпускать ее, да еще с таким деликатным поручением. Увидев девочку в целости и сохранности, к тому же не одну, Нонна расцвела. Набравшийся храбрости незнакомец не подвел и, подойдя к столику, с обезоруживающей улыбкой признался:

– Кажется, я свалял дурака! А у вас, кстати, классная сестренка, здорово она меня провела!

– Она может! – согласилась Нонна, и оба они рассмеялись.

– Тебя легко провести! – снисходительно заметила Катька.

– Это почему же? – удивился парень.

– Потому что ты лох!

– Катя! – возмутилась Нонна, не подозревавшая до этой минуты, что в лексиконе сестренки существуют подобного рода неологизмы. – Как тебе не стыдно!

– Да стыдно мне, стыдно! – без тени смущения отозвалась девочка. – Аж плакать хочется!

Нонна взглянула на сестренку с подозрением, но та сумела состроить на очаровательной мордашке самое невинное выражение. Было очевидно, что в Катькиной голове зреет очередная зловредная идея.

– А когда мы пойдем в буфет за эклером, мама? – ханжеским тоном поинтересовалась юная плутовка. – Ты же обещала мне пирожное!

– За какие заслуги? – озадаченно спросила ее сестра, у которой возникло весьма дурное предчувствие.

– Ты обещала пирожное, если я скажу ему…

Катька выдержала эффектную паузу и, бросив на незнакомца честный взгляд, торжественно заявила:

– …что ты моя сестра!

– Ну, знаете! – возмутился парень, обращаясь к Нонне. – Вашему цинизму нет предела.

– Я ей ничего не обещала! – растерянно сообщила девушка.

– Даже сейчас вы не можете сказать правду! А ведь дети врать не умеют! – назидательно произнес парень, почувствовавший себя дважды обманутым. Достав из кармана бумажную купюру, он бросил ее на стол. – Вот, купите вашей дочери пирожное, она его заслужила. Только благодаря Кате я теперь знаю, что вы из себя представляете!

Незнакомец гордо удалился, причем в этот раз направился он не в зрительный зал, а прямиком к выходу. Развлечений на сегодняшний день парню, похоже, хватило.

– Я же говорила, что он лох! – победно заявила Катька. – А ты не верила!

Помирились сестры только спустя неделю, когда душевная рана Нонны слегка затянулась. После промаха в кинотеатре Катька целый месяц вела себя паинькой и никаких провокаций не устраивала, но старшая сестра не верила, что это надолго.

И она, конечно, не ошиблась. Следующей жертвой Катькиного остроумия стала Таисия. Случилось это в середине июля, когда семейство в полном составе возвращалось в родную Одессу после визита к российским родственникам. Брат Таисии, наслушавшись жалоб сестры на тяготы путешествия в плацкартном вагоне, надумал сделать сестре подарок – поменять обратные билеты на купейные. К сожалению, не всегда все, что делается, делается к лучшему! Войдя в купе, молодая женщина обнаружила на левой нижней полке небритого типа с характерными для уроженца среднеазиатских государств чертами лица. Облаченный в измятый спортивный костюм, сосед производил малоприятное впечатление. Был он, скорее всего, самым обычным гастарбайтером, но насторожившейся Таисии почему-то сразу вспомнились многочисленные истории о жестоких перевозчиках героина и о прочих ужасах современной наркоторговли. Незнакомец выглядел тем более подозрительным, что взгляд его, брошенный на вошедших, оказался таким цепким, будто человек, развалившийся на небрежно застеленном простыней матрасе, просветил женщину рентгеном. По твердому убеждению Таисии, подобным проникающим зрением мог обладать только настоящий криминальный авторитет. Не раздумывая, она отправилась к проводнику, предварительно шепотом попросив Нонну соблюдать осторожность и не общаться пока с подозрительным соседом. Проводник бдительную пассажирку разочаровал, проявив редкое бездушие.

– Да где же я вам другие места достану?! – воскликнул он таким страдальческим тоном, будто Таисия требовала, чтобы он удалил себе без наркоза аппендикс. – Лето сейчас, все вагоны заполнены.

Потратив битый час на пререкания сначала с проводником, а затем и с бригадиром поезда, бедная женщина вернулась в купе, где ее ожидал очередной сюрприз: Нонна, аристократично отставив мизинец, пила чай из чашки, явно принадлежащей незнакомцу, а подлая Катька и вовсе расположилась у него на коленях. В каждой руке она держала по конфете и, судя по выражению довольства на перемазанной шоколадом мордашке, немалое их количество уже успела съесть.

– Девочки! – строго одернула дочерей Таисия, что не произвело на присутствующих никакого впечатления.

– Хотите чаю? – поинтересовалась подозрительный сосед, умело изображая дружескую улыбку. Говорил он на правильном русском языке, практически без акцента, что, по мнению Таисии, лишь подтверждало его высокое положение в криминальной иерархии.

Холодно отказавшись, Таисия попросила Нонну выйти вместе с ней в коридор, но попытка сурово отчитать старшую дочь окончилась полным провалом: девушка, что вполне характерно для ее возраста, к аргументам матери осталась равнодушна.

– Да он совершенно нормальный! – протестовала она. – Чего ты кипятишься!

Как ни странно, но в споре поколений в этот раз правой оказалась юность. Подозрительный сосед по купе был на самом деле полковником медицинской службы, возвращавшимся в Одессу из родного Казахстана. Служил он в госпитале пограничников и потому относился к погранвойскам, что сыграло свою роль в дальнейших событиях. Звали соседа Батыржан, и он действительно являлся крупным авторитетом, но не в криминальной среде, как предполагала Таисия, а среди практикующих нейрохирургов. Находясь в пути более трех суток, выглядел полковник весьма непрезентабельно, что и ввело бедную женщину в заблуждение. Таисия бодрствовала до глубокой ночи, готовая расстроить коварные планы незнакомца по вовлечению ее дочерей в круг наркоманов, а тот продолжал изображать из себя доброго соседа, оказывая попутчицам знаки внимания. Особым расположением полковника пользовалась Катька, успевшая до вечера расправиться с большой коробкой конфет, оказавшейся в его багаже. От напряжения у Таисии разболелась голова, что не укрылось от опытного глаза Батыржана. Покопавшись в боковом кармане сумки, он достал пузырек с таблетками.

– Вот, возьмите, это поможет! – галантно предложил он. – Головную боль как рукой снимет.

Таисия заподозрила, что незнакомец намеревается подсадить на наркотики и ее тоже, но повода для отказа сразу не нашла и была вынуждена принять лекарство. Спустя минут десять таблетка подействовала, и головная боль чудесным образом

прошла. К несчастью, у лекарства оказалось побочное действие, и бедная женщина почувствовала, что ее клонит в сон. Некоторое время она мужественно боролась со стремившимся заключить ее в свои объятия Морфеем, но в конце концов проиграла и уснула. А когда проснулась, вагон стоял на станции. Косой свет вокзальных фонарей поделил тесное пространство купе на светлые и темные фрагменты. Из сумрака верхних полок доносился шепот, это переговаривались Батыржан и Катька.

– Ты – хороший, только она к хорошему не привыкла! – Катька сказала это очень тихо, но Таисия смогла разобрать каждое слово.

– Это неправильно! – отозвался Батыржан. – Твоя мама – чудесная женщина, и достойна всего самого лучшего. Жаль только, что она так настороженно смотрит на людей.

– Ничего, ты все равно приходи, ее никогда дома не бывает. А Нонна тебе нравится?

– Конечно. Мне все ваше замечательное семейство нравится.

– И я тоже? – спросила Катька.

– Ты – больше всех! – убежденно ответил ее собеседник.

– А почему от тебя жена ушла?

– Не хотела одна сидеть дома. Я ведь все время на работе пропадаю.

– Точно как наша мама. Тоже все время работает. Вот, оказывается, почему у нас папы нет! – понимающе заметила Катька. Тут ее настроение в очередной раз поменялось, и она невинно поинтересовалась:

– А у тебя больше конфет не осталось?

– Не осталось. Но я тебе в Одессе куплю.

После этих слов терпенье Таисии лопнуло. Резко встав с полки, она гневно заявила:

– Перестаньте приставать к моей дочери! Ничего вы ей не купите! Я сама в состоянии позаботиться о своих детях!

– Почему вы меня оскорбляете? Я вам ничего плохого не сделал! – возмутился Батыржан.

– Не успели еще! – колко бросила Таисия.

В этот момент Катька, понявшая, что события разворачиваются вовсе не так, как ей хотелось бы, начала истерически рыдать, и внимание мамы переключилось на младшую дочь. Обижен-

ный Батыржан отвернулся к стенке, но до самой границы не мог уснуть. Таисию он решительно не понимал.

К середине ночи, миновав российскую границу, прибыли на Украину. Опытный Батыржан перевел стрелки на часах, и его примеру немедленно последовала Нонна. Спустя несколько минут в купе вошли два пограничника и строго потребовали предъявить паспорта. Таисия с готовностью протянула документы.

– Это ваши дочери? – поинтересовался пограничник.

– Да, это мои девочки! – подтвердила она.

– Почему у вас разные фамилии?

– Ну… – Таисия запнулась, поскольку ей не очень хотелось обсуждать свои семейные дела при посторонних. – Дело в том, что они… на фамилии мужа. А я осталась на девичьей.

Пограничникам не понравился неуверенный тон Таисии, и один из них, хитро улыбнувшись, поинтересовался у внимательно вслушивающейся в разговор Катьки:

– Девочка, это твоя мама?

Катька, улыбнувшись в ответ еще хитрее, отрицательно покачала головой. У Таисии упало сердце, она знала, что будет дальше.

– Кто же твоя мама? – насторожились пограничники.

Катька поняла, что настал ее звездный час. Выдержав паузу, девочка эффектно указала пальцем на Нонну и торжественно изрекла:

– Вот моя мама!

Пограничники понимающе переглянулись, и один из них заметил:

– Все правильно. Фамилии совпадают. Вот только мамочке по паспорту всего шестнадцать. Из молодых да ранних!

– Везете мать с дочкой в сексуальное рабство? – грозно спросил второй пограничник Таисию. – Пользуетесь их безвыходным положением?

– Это мои дети! Могу показать свидетельство о рождении, – упавшим голосом сообщила Таисия, но ей, конечно, никто не поверил.

– Покажете в комендатуре. А сейчас собирайте вещи, пройдемте с нами!

– Послушайте, никуда она не пойдет! – распорядился небритый полковник, которому очень не понравилось своеволие

низших по званию чинов. – У женщины с документами все в порядке, потрудитесь разобраться на месте.

Пограничники вновь переглянулись. Лица у них стали каменными, что не предвещало обнаглевшему пассажиру ничего хорошего.

– Ну-ка, покажи свой паспорт! – требование стража границы было законным, но его хамский тон еще больше обозлил Батыржана.

– Не покажи, а покажите, старшина! Вас что, вежливости не учили?

– Ладно, давай, мужик, тоже собирайся! – поддержал напарника второй пограничник. – Мы тебе в другом месте объясним, чему нас учили!

– Еще раз повторяю, старшина, что никто из этого купе никуда не пойдет! – окончательно рассвирепел строптивый Батыржан. – А ну-ка, зови сюда старшего по званию!

Вызывающе смелое поведение соседа по купе окончательно уверило Таисию в его принадлежности к криминальным кругам. А когда полковник наклонился к сумке, намереваясь достать свое служебное удостоверение, напуганная женщина уже не сомневалась, что он ищет спрятанный в ней пистолет, а может быть, даже и автомат. Пограничники, мыслившие в точности так, как Таисия, немедленно набросились на Батыржана и начали выкручивать ему руки. Но нашла коса на камень! Полковник, занимавшийся когда-то борьбой, удачно свалил одного из напавших на пол и схватился со вторым. Таисия завизжала, и на ее визг немедленно прибежали еще два пограничника. В купе им открылась захватывающая картина: в проходе между полками лежал поверженный страж границы, а лежавший на нем неизвестный тип отчаянно боролся с навалившимся сверху пограничником, которого, в свою очередь, молотила по спине маленькими кулачками Катька.

В Одессу прибыли на десять часов позже, уже следующим поездом. Быстро разобравшееся в ситуации пограничное начальство закатило для задержанных грандиозную пирушку, главной целью которой было замять скандал с арестом старшего по званию, да еще своего же рода войск. И как же отходчива душа нашего человека! На вокзале разгоряченная шампанским Таисия даже расцеловалась с командиром погранотряда, лично принес-

шим ее вещи к поезду. Нонна, сопровождаемая двумя молодыми лейтенантами, тоже казалась вполне довольной жизнью. И одна лишь Катька никак не выразила отношения к происходящему, поскольку крепко спала на руках у Батыржана.

В пути Таисия, переставшая подозревать соседа во всех смертных грехах, приняла его приглашение отметить знакомство – разумеется, вместе с детьми! – в одном из одесских ресторанов. Ужин состоялся и прошел очень весело. К сожалению, этим все и ограничилось: Таисия и Батыржан, насколько мне известно, по-прежнему все свое время проводят на работе. Но если жизнь взрослых вернулась в привычное русло, то у детей, как выяснилось, оказались собственные планы. Недавно хитрая Катька надумала совершить экскурсию в госпиталь, где, по ее мнению, у полковника должен был храниться немалый запас конфет, а Нонна подозрительно легко дала себя уговорить. Батыржан, откровенно обрадовавшийся визиту сестер, немедленно отменил все запланированные на день встречи, и они замечательно провели время втроем в ближайшей кондитерской.

Но, главное, они договорились встретиться снова.

Вадим Ярмолинец

Конец света в Одессе по версии 2012 года

Это событие городской истории имело место 20 декабря 2012 года – накануне истечения срока действия календаря индейцев майя, рассчитанного на 5125 лет. Одесские эзотерики объявили, что в конце календаря, в смысле – света, спасутся только вступившие в контакт с представителями внеземных цивилизаций. Те якобы вывезут их к себе буквально из-под обломков нашего мира. Никто из эзотериков не спросил себя: зачем пришельцам нужны там у себя наши люди, которых даже здесь больше пяти минут никто вынести не может?

Видимо, все сошлись на том, что, в отличие от нас, внеземные гуманоиды таки способны на проявление человеколюбия. Хорошо, а где взять билеты? И откуда вылет?

Приблизительно в марте-апреле по Одессе прошел слух: одному студенту Массачусетского технологического института в Бостоне, Марку Вабнику, во время работы в университетской астрофизической лаборатории удалось вступить в контакт с инопланетянами. На наше счастье папа Марка Вабника Миша крутил томаты на одесском консервном заводе в качестве его главного технолога. Так вот через него можно устроить как минимум один рейс для спасения горожан. Надо только найти место для посадки инопланетного корабля. Депутаты горсовета тут же предложили стадион ЧМП в парке Шевченко. Естественно, при условии, что в тарелке им с семьями дадут приличные номера. С этим – никаких проблем, но где взять билеты, и почем они?

Папа Вабник ушел на связь с потусторонним миром и, вернувшись, сообщил, что надо брать ювелирку, так как наша валюта

там не в ходу. Сколько берут за билет, пока непонятно, но по прибытии на место назначения все, что не пошло на оплату перелета, можно будет как-то инвестировать. На вопрос, как быть с теплыми вещами, из Бостона ответили, что хорошая дизайнерская дубленка или классическая норковая шуба пока никому в дороге не помешали.

В июне началась запись. В августе записывали уже в три очереди, но выяснить, какая из них официальная, оказалось невозможным. Поэтому все, кто хотел улететь, стояли в трех очередях сразу. Правдолюбы потребовали от горсовета, чтобы тот взял это дело под свой контроль. Тот взял и тут же начались взятки. Отъезжающие пригрозили депутатам, что на следующих выборах выразят им вотум недоверия, на что те ответили, что им все равно, потому что после Нового года они планировали уйти в отставку по семейным обстоятельствам.

В октябре сказали быть готовыми к отправке в любой момент, но прилет тарелки дважды откладывался из-за метеоусловий в самых верхних слоях атмосферы, не видных с земли. В начале ноября из Бостона пришла телеграмма: посадка на стадионе невозможна, поскольку могут пострадать трибуны. Ночью с тарелки-матки прилетали разведчики и провели замеры. Несколько человек видели, как они носились над футбольным полем. У одного разведчика из открытого иллюминатора доносилось: «Я знаю пароль, я вижу ориентир», – и пахло домашними котлетами.

Хорошо, стадион не подходит, какой у нас план «Б»?

Решили, что пассажиров надо вывезти на большом судне в открытое море, тарелка зависнет над ним, и пассажиров поднимут на борт специальным лучом. Чемоданы не брать. Только ювелирку и шубы. А если для ювелирки нужен чемодан? Насчет этого надо консультироваться, но уже идут переговоры по фрахту сухогруза. Отсюда вопрос: как сделать так, чтобы на борт сухогруза поднялись все сразу? Никаких «первая группа», «вторая группа», «инвалиды войны» и так далее. Эти штуки могут пройти где угодно, только не в Одессе! Все выйдут на палубу, а инопланетяне сами решат, как рассаживать. Потому что, если доверить это дело нашим, то все кончится даванием на лапу, и половина останется

на верную смерть под обломками всей этой былой красоты. Не надо! Доверимся инопланетянам. Пока мы себя не показали – им можно доверять!

В декабре на одесском рейде встал контейнеровоз «Эмма Маэрск». Это было огромное судно. Если бы с нашего берега можно было видеть Турцию, то оно бы ее заслонило.

Короче, 20 декабря, когда до конца света оставалось уже всего ничего, эвакуанты навсегда простились со своей жемчужиной у моря. «Эмма Маэрск» грустно погудела оставшимся и скрылась в тумане. Что провожавшие пожелали на прощание отплывавшим – передать в пристойных выражениях не представляется возможным. В городе был настоящий траур. В магазинах не осталось ни одной бутылки алиготе.

21 декабря с утра были дождь с ветром, потом светило солнце. 22 декабря осадков не было. 23 декабря светило солнце. 24 декабря снова начало моросить. Потом одесситы отметили Новый год, затем Рождество и начали готовиться к Пасхе. О календаре древних майя больше не вспоминали. Слушайте, кто не ошибается?

Уехавших больше не видели. Подняли ли их специальным лучом на тарелку – неизвестно. Говорят, кто-то получил письмо от знакомого из числа пассажиров. Тот сообщал, что работает с товарищами на урановых рудниках в Нигере, условия неплохие, но в город не выпускают, и мучает сильный кашель. Просил прислать травяной сбор для груди № 3. Возможно, это была шутка, тем не менее она дала местным краеведам повод называть эту историю «Самовыселением лохов в Африку».

Нью-Йорк

Владимир Трухнин, Ирина Полторак

Из архива «Городка»

Городок почти на свободе

В больничной палате на соседних койках двое забинтованных мужчин: Вася – простой разбитной мужичок, и Виктор – технический интеллигент. Виктор просыпается и непонимающе озирается.

Виктор. Где я?

Вася. Там же, где и я.

Виктор. Пардон, а вы где?

Вася. В больнице. Что, память отшибло?

Виктор. Нет, я все помню. Отмечал на работе с дамами 8 Марта, к ночи дамы принесли меня домой, потом моя меня выгнала, на улице подошли трое… А вот дальше… действительно, как отшибло. Ой… (*Морщится от боли.*) Причем, кажется, кирпичом.

Вася. И со мной точно то же самое! Только наоборот. Женам не угодишь. Ты выпил и пришел ночевать – выгнала. Я выпил и не пришел ночевать – тоже выгнала!.. Только мне повезло – на улице подошли пятеро и обошлось без кирпича…

Виктор. Мы живем в свободной стране! Всегда можно свободно получить по голове.

Вася. Да не в этом дело. Что дает человеку свободу?

Виктор. Свободу?.. Деньги?

Вася. Развод! Вот разведусь – и гуляй, Вася! Кстати, будем знакомы – Вася. (*Тянет руку.*)

Виктор. Виктор. Только руки я вам не подам.

Вася. Это почему это?!.

Виктор. Не смогу. (*Вынимает из-под одеяла перевязанные кисти рук.*) И опять из-за жены! Я же, можно сказать, сам выбрал

свободу. Ну, когда она меня из дома выгоняла. Сам повернулся и ушел! На свободу!.. Правда, не полностью.

Вася. Как это, не полностью?

Виктор. Ну, когда она дверь захлопнула, я уже в основном-то был на свободе… Но руки еще цеплялись за косяк.

Вася. Ужас… Вот я сейчас думаю, каким надо было быть дураком, чтобы жениться?

Виктор. Хе, тут у женщин все продумано. Они же нас в свои силки ловят, пока мы молодые, неопытные, невинные еще…

Вася. Точно! Меня в эти силки на кофе заманили. В те годы кофе дефицитом был, помнишь?

Виктор. Как это – на кофе?

Вася. Знаешь, как бывает – проводишь девушку вечером домой, тебя приглашают зайти на кофе… А потом говорят: «Женись или убью!». Пришлось жениться…

Виктор. Странно… С чего это жениться? Подумаешь, она вечером кофе предложила!

Вася. Так кофе вечером предложила она, а жениться – это уже утром ее папаша… На ней, говорит, кроме тебя, теперь никто не женится! Потому что, во-первых, ты с ней ночь провел. А во-вторых, у нас уже кофе кончился…

Виктор. А ведь какое это замечательное чувство – свобода! Хочется читать стихи! Помните? «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа…».

Вася. Не помню.

Виктор. Да вы что? Это же Пушкин декабристам писал. Послание в Сибирь. Ну, декабристы! Мечтали о свободе – помните?

Вася. Свободы, значит, мужики захотели… А их жены чего? Спокойно к этому отнеслись?

Виктор. Почему… Они поехали за мужьями в Сибирь.

Вася. Ха! Ясен перец! Как услышали, что мужья от них на свободу захотели, так сразу за ними и рванули… Решено – как выйдем отсюда, сразу разводимся!

Виктор поворачивается, ойкает и смотрит на свои забинтованные руки.

Виктор. Что она со мной сделала… А ведь когда женились, все было как в сказке!

Вася. И у нас было точно как в сказке. Точно! Только наоборот.

Виктор. Это как?

Вася. Ну помнишь, как в сказке было? Жаба в ночь после свадьбы превратилась в девицу-красавицу. А у нас было наоборот… И всю жизнь у меня под боком не жена, а жаба… (*Вздыхает, вспоминая.*) Ну, токо шо теплая…

Виктор. И я 30 лет уже женат, а что хорошего в браке, еще не знаю. Хотя, говорят, что женатые мужчины почему-то живут дольше холостых.

Вася. Это потому что ни одна жена не даст мужу спокойно умереть. Я знаю, что в Америке один кадр на своем надгробии даже написал: «Наконец свободен».

Виктор. Всего один?.. А кто знает, сколько жен мечтает написать на надгробии мужа: «Наконец свободна!».

Вася. И с больницей нам не повезло. Вот я в кино видел больницу! Палата на одного, свой санузел… А про медсестру я вообще молчу. Чистая фотомодель! Такая цыпочка, что… Только развод!

Виктор (*мечтательно*)**.** Да… Представьте себе, подходит такая сестричка в халатике, присаживается на койку, щупает лоб и говорит… Хлюпиков…

Вася. Какой я те Хлюпиков?!

Виктор. Это моя фамилия – Хлюпиков. Значит, кладет мне свою ручку на лоб и своим ангельским голоском говорит: «Хлюпиков…».

Грубый женский голос. Хлюпиков! А ну быстро сдал в баночку мочу на анализ!

Сильно хлопает дверь. Виктор вздрагивает от испуга.

Виктор. Ой… Кажется, я уже сдал. Правда, не в баночку…

Входит Санитарка и ставит им по тарелке супа.

Виктор принюхивается к супу.

Виктор. Как это есть?.. Знаете, вообще-то, человек может без еды прожить целый месяц.

Вася. Без такой еды можно и год прожить. А вот без домашнего максимум день… Блин!

Виктор. Вот как раз про блины сейчас лучше не надо…

Вася. Лежим тут, как два… холостяка. А ведь наши жены еще не знают, что мы с тобой выбрали свободу! Ну, в смысле развод. Могли бы и пожрать принести! Твоя, кстати, как готовит?

Виктор. Ну… Каждый раз ем и думаю: «Она меня уже сейчас отравит или в следующий раз?»… И почти каждый раз оказывается, что сейчас.

Вася. Может, телик посмотрим? Телевизор хорошо заглушает чувство голода.

Виктор. Ага. А также все другие чувства и разум… А ведь я только теперь понял, что всю свою несознательную жизнь я мечтал о свободе!

Вася. Знаешь, а у меня что-то не получается о свободе мечтать. На голодный желудок.

Виктор (*осуждающе*)**.** Что? Чтоб я продал свою свободу за котлету?! Ни-ко-гда!

Вася. Точно. Свобода лучше, чем котлета… Или тефтели. Или пельмени. Свобода, она… (*Глотнув слюну.*) Как курочка. Жареная, с картошечкой.

Виктор. Да как вы можете!.. Жареное вредно! Только вареная с пюрешечкой.

Оба вздыхают. Входит Санитарка с полными пластиковыми пакетами.

Санитарка. Это вам. Жены передачи принесли. (*Уходит, они налетают на еду.*)

Вася. Видал? Мы им еще ничего о разводе не сказали, а они уже как испугались!

Виктор. О каком разводе?

Вася. Ты чё? Опять память отшибло? Тебя жена выгнала. Потом на улице тебя кирпичом по голове. А потом мы тут решили развестись. Свобода же!

Виктор. Ну… Если б это вас кирпичом по голове, вы бы еще не такие глупости говорили…

Вася. Да?.. Ну, не знаю, я бы все-таки развелся. У меня жена – такая дура, такая дура… Хотя ты прав. Где я еще такую дуру найду?.. (*Достает из пакета куриную ногу.*) И ножки у нее ничего… (*Вгрызается в куриную ногу.*)

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Пять
Коллективный сборник стихотворений и прозы участников и гостей студии «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов
Одесса, ВМВ, 2014

Пять лет существует при Всемирном клубе одесситов литературная студия «Зеленая лампа». Ежегодно, подводя итоги года, клуб выпускает книги студийцев. Уже вышли сборники стихов Евгении Краснояровой и Алены Щербаковой, коллективные сборники стихов и прозы «Сто» и «Три + три». В этом году в связи с первым, пятилетним, юбилеем студии вышла книга в 530 страниц. В нее вошли рассказы и стихи почти всех членов студии, а это более 40 человек, а также друзей студии, среди которых Ефим Бершин и Елена Черникова, Кирилл Ковальджи и Вера Зубарева, Олег Губарь и Валерий Хаит, Юрий Михайлик и Анатолий Контуш…

Ждет ли судьба этой студии такой же успех, какой выпал студийцам Юрия Михайлика, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что молодое пополнение студии – Ксения Александрова, Владислава Ильинская, Екатерина Чудненко, Екатерина Янишевская – воспринимает мир во всей его сложности и трагичности, ощущает время как эпизод всемирной истории, которую и они творят своими произведениями.



Светлана Нисилевич
Страна Мордохвостия
Одесса, Друк-Пивдень, 2013

Вторую большую книгу стихов для детей написала Светлана Нисилевич, яркую, красочную, рисунки к которой сделали Вадим Геращенко и Валерий Нисилевич.

Нет, это не назидательные стихи и не абсурдистская поэзия, Хоть все это имеет право на жизнь. Светлана Семеновна выбрала другой путь – погружение ребенка в мир сказки, в мир волшебства, где возможно все невозможное и где принципиально никогда не победит зло. Эта книга – апофеоз добра.

В предисловии к книге ученый и писатель Александр Дорошенко пишет:

«Светлана делает удивительную вещь – взяв за руку ребенка, она ведет его по стране чудес, и чудеса эти поразительны, хоть и попадаются на каждом шагу. Мы не успеваем их разглядеть, но такое зрение дано только детством и существует только в этой фантастической стране, с именем Детства, – зрение, при котором мы и окружающий мир живых существ равнозначны.

Приобретя такое зрение, человек уже не заблудится в мире».

Думаю, именно такая книга, выпущенная в нашем городе, заслуживает Корнейчуковской премии.



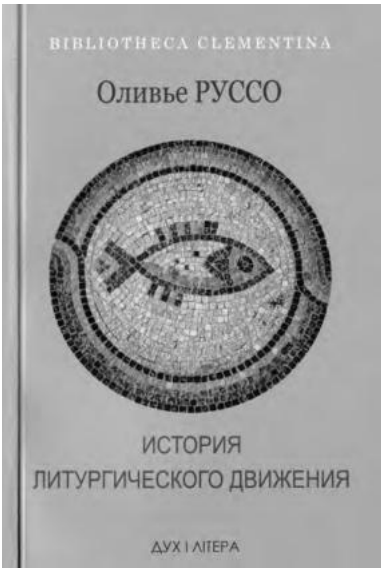
Татьяна Гончаренко
Одесские зарисовки
Одесса, ВМВ, 2012

Татьяна Гончаренко назвала свою первую книгу «Одесские зарисовки». Это ее признание в любви к Одессе, ее городу, в котором она любит чудесную старину, гармонию и легенды. Город для нее – это и музыка. Как много прекрасных слов сказано ею о музыке! Город для Татьяны – это и театр, может быть, не только наша Опера, но и спектакли, которые оживают в ее воображении, прежде всего борьбой светлого и темного с извечным противостоянием Одетта – Одиллия.

В книге немало горьких откровений, признаний, это, по сути, лирический дневник художницы. Любовь и отчаяние, вера и ощущение недостаточности раскаяния. Это не разочарование, а честность перед самой собой и другими, а можно сказать – поэтическая исповедь женской души. Здесь больше страдания, страсти, чем было в ее живописи, в натюрмортах, которые предлагают «тихую жизнь».

И еще – это книга русских стихов Татьяны Гончаренко. Пишет она и по-украински, так же легко и свободно, так же бескомпромиссно. Так что будем ждать в ближайшее время ее вторую книгу – сборник украинских стихов.

Издано в Киеве



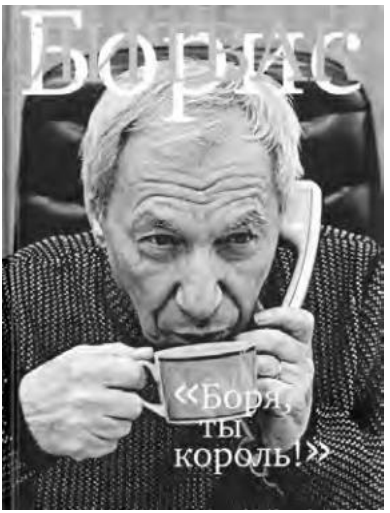
Оливье Руссо
История Литургического движения
Киев, Дух и літера, 2013

Предвижу вопрос: а какое отношение к Одессе имеет теологическое исследование? Отвечаю – перевел эту книгу с французского на русский наш земляк, человек выдающийся – Николай Алексеевич Полторацкий. И вышла она в престижном киевском издательстве благодаря заботам и усердию Анатолия Катчука и Анны Полторацкой.

Подчеркну, книга интересна сама по себе, так как рассказывает об истории богослужения на Западе, хоть и современному Востоку автор посвятил отдельный раздел. Но для меня важнее, что этим изданием начато, по сути, знакомство читателей с переводческой деятельностью Николая Алексеевича и Натальи Филипповны Полторацких, десятки лет работавших над тем, чтобы вершины западной теологической мысли сделать доступными русскому читателю.

Впрочем, не только теологической. В свое время Н.А. Полторацкий вместе с историком профессором В.С. Алексеевым-Поповым перевели и напечатали в 1969 году в издательстве «Наука» в серии «Литературные памятники» «Трактаты» Жан-Жака Руссо. Так что путь от Жан-Жака Руссо до Оливье Руссо занял почти полвека.

Издано в Москве



Борис Литвак
Боря, ты король!
Москва, Книжный клуб 36,6, 2013

Бориса Литвака – Почетного гражданина Одессы, создателя «Дома с ангелом», многие называют хранителем Одессы, ее традиций, ее своеобразного языка.

Многие из нас слушали великолепные устные новеллы Бориса Давидовича. Но только лишь тогда, когда его секретарь Оксана Шалашная записала его афоризмы, я смог опубликовать их во «Всемирных одесских новостях». А сейчас сотрудница Одесского литературного музея Елена Каракина записала устные новеллы Бориса Литвака, и они составили книгу, вышедшую в Москве. Предисловие к ней написал Михаил Мишин, послесловие Юрий Рост, составитель книги – Виктор Лошак.

Михаил Мишин назвал свое эссе «К вопросу о существовании человечества», Юрий Рост – «Посланник ангела в Одессе». И это все о нем – о Б.Д. Литваке. А Виктор Лошак обошелся без заголовка:

«Борис Литвак – самый популярный человек из живущих сейчас в Одессе. Для самого города – это аксиома. В Одессе любят капитанов, шутников и, как везде, футболистов. Борис – не первое, не второе и уже не третье. Он творитель блага для больных детей. Он хранитель города и справедливости в нем. Абсолютно независимый, остроумный, с пол-оборота вступающий в борьбу, если его детей или город (его он, кажется, тоже чувствует своим ребенком) обижают».

Это было написано в 2013 году.



Авангард и остальное
Сборник статей к 75-летию
А.Е. Парниса
Москва, Три квадрата, 2013

Александр Парнис – один из крупнейших исследователей русского и украинского авангарда, чей авторитет признан во всем цивилизованном мире. Киевлянин, в трудные времена, чтобы не быть обвиненным в тунеядстве, стал литературным секретарем Виктора Некрасова, но и это не помогло, так как КГБ произвел обыски у В. Некрасова и у А. Парниса. Виктор Некрасов эмигрировал во Францию, Александр Парнис уехал в Москву, работал в Музее В. Маяковского, а затем ушел «на вольные хлеба», писал, публиковался за рубежом.

Перед Одессой у А. Парниса особые заслуги. Он нашел в киевском журнале первый рассказ И. Бабеля «Старый Шлойме», прислал его мне, я отнес его в альманах «Горизонт», там в 1967 году он был опубликован. Александр Парнис всю жизнь изучает жизнь и творчество Велимира Хлебникова. И вновь удача! Он выяснил, что потомки семьи Рябчевских, к которым приезжал в Одессу В. Хлебников, жили в Киеве. Поехал к ним и нашел неизвестные письма В. Хлебникова в Одессу. Мы их напечатали в первом номере альманаха «Дерибасовская – Ришельевская». Первой публикацией рассказа Виктора Некрасова об Одессе 10 апреля 1944 года мы вновь-таки обязаны Александру Ефимовичу Парнису.

И, наконец, крупнейшая международная конференция памяти нашего земляка Николая Харджиева прошла в Одессе благодаря усилиям А. Парниса и Т. Липтуги.

Нужно ли объяснять, каким насыщенным, объемным стал том – подношение мировых ученых Александру Ефимовичу Парнису

к его юбилею? Из украинских ученых в сборнике представлены Вадим Скуратовский, Дмитрий Горбачев, Татьяна Рогозовская.

Здесь же опубликованы Серафимой Блох два первых рассказа Юрия Олеши, которые благодаря любезному дару А.Е. Парниса одесский читатель прочел в 2013 году в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская».



Гарри Гордон
Божья тварь
Москва, Луч, 2013

Одесса помнит и любит Гарика Гордона, друга и соратника Валика Хруща, как художника и поэта.

Но, увы, сбывается пушкинское – «года к суровой прозе клонят». Вот и Гарри Гордон в последние годы, не бросая живописи, пишет прозу. Новый его роман «Божья тварь» обращен в доисторическую эпоху. Он как бы пытается закрыть «лакуну» в Библии, подробно исследуя земную жизнь Адама и Евы до появления у них первенца – Авеля.

Что это, фантастический роман? Ни в коей мере.

Это напоминание о том, как всегда, во все времена трудно было освоить Землю, и одновременно – как трудно становиться и быть человеком.

Вопросы, которые задают себе Адам и Ева, по сути, те же, что могут, должны ставить перед собой их далекие потомки. Мир изменился. Но смысл жизни человека и человечества остается незыблемым.

Я читал этот роман и видел перед собой превосходное кино. Думаю, сын Гарри Гордона кинорежиссер Александр Гордон не пройдет мимо этой эмоциональной, мудрой, напряженной книги отца.



Илья Рейдерман
Надеяться на пониманье
Москва, Вест-Консалтинг, 2013

Увы, не многие одесские поэты печатаются в Киеве и Москве. Говорю о постсоветских временах, до того все было наоборот – первые книги Э. Багрицкого, С. Кирсанова и т. д., вплоть до М. Алигер, С. Олендера выходили в Москве. Но в наше время провинциальных поэтов, публикующих книги в Москве, можно сосчитать на пальцах одной руки. Рад, что сквозь это сито пробился Илья Рейдерман.

Да, он совсем не молод. Тринадцатая книга в 75 лет. Но он не только философичен, он задирист, он отстаивает право поэзии быть сгустком человеческой мысли, четко очерчивать границу между добром и злом.

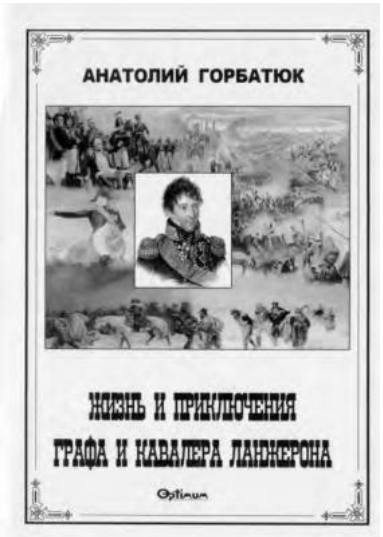
Не знаю, попадет ли читателю альманаха эта книга стихов, поэтому позволю себе процитировать одно восьмистишие:

Заешь обиду сладким чем-нибудь.
О, что бы это ни было – забудь.
Неужто жить и умирать с обидой,
Свой рот кривя в улыбке ядовитой?
Поэзия ведь вовсе не потеха,
И не в соревновании забег.
Так говори, оспаривая век,
На дальнее рассчитывая эхо.

Думаю, это не только совет (завет) самому себе. Литература, если это литература, а не однодневка, и должна рассчитывать на дальнее эхо.

Андрей Добролюбский

Ланжерон – необыкновенный и удивительный



Новая книга Анатолия Горбатюка посвящена жизнеописанию яркого культурного героя истории Одессы, который более всего известен как один из первых одесских градоначальников. Потому что его деятельность на этом посту обычно рассматривалась историками-специалистами лишь с такой точки зрения – как достаточно скромного и достойного последователя и продолжателя деяний герцога Ришелье, как исполнителя замыслов своего великого предшественника. По этой же причине граф Ланжерон в плеяде первых блестящих градоначальников Одессы, которые в литературе представлены преимущественно (и вполне заслуженно) в апофеозных тонах, производил несколько тускловатое впечатление. Он сочетал в себе человека деятельного, хотя весьма ироничного, скептичного, но энтузиазма Ришелье у него не было. Работа и служба для него была скучноватым и рутинным занятием. А изощренным литературным эрудитам, интеллектуалам и знатокам Ланжерон известен также как несомненный остроумец, чудаковатый и рассеянный оригинал и с легкой руки Пушкина – как не слишком умелый литератор.

Между тем любому читателю представляемой книги становится совершенно очевидной неизмеримо большая историко-культурная значимость, или масштабность, личности Ланжерона. Ее название весьма удачно, на мой взгляд, соответствует духу и стилистике европейского классицизма и раннего романтизма, определяет ее жанр, манеру написания и задает тон и общую направленность повествования. Разумеется, подобный тон и литературный прием задан «Мемуарами» и письмами самого Ланжерона, молодая и зрелая жизнь, или «тип поведения» (выражение Ю. Лотмана) которого выглядят как классический авантюрный, приключенческий и даже затейливый роман, весьма типичный для европейской литературы XVIII – начала XIX веков, а осень его жизни – как достойнейшее завершение бурного и воистину героического пути.

Такой тип поведения, сама судьба графа Ланжерона были предопределены, разумеется, многими обстоятельствами – аристократическим происхождением, бурными биографическими перипетиями, но прежде всего эпохой классицизма, заданной ею ментальностью и системой ценностей его социокультурной среды. Действительно, автор и представляет Ланжерона как типичного «культурного героя» классицизма с выраженной «античной» системой ценностей – вся его жизнь и деятельность направлены на достижение *арете* (в терминологии Аристотеля) – высшей доблести, достоинства, совершенства и превосходства любого вида. При этом *арете* – это и некое природное свойство благородного человека, доступное не каждому, что отразилось в однокоренном понятии *аристократия*, то есть «прекрасное», «превосходное». Такое понятие стойко употреблялось для обозначения знати. Это и присущее героям чувство долга, более важное для них, чем знатность происхождения и богатство. Человека с такими этическими установками и качествами к достижению жизненной цели, или к *арете*, влечет *потос* – неодолимое внутреннее страстное влечение, стремление к подвигу, присущее всем героям. Такой *потос* был в высшей мере присущ и предшественникам Ланжерона – де Рибасу и Ришелье, а также Воронцову. Они же – основные персонажи других книг Анатолия Горбатюка.

Быть может, у Горбатюка получилась именно «такая» книга и о «таком» Ланжероне потому, что он сам живет культурными идеалами своих героев. Убежден, что это так. С Анатолием Исааковичем мы знакомы 20 лет, со времен его работы над книгой «Юная Одесса в портретах ее создателей», которая была издана к 200-летию нашего города. Уже тогда им были написаны две книги о джазе, и он производил впечатление чрезвычайно увлеченного защитника (чтобы не сказать апологета) «одесской культуры» и всей соответствующей ей системы культурных ценностей одессита-интеллектуала. Необычайно импонировало и острое чувство одесского патриотизма – стремление воссоздать истинный дух и аромат «старой Одессы» в понимании Александра Дерибаса, то есть первой половины XIX века. Наверное, это и определило несколько апофеозную, но вполне уместную тональность его повествования о Ланжероне – ясно, что автор влюблен в своего героя. И это придает тексту его книги особое обаяние и привлекательность.

Как одесские «патриоты» мы с Анатолием Горбатюком, конечно же, оказались ментальными единомышленниками и естественными «союзниками» в борьбе против «недругов старой Одессы» (выражение Д. Атлас). Впрочем, об этом позаботилось и столь любимое им Провидение. Когда в 1995 г. мы с Олегом Губарем начали памятные многим археологические раскопки у оперного театра, то именно Горбатюк, торжественно открывая раскоп, воткнул первую лопату в землю. И Провидению было угодно, чтобы именно под этим местом спустя два месяца на многометровой глубине мы обнаружили ступени дворца графа Ланжерона. И они нас привели к археологическим остаткам обряда основания Одессы, совершенного Иосифом де Рибасом у фундамента первого одесского дома.

Равным образом тому же Провидению также стало угодно, чтобы в этом году, когда, наконец, были услышаны голоса Анатолия Горбатюка и других неравнодушных одесситов и осуществилась реставрация арки у входа на ланжероновский пляж, мы нашли недалеко от ее подножия археологические остатки дачи Ланжерона – той самой, которая столь романтично описана многими одесскими писателями и литераторами

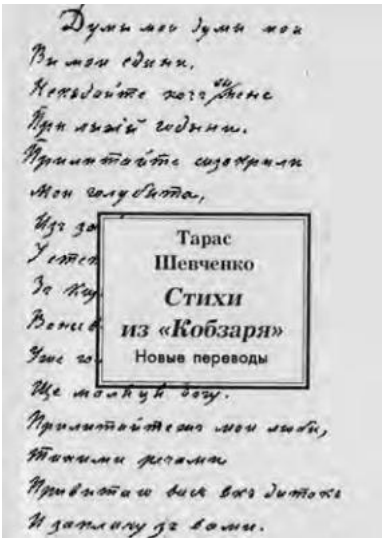
XIX-XX столетий. В этом же году Горбатюк написал прекрасную и увлекательную книжку о бурной героической и не менее увлекательной жизни владельца этой дачи – кавалера, графа, блестящего боевого генерала, мудрого государственного деятеля и пр., и пр., и пр., удивительного, необыкновенного и благороднейшего человека Александра Федоровича Ланжерона, которую я сейчас представляю читателям с немалым и нескрываемым удовольствием.

Одесса, пляж Ланжерон, арка



Тим. Демидов

На трех языках



Семен Вайнблат
Стихи из «Кобзаря»
Одесса, ВМВ, 2014

К 200-летию Тараса Шевченко поэт Семен Вайнблат перевел на два языка – русский и эсперанто – стихи, вошедшие в «Кобзарь». Некоторые из них мало известны широкому читателю, так как были запрещены цензурой.

По замыслу переводчика, тексты можно сопоставлять. Украинский, русский и эсперанто – язык, созданный в XIX веке Людвигом Заменгофом для сближения культур и народов, – гармонично соседствуют в сборнике, что позволяет читателям в полной мере ощутить грани таланта Кобзаря.

Памяти Гражданина



13 апреля Одесса провожала в последний путь Почетного гражданина Одессы, Почетного гражданина Одесской области, Героя Украины, члена Президентского совета Всемирного клуба одесситов Бориса Давидовича Литвака.

Можно было бы написать короче – создателя «Дома с ангелом», а может быть, человека, посланного Одессе ее ангелом-хранителем.

Борис Литвак родился в Одессе 11 марта 1930 года. В 11 лет, становясь на ящик, помогал матери собирать снаряды для

обороны Одессы. И все свои годы он защищал Одессу: в спорте – вначале футболом, потом возглавил школу баскетболистов; общественной деятельностью, будучи много лет депутатом Одесского горсовета.

Но навсегда он вписал свое имя в историю Одессы, основав, построив Центр реабилитации детей-инвалидов и благотворительный фонд «Будущее» («Дом с ангелом»).

«Добро нужно делать тихо, так, чтобы об этом никто не знал», – не раз говорил Борис Литвак. Но его знал весь город, да и далеко за пределами Одессы его имя было хорошо известно. И 13 апреля тысячи людей пришли на улицу Пушкинскую проститься с Человеком, с Гражданином, которого многие называли «совестью Одессы».

Редколлегия альманаха «Дерибасовская – Ришельевская»

На фото Ивана Череватенко –
Борис Литвак с подарками для детей своего «Дома с ангелом»

Одесский альманах

№57

II / 2014

ДЕРИБАСОВСКАЯ ↓ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ